

ЗНАМЯ

МЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 175773

1942

10

ЗНАМЯ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ОКТАБРЬ

КНИГА ДЕСЯТАЯ

МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1942

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ — Капитан 1-го ранга, роман	3
ЛЕОНИД СОБОЛЕВ — Воспитание чувств, рассказ	84
АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР — Мы — из Полярного, стихи	91
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — Броня, рассказ	93
А. ТВАРДОВСКИЙ — Василий Теркин, поэма (окончание)	101

С ФРОНТА

Подполковник Н. ДЕНИСОВ — На юге	109
БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ — Нарушение тишины	116

ПУБЛИЦИСТИКА

В. СТАМБУЛОВ — Гитлеровская Валгалла	120
---	-----

НА ВОЕННЫЕ ТЕМЫ

Н. ЛАЗАРЕВ — О некоторых итогах и перспективах современной войны в воздухе	130
ЮРИЙ ВЕБЕР — Слава русской гвардии	141

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Л. ТИМОФЕЕВ — Советская литература и наследие русской классической литературы	162
Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКАЯ — О книге И. Эренбурга «Война»	174

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ
КАПИТАН 1-го РАНГА

Р о м а н
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Захар Псалтырев, о необыкновенной истории которого я хочу рассказать, с повобранства находился со мною в одном взводе. Мы были с ним одинакового роста и поэтому, выстраиваясь на дворе флотского экипажа для маршировки, становились рядом. Он также был моим соседом и по жилому помещению. На третьем этаже большого кирпичного корпуса, в одной из четырех камер, занимаемых нашей ротой, койка Захара Псалтырева стояла третьей от моей. Таким образом, я имел возможность наблюдать за ним днем и ночью.

Помню — в экипаж он явился в дмотканом коротком зипуннике, в облезлой заячьей шапке, в лаптях, с небольшим сундуком за спиною. Засунув сундук под койку, он уселся на нее, обнажил кудрявую темпорусую голову, распахнулся и пытливо оглядел большими серыми глазами камеру. Длинная, она вмещала в себе более сорока коек, расставленных в два ряда, причем между каждой парой коек возвышалось по шкафу. На продольной фасадной стене висели в рамках какие-то правила для матросов, изображения золотых погон флотских чинов, патристические лубочные картины. С другой, поперечной, стены из посеребренного кнота строго смотрел на людей покровитель моряков — Николай чудотворец. Лицо Псалтырева, обескровленное деревенской нуждой, на момент приняло выражение беспредельной тоски. Но сейчас же он расправил, словно от усталости, широкие крутые плечи и, трихнув кудрявой головой, промолвил:

— Ну, ладно! Начало сделано. Остается немного — только семь лет прослужить.

Кто-то из повобранцев посмеялся над ним:

— Что же это ты явился во флот в таком наряде?

Псалтырев, не смущаясь, ответил:

— А для чего мне другой наряд? Казенное добро получу — защеголяем.

Мы все были подстрижены полевой машинкой. На второй день нас сводили в баню. Педели через две мы все оделись в одинаковую флотскую форму.

¹ Печатается с некоторыми сокращениями.

За это время мы перезнакомились друг с другом. Мы уже о многих знали, откуда кто пришел, какая семья у него осталась; знали, кто женат и кто холост и чем занимался дома. Но праздникам у нас учений не было, по в город все равно никого не отпускали. Приходилось сидеть в камере и скучать.

Прошло две недели, как мы поселились в флотском экипаже, а некоторые повобращцы все еще с завистью относились к тем, которые по каким-либо причинам были забраксованы приемочной комиссией. Тут же приводились разные случаи.

Захар Псалтырев, прислушиваясь к разговорам, долго молчал, а потом заявил:

— А я очень рад, что попал на службу.

Говорившие повернули к нему головы и с удивлением уставились на него.

— Что дома ел? Квас с картошкой, квас с редькой да постные щи. А здесь скоромным супом кормят и кашу дают. Я сам попросился во флот. В нашем селе Хрипунове никакой речушки нет. Воду можно увидеть только в колодцах и в лужах во время дождя. Одно лето мне все-таки подвезло. Работал батраком у одного богатого крестьянина на Оке. Это будет от нас верст сто. Там и плавать научился и парохолы повидал. А теперь моря и океаны увижу. И уж очень мне хочется узнать, как военные корабли устроены. Может, какой специальности выучусь.

— Чорт с ней со специальностью, лишь бы дома остаться, — сказал один из повобращцев.

Время шло, но мы, несмотря на молодость, чувствовали себя подавленными. До рекрутчины у каждого из нас была какая-то своя, особая жизнь, свои записки, родственники, друзья, знакомые. Почти до двадцати двух лет, начиная с детства, мы жили одни в городах, другие в деревнях, — привязанные к привычным условиям. И вдруг связь с прошлым оборвалась, и наша жизнь должна продолжаться в новой обстановке. нас пугали стены казармы. Мы лежали спать по приказу начальства, вставали утром под игру горнистов и грохот барабанов. Без разрешения фельдфебеля мы не могли завтракать, обедать, ужинать. Инструкторы оглушали нас бранью, а мы вытягивались перед ними, выслушивая их грубые наставления. Если у кого из нас был слабо поднят ремень, то инструктор сам затягивал его, до боли нажимая коленом на живот. Казалось, что мы перестали принадлежать самим себе, перестали быть людьми. Все первоначальное учение сводилось к тому, чтобы в повобращцах заглушить самостоятельную мысль и превратить их в послушные и нерассуждающие автоматы. Многие из нас старались заглянуть вперед — что же будет дальше? И служба нам рисовалась пудной, как осенняя слякоть, и невероятно длинной, как нестопанная дорога через Сибирь.

Не унывал только Псалтырев. Его серые глаза, роговицы которых были усыпаны маленькими, как маковые зерна, спящими точками, смотрели на все с жадностью — так хотелось ему скорее разобраться в новой жизни. Каждое движение его было неторопливо и рассчитано. А месяца через полтора Си стал вывлекаться перед нами как исключительно даровитый человек. Малограмотность не мешала ему знать много песен, былии, сказок. У него была необыкновенная память. Говорил он складно, пересыпая свою речь пословицами и неожиданными сравнениями. Приходили послушать его и повобращцы

из других камер. Своими сказками он отрывал нас от гнетущей действительности и уносил в мир фантазий и необыкновенных приключений.

II

Однажды вечером, после словесных запятий, инструктор Храпов подозвал к себе повобранца Филатова, дал ему пять копеек и тихопоько сказал:

— Сбегай в лавочку и купи для меня фунт колбасы.

Филатов, не поняв в чем дело, робко заявил:

— Господни обучающий, фунт колбасы стоит восемнадцать копеек.

Инструктор рассердился.

— Чубук! Исполняй то, что я тебе приказал! И припсеешь мне гривенник сдачи!

Озадаченный Филатов рассказал об этом другим повобранцам.

— Брось ты этот пяточок в его поганое рыло! — посоветовал ему Псалтырев.

Но все начали возражать против такого совета:

— Ну, и пойдет Филатов под суд. Хоть инструктор и маленький, а все же начальник. А начальник всегда останется прав. Этот его приемчик уже давно известен.

У Филатова навернулись слезы. Ведь те двадцать три копейки, которые он на этой покупке должен был потерять из собственного кармана, равнялись почти половине его месячного жалования. Но он, скрепя сердце, победил в лавочку. Мы разговорились о жадности инструктора, а через минуту уже все слушали только одного Псалтырева, у которого на всякий житейский случай был свой пример. И долго в этот вечер мы смеялись над его сказкой о жадном попе.

После того как посмеялись новобранцы, я спросил Псалтырева:

— Откуда, Захар, ты столько знаешь сказок и песен?

Он охотно объяснил:

— От бабушки. Она первая сказочница в селе. И плакальщица такой нгде не пайти. Ее на свадьбы часто приглашают — поплакать по новости. Вот уж пачнет причитать, кажется, камни прослезятся.

— А почему фамилия у тебя церковная? Отец у тебя не псаломщик?

Захар Псалтырев усмехнулся.

— Почти псаломщик. Когда-то он мог железную кочергу скрутить, как веревку. Да простудился — ревматизм нажил себе. С клюкой стал ходить. Работать ему стало не под силу. Приспособился он псалтыри по покойникам читать. Вот в селе и дали ему прозвище «Псалтырев». А писарь, истукац, и меня по уличной кличке записал. А ведь как говорится: дурак завяжет — и умный не развяжет.

Подумав немного, Захар добавил:

— Жаль отца. Трудно теперь ему без меня. Все хозяйство теперь лежит па матери да па младшей сестренке. А человек он с головой. Сам научился грамоте и меня научил. Сначала я мог только по-славянски читать. Потом мне попался оракул и сонник. Вот по ним-то я научился и другие книги читать, то есть не церковные. Только мало их у нас в селе, книг-то.

Захар был худ, но он обладал такой твердой костью и настолько плотными мускулами, что с ним никто не мог бороться. Двухпудовой гирей он забавлялся, как мячиком, подбрасывая ее до двадцати раз подряд выше головы и не давая упасть на землю. Он невольно привлекал к себе интерес со стороны товарищей.

Вскоре в нем обнаружилась еще одна врожденная страсть: перенимать всякое дело самоучкой. Товарищи по службе удивлялись, как ловко он подшивал им сапоги, не будучи никогда сапожником, перекраивал казенные брюки и фланелевые рубахи, прилаживая их под рост тех, кем они были получены. К любому замку он мог сделать новый ключ вместо потерянного, починить остановившиеся часы. А разобрать на части винтовку и снова собрать ее для него ровно ничего не стоило. Это он мог бы сделать даже с завязанными глазами.

— Ценок на всякую работу! Золотые руки! — отзывались о Псалтыреве его товарищи.

— Вот бы такому парню да образование дать — далеко бы он пошел! — восхищались многие, глядя на то, как во внеурочное время под одним только складным пожом Псалтырева простая деревянная чурка постепенно превращалась в модель корабля.

Помимо старшего инструктора, нас еще обучал по строевому делу его помощник, младший унтер-офицер Карягин. Такая фамилия никак не подходила к этому маленькому, рыжему, осыпанному веснушками человеку. Худой и малосильный, он вместе с тем обладал необычайной подвижностью и беспокойным характером. Он никого не бил, но мучил нас до изнеможения. По его приказанию мы во время учений на дворе ложились в грязь. Иногда мы бегали по двору до тех пор, пока от нас, как от загнанных лошадей, не начинала клубиться пар. Все это казалось нам лишним и ненужным, как было лишне и ненужно держать винтовку на прицеле до дрожи в руках.

Псалтырев однажды сказал о нем:

— Такие же вот тощие бывают клопы в заброшенной избе. Поглядеть на них — одна кожца осталась. Но не дай бог человеку к ним попасть — заедят.

Новобранцы зло посмеялись над таким сравнением, но кто-то из них передал об этом Карягину. Он стал относиться к нам еще более сурово. В особенности доставалось от него Псалтыреву. В своей мести помощник инструктора всячески изощрялся над ним.

— У тебя нос не в порядке — прочисти!

Мы продолжали свои строевые занятия, а Псалтырев, выделенный из взвода, стоял на отлете и в продолжение десяти — пятнадцати минут громко сморкался. Это повторялось изо дня в день. Кроме того, Карягин придирался к нему, что он будто бы не умеет отдавать честь, и придумал для него особое учение. Он заставлял Псалтырева проходить мимо столба, стоявшего во дворе, и козырять дереву, как офицеру. При нашем экстазе жил лохматый пес из дворняжек, по кличке Триссель. Старый, с поврежденным позвоночником, он не мог уже бегать. Карягин становился в конце двора и манил Трисселя к себе. Пес послушно шел на зов, неуклюже расставляя задние ноги. Псалтырев должен был идти ему навстречу и за три шага становился во фронт, словно перед адмиралом.

Карягин выкрикивал звонким тепором:

— Плохо, Псалтырев! Отставить! Повтори!

И снова пачиналась комедия, над которой, однако, никто из нас не смеялся. Это было выше нашего понимания, особенно после пространных разговоров на уроке словесности о высоком ореоле офицерского чина. Как же это так? Нам настойчиво внушали самое глубочайшее уважение к начальству вообще. А тут выходило наоборот: адмиральские почести воздавались какой-то ларшиевой собаке. В наших головы, забытые строжайшими правилами чиновничества, Карягин своими выходками вносил сумятицу. Мы были наивны, и никто из нас не знал, что и подумать о таком, как казалось нам, кощунственном нарушении дисциплины.

III

Нас, шесть человек повобращев, отрядили на кухню чистить картошку. Запятые это было грязное и надоедливое. Время приближалось к полночи, а у нас работы оставалось еще часа на два. Устали руки и, после дневных учений, хотелось скорее добраться до своей койки. Но нас развлекал своими сказками Захар Псалтырев. У него был неистощимый запас разных сказок: легкомысленных и серьезных. Иногда мне казалось, что некоторые из них он сам сочиняет или, во всяком случае, рассказывает по-своему.

— А то вот еще было какое происшествие, — начал Псалтырев ровным и спокойным голосом новую сказку. — После смерти встретились две души. Известное дело — на тот свет ничего с собою из нарядов не возьмешь. Обе души были голые. Так что нельзя было понять, какое место каждая из них занимала на земле. Только потом выяснилось, что одна душа вышла из царского тела, другая — из тела самого бедного мужика. Перед ними одна только дорога и похожа она на длинный бесконечный мост. Других путей никаких нет. Кругом ни леса, ни речки, ни земли — одна пустота. Идут они этой дорогой и нигуда свернуть не могут. Обоим скучно стало. Первым заговорил бедняк:

— Ты куда шествуешь, добрая душа?

— Куда дорога приведет. А ты? — спрашивает царь.

— Я тоже. Стало быть, мы с тобой попутчики.

— Да, выходит так, — неохотно буркнул царь. Он еще не привык, чтобы с ним разговаривали без разрешения, и потому был недоволен.

Мужик, хоть и бедный был, но любил поговорить и обо всем полюбопытствовать. Может быть, земляка встретил? И пристал с расспросами:

— Долго жил на земле?

— Сорок лет.

— Что так мало?

— И сам не знаю, — отвечает царь.

— Может быть, ты надорвался в работе?

— Я совсем не работал.

— Значит, без работы с голодухи помер?

Сравнение с безработным, как крючком за печенку, задело царя, и он отвечает бедняку:

— Ошибаешься, милый человек. Еды я имел столько, что некуда было

девать. Около меня сколько еще людей кормилось. Мне доставляли пищу со всей нашей страны. Даже из-за границы привозили ее. Тысяча человек были запяты тем, чтобы ублажить меня и мою семью. Среди зигмы я мог есть свежую малину, землянику. Не было на всей земле такого кумапья, какое мне отказали бы подать. А вина какно я пил! Самые дорогие. И наливали их мне в хрустальные бокалы. А закуску подавали на серебряных и золотых блюдах. И пока я обедал, играла музыка, чтобы пища в желудке лучше пересаривалась. Вообще, только было бы у меня какое желание,— все для меня делалось.

— Да,— удивляется мужик,— пожил, видать, ты хорошо. А все-таки в сорок лет скончался. Вот и у нас был такой случай. Недалеко от нашего села жил помещик. Считался первым богачом во всей округе. И вот он влюбился в одну бабенку и закуралесил. Каждый день у него пиры: тапцы, выпивка, музыка, игра в карты. Через два года все просади. Последнюю одежку спустил на водку. А тут наступил холода. И пришлось ему валиться под забором. Ну, значит, простудился и помер. Наверно, и с тобой так случилось?

Царь даже обиделся и говорит:

— Лбо ты настоящий дурак, лбо притворяешься дураком. Да у меня разной одежды осталось столько, что можно было бы одеть целый полк. Я был первым богачом. Все мои повалы загружены золотом...

Бедняк подумал и говорит:

— Не могу понять — при таком богатстве и ты так рано помер. Я бы на твоём месте тыщу лет жил. Докторов, что ли, не было около тебя поблизости?

— Были. И какне! Самые отборные, самые ученые. И заморские доктора приезжали лечить меня. А вот ничего не помогло — я помер.

Бедняка еще больше любопытство заедает:

— Может быть, ты пехристь и ни разу в церкви не молился?

Царь отвечает:

— Ты какой-то чудак. Да ежели ты хочешь знать, церковь у меня находилась прямо во дворце, а службу справляли в пей архiereи да митрополиты. Это тебе не простые попы. Я мог заставить их служить за меня молебен в любой час. Я по несколько раз в году исповедывался и причащался. Со дня моего рождения за меня молились все церкви, все монастыри и большие ста миллипопов моих подданных. Да ведь я и сам помазанный божий, меня называли земным богом. Ничто не помогло. Пришла смерть и так же задушила меня, как она душит любую собаку.

— Положди,— говорит крестьянин.— По твоим словам выходит, что ты на земле царем был?

— Да, я царь-самодержец.

— Ах, вот оно что! Ты, значит, царем был. Так, так. Ну, понятно: тут, конечно, тебе всего вдоволь хватало. А прожил ты все-таки маловато — только сорок лет. Совсем пустяк. А я-то, дурак, думал, что цари живут по несколько сот лет. Получается, что и должность-то у тебя была незавидная.

Обе души немного задумались. Потом царь спрашивает бедняка:

— А ты сколько жил на земле?

— Хватит с меня — нагипь на сотню пять голков.

— Сто пять лет! — удивился царь и хотел было остановиться, по какая-то невидимая сила толкнула его вперед.

— Я бы и еще пожил, да папаялся у одного торговца лес рубить. Сколько я за свою жизнь лесу перевалил! Все сходило благополучно. А тут сплоховал — прихлопнуло меня деревом.

Теперь царь пристал с расспросами к мужичку, как он жил, да что кушал, да на чем спал.

— Богатым я сроду не был. Наше дело крестьянское — работай всю жизнь и больше ничего. Избенка у меня осталась шесть на шесть аршин. Да ее и не жалко — сгнила она вся и все равно через годок-другой развалится. Прижили мы с женой двенадцать человек детей. Она была у меня баба исправная и почти каждый год рожала. Трое детей померли малепькими, а остальных всех вырастили. У меня такое было правило: как сравнялось сыну двадцать лет, так катись от меня на все четыре стороны. Значит, пусть сам себе зарабатывает на пропитание. Только самого младшего оставил при себе. Думал — поможет мне на старости лет. Да ничего из этого не получилось. Однажды поехали мы с ним в город. Дело было летом. Жара стояла. Полвыпившие купцы захотели позабавиться над моим сыном. Уговорили они моего сына за двугривенный на солнце смотреть и не мигать. С полчаса он на солнце глядел, глаз не закрывал. Уж очень ему хотелось получить двугривенный. Двугривенный он получил и тут же залился горькими глазами: озлеп на всю жизнь. Ведь вот какой дурак оказался. Пришлось мне его кормить. Спал, спрашиваешь, на чем? Да когда как придется: на пёчке, на полатах, на койке. Подстилку сплел из болотной травы. Бывало, постелешь ее, шубенку под голову положишь, дерюгой накроешься и хранишь себе во все носовые завертки. Да ведь за день так умаешься, что на голых дровах проспешь. А на счет еды — что можно сказать? Пища у нас известно какая: квас с редькой, квас с капустой, щей с хлебом похлебаешь. Больше всего на картошку наваливались. Каша у нас редко бывала. А мясо — разве только на пасху да в престольный праздник отведаешь...

Царь спрашивает:

— Что же ты так бедно жил?

— Да не возло мне: то пожар, то скотина сдохнет. А больше всего — земли нехватало. По четверти десятины на мужскую душу. А на женскую совсем не давали. Да и земля была неважная. Что с нее возьмешь? Но я все-таки доволен остался своей жизнью. Пусть кто другой пустит такую поросль, какую я пустил из своей избенки: дождался и внучат, и правнуков. У них, наверно, лучше будет жизнь. Говорили — от помещичьих хотят земли прирезать крестьянам. Бывало, раздумываешь об этом — водочки хватишь. И так тебе станет весело, что песни поешь.

Царь выслушал бедняка и долго молчал. Все о чем-то думал. А потом давай ругаться:

— Ах, негодян, ах, подлецы!

— Кого это ты так кроешь? — спрашивает бедняк.

— Обманщиков. Верил я им. А они надули меня. Если бы можно вернуться на землю, много бы я дел патворил. Уничтожил бы все церкви и все монастыри. А этих тунеядцев, попов и монахов, сослал бы на каторгу. Да и другим досталось бы от меня. Мерзавцы! Все мне глалл: и министры, и ге-

пералы, и судья, и советники, и духовенство. О господи! Если бы можно вернуться на землю! Переменял бы я всю свою жизнь. Все свои богатства я роздал бы беднякам, а сам ушел бы к народу. Стал бы я трудиться, как и все крестьяне мои, чтобы сто лет прожить.

Бедняк хихикает и не верит царю:

— Это ты только теперь так говоришь. А верни тебя на землю — опять по-старому будешь царствовать. Разве сам человек откажется от такого богатства и от почета? И работать ты не будешь — избаловали тебя. Ведь земля, кормилица-то наша, она любит, чтобы человек поливал ее своим потом. А ты, поди, потел только в бане, когда на полке парился. Все равно никак тебе не расстаться со своим престолом.

Царь даже заплакал и начал клясться:

— Если я вру, то пусть сейчас же поразят мою душу громы небесные...

Как только он это сказал, сверкнула молния и такой ударил гром, какого никто не слышал на земле.

Царь проснулся и долго не мог прийти в себя. Он был бледен и дрожал, как в лихотанке. А когда опомнился, то догадался, что вовсе он не помер. Все это ему приснилось. Он огляделся. Роскошная палата. Около царской кровати доктора зуетятся.

— Вы бредили, ваше императорское величество. Выкушайте ложечку вот этого лекарства.

Царь с тоской посмотрел на доктора и поморщился. Вот уже вторая неделя пошла, как доктора надоедают ему. Но какая-то болезнь все больше и больше душит его.

— Подождите, — слабо отвечает царь.

В стороне стоят духовные лица: митрополит и архиерей. Они смотрят на иконы и молятся. Митрополит приближается с дарами к царю и говорит:

— Разрешите, ваше императорское величество, еще раз причастить вас и пособоровать.

Царь и ему так же отвечает:

— Подождите.

То, что он увидел во сне, сильно взволновало его. Приказывает он духовным лицам и докторам удалиться. А вместо них созывает к себе всех министров и высших советников. А когда те явились, он спрашивает их:

— Есть ли в моем царстве такие мужики, которые живут по сто лет?

Они хором отвечают ему:

— Есть и больше живут.

Царь приказал подвинуть к кровати стол, а на него поставить чернила, положить бумагу и перо. Хотел он указ написать. И тут он нахмурил брови. Проходит час-другой, а он все думает и думает. Министры стоят и ждут царского повеления. Ждут сутки, ждут другие. Хочется им и есть, и спать, и с ног валяться, и уйти без его разрешения нельзя. А он молчит. И только на третьи сутки говорит им:

— Хорошо. Пусть все останется попрежнему. Уходите.

Министры удалились и ничего не поняли, для чего царь созывал их и к чему он такие слова сказал.

И опять доктора начали шкрякать его разными сладобьями. Митрополит еще раз причастил его и пособоровал. Ему стало хуже и хуже.

А на второй день он умер по-настоящему.

Когда Псалтырев замолчал, я спросил его:

— А эту сказку тоже от бабушки слышал?

— Пет. Слышал я ее, когда мне было лет пятнадцать. Однажды почевал у нас странник. Оказался занятный старик. Всю Россию вдоль и поперек не ходил он в лаптях. Мой отец израсходовал на него целую бутылку водки, а он всю ночь нам рассказывал. О чем ни спроси у него — все он знал: как золото из земли добывают, чем нужно лечиться от укуса змеи, какие травы бывают лечебные, из чего мыло делают. И сказки его не были похожи на наши деревенские. Позавидовал я тогда этому страннику. Вот бы и мне так походить по Руси. Сколько бы я мудрости набрался!

Сказка Псалтырева нам понравилась. Разговор зашел о странниках. Мне тоже приходилось не раз встречаться с ними на базарах и ярмарках, в трактирах и крестьянских лачугах. Под разными личинами бродили они по кривым, захолустным русским дорогам, одетые или в монашеские рясы, или в зипуны, или в залатанные рубища городского покроя. Одни из них селили среди лапотной деревни суеверия, в измученных непосильным трудом людях поддерживали наивную веру в чудеса и помощь святых угодников. Другие, как пчелы с цветка собирают пыльцу, так впитывали в себя народную мудрость и заветные надежды, выраженные в сказках и в задушевных песнях, и, как пчелы пыльцу, несли эту плодоносящую мудрость в народ. Лапотная Россия, лишённая школ и книг, подбирала крохи социальной правды от таких именно странников. Поэтому они всегда в деревне были желанными гостями, всегда им были готовы почлег и душевное радушие хозяев.

IV

За период новобранства выпал на мою долю такой вечер, который навсегда запечатлелся у меня в памяти.

Наш флотский экипаж осветили газовыми рожками. Мы, новобранцы, только что кончили занятия с ружейными приемами. Все чувствовали себя переутомленными. Хотелось отдохнуть, но уже просвистала дудка дежурного по роте, а вслед за нею раздалась команда:

— На словесность!

Новобранцы нашего взвода, в котором насчитывалось сорок человек, бросились по этой команде к месту учения и расселись по передним койкам. Стало тихо. Только на дворе выла вьюга, залепляя снегом окна. Пользуясь отсутствием инструктора, новобранцы робко озирались. Лица у всех были измученны, в глазах отражалась гнетущая тоска.

Рядом со мной уселся новобранец Капитонов, рослый парень, угловатый, низкоголбый. Он согнулся, съежился, словно старался быть незаметным. Тяжело ему было на службе. Выросший в глухой деревне Вологодской губернии, не видавший никогда города, он совершенно растерялся, понав в чужую ему обстановку. Военное училище давалось ему с невероятным трудом. В особенности он никак не мог усвоить словесность, которая для него, петраметного, была какой-то непостижимой мудростью. Каждый день его подвергали жестоким наказаниям. И запуганный, задерганный, он производил впечатление безнадёжного человека. У нас с ним был один шкаф, разделявший в заднем ряду

наши койки. Вместе мы пили чай, вместе ели ту дешевую колбасу, какую приходилось иногда покупать в лавках. Но вечерам, бесеуя с ним, я помогал ему разобраться в уставе и заступался за него, когда над ним смеялись новобранцы. Он относился ко мне с большой любовью. Иногда его подбадривал Захар Псалтырев:

— Главное, Капитанов, ты не робей. Что с тобою может сделать инструктор? Вель не зарежет ножом? Отвечай ему смело, вроде как не он, а ты старший над ним. И тогда у тебя дело пойдет.

Пришел инструктор Храпов, крупный и жилистый человек, и важно уселся против нас на стуле. Это был старший унтер-офицер, кончивший армейскую стрелковую школу. На его обязанности лежало обучать нас строевому учению. На этот раз он казался нам особенно злым. Дело в том, что утром, надеявшись друг на друга, никто из новобранцев не принес ему чаю. Это его взорвало. Желая нас показать, он привязал к чайнику длинный шнур, и мы все, сорок человек, ухватившись за шнур, отправились на кухню за чаем. Шли в погу, распевая:

Дулась, дулась, перевернулась,
Перевернулась и согнулась
В три дуги, дуги, дуги.

Вся эта песенка, которую заставил нас петь Храпов, заключалась лишь в трех бессмысленных строчках. И мы повторяли их, как полугап. А он, сопровождая нас, командовал:

— Ать! Два! Громче пойте! Не жалейте глоток!левой! Правой!

Потом целый день он мучил нас на дворе строевым учением.

С появлением перед нами Храпова новобранцы замерли. Некоторые из них неестественно выпучили на него глаза. Он окинул нас неодобренным взглядом и, хмурясь, открыл перед собою военно-морской устав. Вдруг инструктор вскрикнул, заставив нас вздрогнуть:

— Паливайко!

— Чего изволите, господин обучающий? — вскочив, откликнулся белобрысый украинец.

— Что такое капоперская лодка?

Паливайко ответил на это более или менее споспо.

— Садись.

Не было такого случая, чтобы Псалтырев занулся в чем-нибудь. И теперь на вопрос, в каких случаях подчиненный не должен исполнять приказа начальника, он отчеканил ответ слово в слово, как сказано в уставе. Храпов заметил ему:

— Тебя, чорта головастого, даже скучно спрашивать.

На присяге несколько человек срезалось. Инструктор выругался, но, к удивлению всех, никого не ударил. Он прочитал нам вслух несколько параграфов из устава и начал объяснять их своими словами:

— Примерно, присяга... Вот вы не ответили насчет ее, а ведь она — это главное на службе. Раз дал присягу, значит — баста: человек с головой и потрохами уже принадлежит царю-батюшке. Не ропщи, стало быть, ни на что. Голод и холод переноси. Потому как это — военная служба, а не свадьба...

Он продолжал дальше произносить несуразные слова, а нам казалось, что мы от них только глупеем.

— Поняли, головопаясы, что я говорил? — закончил Храпов и посмотрел на нас с такой враждебностью, как будто мы были несправимыми злодеями.

— Так точно, господин обучающий, — ответили повобранцы хором.

— А теперь... Эй, ты, морда теркою, повтори то, что я сказал вам, — обратился он к повобранцу Быкову, у которого лицо было изрыто осною.

Тот вскочил, зашевелил толстыми, влажными губами, но ничего не сказал.

— Я от тебя ответа жду, а ты, точно корова, только жвачку жуешь...

— Так что, окромя гозударя, часовой никому не должен отдавать выптовки, — выпалил, наконец, Быков и сам испугался.

— Вот тебе на! — вскрикнул Храпов и, ядовито улыбаясь, обратился к нам: — Полюбуйтесь на этого молодца. Ты ему про мачту-грот, а он себе налец в рот. О чем я вчера говорил, он мне сегодня повторяет. Ну как есть бревно! А ведь ежели правильно рассудить, должен бы умным быть. Гляньте-ка на его рожу: сам черт на ней арифметику выписывал.

Инструктор повернулся к Быкову и, склонив голову набок, прищурил один глаз:

— У тебя мамаша есть?

— Есть.

— Где она?

— В деревне осталась.

— Ты, может быть, по мамашиней спске соскучился, дитяtko неразумное, а?

Повобранец стыдливо потупился.

— Я тебя выправлю! — сказал Храпов и кулаком ударил повобранца в подбородок так, что у того щелкнули зубы.

Инструктор пылливо осмотрел нас и оставил свой взгляд на Капитонове.

— Кто у тебя экинажный командир?

Мой сосед вздрогнул и рванулся с койки.

— Его высокоблагородие капитан 1-го ранга... ранга Борщов.

— Брешешь!

Капитонов назвал еще какую-то фамилию.

— Молчи уж! — оборвал его Храпов. — Недорубленный! Послушай вот, что тебе Стручок скажет.

Стручок ответил почти скороговоркой:

— Его высокоблагородие капитан 1-го ранга Капустин, господин обучающий.

— Молодец, Стручок!

— Рад стараться, господин обучающий!

— А ты, кукла заморская, поди сюда! — крикнул инструктор на Капитопова.

Зная, зачем его зовет Храпов, повобранец приближался к нему медленно, тихо озираясь, точно ища себе спасения. Широко раскрытыми глазами мы следили за инструктором, ожидая, что он применит к выповинку какое-нибудь новое наказание. В этом деле изобретательность у него была поразительная. И действительно так случилось. Он постучал кулаком по голове повобранца и прислушался. Потом постучал по деревянной табуретке и, наклонившись,

также прислушался. После этого он значительно посмотрел на нас и заявил:

— Одинаковые звуки получаются. Стало быть, голова у него деревянная. Попробую приложить ему пластырь на шею. Иногда это помогает.

Капитонову было приказано нагнуться. Он сделал это покорно и безмолвно. При каждом ударе по шее его голова тыкалась вниз. Раза два он падал на колени, поднимался и снова становился в прежнюю позу. Возвращаясь на свое место, он, в довершение всего, зацепился за чьи-то ноги и сплотнулся.

— Тюлень! — рявкнул ему вслед Храпов.

Словесность продолжалась. И чем дальше она шла, тем злее становился инструктор. Те, кто на чем-нибудь сбивался, подвергался наказаниям, какие только приходили ему в голову. И многие с ужасом смотрели на его сухое и усталое лицо. Спустя полчаса у двоих были окровавлены лица, трое стояли на матросских шкафиках, выкрикивая:

— Я дурак второй статьи!

— Я дурак первой статьи!

— Я глуп, как пробка!

В то же время один из новобранцев, засунув голову в топку голландки и называя свою фамилию, произносил слова под суфлерство инструктора:

— У Пудеева кобылья голова... Он словесности не знает... Скорее можно свинью научить на белку лаять, чем из него сделать матроса...

И к каждой фразе он прибавлял самую отвратительную матерщину.

Меня все больше и больше унижал Храпов. Нам известно было, что он происходит из крестьян Тверской губернии. Что он уволился за шесть лет флотской службы? Строевое учение, имена царствующего дома — царя, царицы, их детей, вдовствующей царицы, великих князей. Но для этого не нужно было иметь много ума. И все же этот малограмотный человек, который с трудом мог нам объяснить морскую устав, считал себя в сравнении с нами, великим человеком. А мы для него были какими-то неразумными существами. Издеваясь над нами, он унижался своею властью. Я посмотрел на новобранцев, забытых и жалких, и подумал: «Неужели впоследствии и из них кто-нибудь выйдет таким же жестоким, как этот инструктор?» А он, обрывая мои мысли, задал мне вопрос:

— Что такое знамя?

На это, вызубрив весь устав почти наизусть, я ответил без малейшего затруднения. Мне приказано было сесть. Храпов взялся за Капитонова.

— Теперь ты повтори, что он сказал.

Капитонов встопорился:

— Знамя... хоругва...

— Ну? — не отставал от него Храпов.

Капитонов, напрягая мысль, морщил лоб. Губы его посинели, в глазах светился животный страх. Наконец, сокрушенно мотнув головою, он забормотал, что не знает:

— Потому живота не жалея... святая хоругва... до последней крови... Часовой...

Храпов остановил его:

— Стой ты, дубина стоеросовая! Ну чего ты мелешь? Нет, измучился я с тобою совсем. Ты хоть пожалел бы мои кулаки: отбил я их о твою дурац-

кую башку. А все без толку. Тебя видно учить, что на лодке по пезку плавать...

И, не желая затруднять себя больше, он обратился ко мне:

— А ну-ка, смажь ему разок по карточке. Да по-настоящему, смотри!

Я отказался выполнить такое приказание.

Храпов сплел зубы и ошетилил усы. Сухое лицо его стало багровым. Он жестко посмотрел на меня, а потом уставился, словно гипнотизер, напряженным и неподвижным взглядом на Капитонова. У того от страха задержалась нижняя губа. Последовал приказ с хриплым выкриком:

— Капитонов! Если он не того, то ты привари ему пару горячих!

— Есть, господин обучающий.

Ко мне повернулось лицо Капитонова, мертвецки бледное, как маска, и на момент я увидел его глаза, бессмысленно округлившиеся и пустые, точно он внезапно ослеп. Правая его рука откинулась с необыкновенной быстротой, словно он боялся упустить удобный момент для удара. Не успел я произнести ни одного слова, как голова моя потянулась сначала в одну сторону, затем в другую. Из глаз посыпались искры, зазвенело в ушах.

— Мерзавец! За что ты меня ударил? — задыхаясь от неголования, крикнул я в диком иступлении. Я упал на койку, но сейчас же вскочил. Все мое существо охватило одно безумное желание броситься на Капитонова и рвать его, рвать до тех пор, пока не истощатся последние силы. Но он сам свалился на пол, как подкошенный, и над ним, яростный и страшный, стоял Псалтырев, озирающе глядя на инструктора. Все это произошло, как в бреду, и до моего сознания донесся резкий голос:

— Разойдись!

Я увидел удаляющуюся из камеры спину Храпова.

В эту ночь я долго бродил по двору, осыпaeмый холодным снегом, с болью в голове и с горечью в сердце.

Было уже поздно, когда я вернулся в камеру. Газовые рожки, наполовину привертнутые, горели слабо. Кругом было сумрачно. Новобранцы, утомившиеся от работ и учебных занятий, крепко спали. Дремал и дневальный, привалившись к стене около дверей. Воздух был тяжелый, спертый. Я прошел к своей койке и начал раздеваться.

Капитонов еще не спал. Опустив голову, он в одном нижнем белье сидел на своей койке, убитый и несчастный. Лицо его с разбитым подбородком потемнело, взгляд устремился в одну точку. Не глядя на меня, он заговорил робко, дрожащим голосом:

— Прости, брат... Ей-богу, не знаю, как это я... Никогда больше... никогда... Бей меня, сколько хочешь...

И вдруг этот большой человек тяжело заплакал, стараясь заглушить свои всхлипывания. Я сразу понял, что не он, доведенный до невменяемости, был виноват, а кто-то другой. Мне стало жалко его, как будто своими слезами он смыл злобу с моего сердца.

Через две койки от меня сладко всхрапывал Псалтырев.

Храпов, очевидно, сам испугался того, что случилось, и никого не посадил в карцер. И вообще он с этого вечера сократился в своих наказаниях. А мне и Псалтыреву совсем перестал задавать вопросы во время словесности.

Весной мы приняли присягу, нас произвели в матросы 2-й статьи. Служба пошла легче. Меня назначили в плавание на крейсер, и я разлучился с Захаром Псалтыревым. Ему до болезненности хотелось быть вместе с нами. Он бредил кораблями и морем, но попал в вестовые к одному пожилому капитану 1-го ранга. Конечно, из этого матроса, судя по его задаткам, вышел бы хороший судовой специалист, но ему и на этот раз погадила Карягин.

На вторую зиму я снова встретился со своим «годком». Псалтырева трудно было узнать: его лицо доспилось от сытости, словно он вернулся с богатого курорта. Он весело скалил зубы и рассказывал мне о своей службе.

Теперь, брат, служить можно. Я даже доволен, что попал в вестовые. Мне и во сне-то не спилось такое житье. Расскажу тебе все по порядку. До чего же чудно господа живут! Это, друг, не то, что у нас в деревне. Там на целую семью избежка, а тут только на два человека квартира из четырех комнат да еще столовая. А как все обставлено! Шкафы с зеркалами в человеческий рост. В столовой — буфет и посуды в нем на тысячу рублей, на стенах картины в золотых рамах. Кабинет весь обставлен книжными шкафами. Книжки в них и тоненькие, и толстые, да все с золотыми буквами на корешках. Тысячи три книг будет. Пока мои господа спят, я убираю кабинет, а сам нет-нет да и загляну в какую-нибудь книгу. Тут тебе и про моря, и как другие государства живут, и откуда земля взялась. Словом, про все на свете. Вот я и думаю: как же господам умными не быть, если они столько книг имеют? Среди книг нашел я небольшой словарь. В нем любое иностранное слово объясняется. Словарь этот я приласкал к себе. Думаю, барину он не нужен — барин и без него все знает, а для меня это находка. Я часто заглядываю в него. Теперь господский разговор я начинаю лучше понимать. В спальне на столике приспособлено тройное зеркало, чтобы можно видеть в нем и лицо свое и заголовок. Всего богатства и не пересчитать. Вот это, можно сказать, живут люди!

Сначала я боялся своего барина. Толстый он, голос у него хриплый, глаза на выкате, борода ржавая, как прошлогодняя трава в болоте. Дышит тяжело, посапывает. Очень любит свою жену. Третий год идет, как они повечались. Она моложе его лет на тридцать. Корпусом и лицом — быть бы ей графиней. Улыбнется — точно сердце тебе пощекочет. Нельзя даже смотреть на нее — ишьнешь, словно стакан спирту хватил. И здоровьем бог не обидел ее. А ничего не работает. Лежит себе по целым дням на диване и книжки почитывает. К вечеру начинает наряжаться в шелка, пудриться, мазаться. Часа два возится с собою — красоту наводит. Потом уходит в Морское собрание. Муж один остается дома, скучает и от печего делать свою бороду жует. Это значит — он расстроен. С такой женой наш брат пропал бы совсем. Да хоть бы ласковое обхождение имела с мужем. А то и этого нет. Что он ни скажет — она все перечит ему:

— Ты глупости говоришь.

Скандалы у них бывали каждый день и начинались с какого-нибудь пустяка. У барыни насморк — муж виноват. Сама же она кунила себе злишком

тесные туфельки — муж виноват. Дождь долго идет — муж виноват. День очень жаркий — муж виноват. Всегда и во всех случаях он виноват, а она всегда бывает права. Сколько барин ни старается, но к чему-нибудь она обязательно придерется. Скажем, галстук у него немного съехал в сторону. Ну, уж тут держись — достанется как следует. И не замечает она того, что у нее самой мозги съехали набокренъ. Иной раз раскричится и давай всячески поносить барина.

Он хочет что-нибудь возразить ей, а у нее даже поздри побелеют, и как зашипит на него:

— Замолчи, корабельная плесень!

Ведь умные книжки она читает, а ругается, как торговка на барахолке. А барин только нахмурится и сидит себе, вроде как и язык у него отнялся. Иногда барыня до того разъярится, что начинает бить посуду и рвать все, что попадает под руки. Убытку целковых на пятьдесят наделает. Только ни разу не видел я, чтобы она разорвала свое собственное шелковое платье или шляпку с пером. В чем, друг, тут дело а? А барин, вместо того чтобы потасовку ей дать, умоляет ее:

— Наденька, успокойся. Ну, зачем ты сердилась? Прости, если я в чем виноват.

Помирятся — барин у нее в ногах ползает и говорит всякие ласковые слова.

Даже противно смотреть на него. Перед нашим братом, матросом, задается — замри и не дыши при нем, а жену усмирить не может. Такие, значит, правила у господ: хоть какая будь жена, а он должен обожать ее, как пречистую деву-богородицу. Иной раз смотрю на них и думаю: чего им пехвадет? Говядина вареная, говядина жареная, куры, рыба, пироги, разные сладости, вина — ешь и пей, сколько душе угодно. Жалованье большое. Власть имеют, всюю почет и уважение. А радости пет цикакой. И что этой барыне еще надо? Потому-то я понял, что она не в те руки попала. А только скажу тебе, что иногда было жалко барина. Как это можно так измываться над человеком? Ведь он тебе не баран, а образованный человек: капитал 1-го ранга. В чины его производил сам царь. А она кто? Какже у нее чины? А кричит на него — вроде как она адмирал. И доходов от нее, как от лебеды в огороде, — никаких. Даже и кухней-то не занимается. Живет у нас одна пожилая женщина — она и стряпает.

Гстати, надо тебе сказать об этой кухарке. Я величаю ее Настасией Алексеевной, а для моих господ она просто — Настя. Ей около пятидесяти лет. С молодости работает на чужих людей — срок немаленький. За это время она превратилась в легкую и сухонькую старушку. Я присматривался к пей и думаю: таких заботливых и честных женщин не скоро найдешь. Я помогаю ей в работе и очень дружу с пей. Часо силим мы с пей на кухне и обеуждаем господскую жизнь. Больше, конечно, Настасия Алексеевна рассказывает, а я слушаю и удивляюсь.

От нее я узнал и о прошлом моих господ. А еще рассказывал мне о барине старый боцман. Он теперь в отставке, служит в Бунеческой гавани сторожем. Но когда-то он долго плавал вместе с Лезвным на военных кораблях и знает его с молодости. Иногда боцман заходит к нам поведать

своего прежнего начальника. У них давняя дружба. Без угощения барин не отпустит его или же даст на водку.

А меня очень интересует господская жизнь, особенно сам Лезвин. Не так них все идет, как у крестьян. Оказывается, его отец и дедушка тоже были заряками. Сначала он взял курс правильный, а потом сбился с него. Может быть, это потому так вышло, что он рано остался без родителя. Лезвин-отец дослужился до капитана 1-го ранга. Вероятно, он думал еще выше подняться. Но, как говорится,— человек предполагает, а бог располагает: Умер он от паралича сердца.

Сыну, то-есть моему барину, в это время было восемнадцать лет. Он только что надел мичманские эполеты. Ну, известное дело — сначала погоревал, а потом зажил самостоятельно. Это, как говорит боцман, был веселый человек и выпить не дурак. Любил что-нибудь учудить и не стеснялся начальства. За это ему не раз попадало. Однажды при боцмане был такой случай. Судно находилось в заграничном плаваньи. Молодой Лезвин стоял во время вахты на шканцах, смотрел на море и чему-то улыбался. В это же время командир прогуливался по верхней палубе. Он был старый, у него болела печень, значит, жизнь пошла ему в тяжесть. Заметил он веселое настроение Лезвина и забросился на него.

— Чему смеетесь? На вахте стоите, а смеетесь. Что это для вас — палуба боевого корабля или Невский проспект? У вас беспорядок!

— Какой беспорядок, где? — спросил Лезвин. — Я не вижу.

— Не видите? — ехидно переспросил командир. — Вокруг вас бревна валяются, а вы стоите и улыбаетесь. Уберите это бревно!

Командир носком ботинка указал на малюсенькую щепочку.

Лезвин посмотрел на командира, потом на щепочку и весело скомацдовал:

— Вахтенный! Четыре человека на шканцы! Убрать это бревно!

Командир даже позеленел от злости, а поделать со своим подчиненным ничего не мог, потому что сам назвал щепку бревном.

По словам боцмана, Лезвин был самый умный моряк. Он знал хорошо и штурманское дело, и по артиллерии, и все судно от киля и до клотика. С англичанами и французами он разговаривал на ихнем языке, как на русском. Его все любили — и офицеры, и матросы. Но высшему начальству он не совсем нравился. Почему? Не товолен он был порядками во флоте и все писал об этом какие-то доклады. Ему хотелось, чтобы по-другому было на кораблях — лучше. А там, на верхах, все эти его доклады клали под сукно. Ну, и началось у него охлаждение. Увидел он, что впустую старается, и запил горькую. И все-таки он, как и отец его, дослужился до капитана 1-го ранга, а дальше не пошел.

Так я постепенно узнал от боцмана и Настасии Алексеевны всю подпочтовую своих господ. Вот каким Лезвин был раньше и каким стал теперь. Совсем спик.

Через Настасию Алексеевну и со мною приключилось такое, чего я не ожидал. А все дело в том, что у нее была дочь. Трудно сказать, что ждет меня впереди. Судьба человеческая похожа на семя, слетевшее с дерева: упадет оно на дорогу — погибнет, упадет на скудную почву — будет всю свою жизнь чахнуть, упадет на плодородную землю — расцветет.

Дочь Настасьи Алексеевны зовут — Валентина Викторовна. Она часто заходит к нам. Ей восемнадцать лет. Девница, что называется, в самом соку. Служит она в одной конторе машинисткой. С первой же встречи с Валею меня потянуло к ней, как шмеля к душистому цветку. Лицом она не похожа на мать. Вероятно, вся в отца вышла: нос с горбинкой, губы тонкие, немного изогнутые, подбородок точеный, глаза, как у цыганки, настолько черные, что зрачков не видно. Волосы у нее густые и причесаны на прямой пробор, а это всегда придает девушке скромный вид. Любит она паразитаться в белые платья, и тогда кажется мне занескомом в вишневого цветка. Характером она в мать — мягкая и обходительная. А уж такая веселая Валя, что при ней даже хворый человек заулыбается. Словом, не девушка, а заря весенняя. Ну, кто в такую особу не влюбится?

Случился и со мной такой грех. Эх, любовь, любовь! Кто ее выдумал? И радость она дает всем, и страдания. Когда Валя сидит со мною рядом и улыбается, то все вокруг становится необыкновенным: и кухня с начищенными кастрюлями, и кусок чеба, что виднеется в квадрате окна. Вот до чего нравится мне Валя, что даже от голоса ее как будто пахнет фиалками. А уйдет она — тогда лохматым зверем навалится на мою душу и пшде я себе места не пайду.

Но вся моя беда в том, что я из деревни и необразованный. А она кончила городское училище. Где же мне с нею тягаться? Только смотрю на нее влюбленными глазами, как на звездочку ясную, и тихонько про себя вздыхаю. Иногда сказками забавляю мать и дочь. Я нарочно выбираю для них такие сказки, где говорится, как богатая невеста вышла замуж за бедного молодца и как они счастливо зажили. Вале это нравится. Стал я замечать, что и она интересуется мною и все чаще и чаще заглядывает к нам. Я, конечно, стараюсь во всем угоить ее матери: плиту разожгу, посуду вымою и что-нибудь состряпаю. А она тем временем отдохнет. Она относится ко мне, как к родному сыну, и говорит:

— Славный, ты, Захар, парель. За что ты ни возьмешься, все в твоих руках выходит хорошо. Одно только плохо: необразованный ты.

«Эх, думаю, вот в чем дело! Она не прочь бы выдать за меня свою дочь, если я отшлифую себя». И я взялся за дело. Прислушиваюсь к господам, как они разговаривают между собою, когда в ладу, заглядываю в разные книги. Досмерти мне хочется сравняться умом с Валею. Про себя соображаю, что во всяком деле прежде всего пужна грамота. Без нее даже письма своей возлюбленной нельзя написать. А с чего пачать? Обращаюсь к Вале:

— Как мне научиться правильно писать?

Это ей по сердцу пришлось, и она ласково отвечает:

— Я принесу вам книжку. Грамматикой называется она. И могу помочь вам в этом.

Вскоре книжка, действительно, очутилась у меня в руках. Я тогда же подумал, что, может быть, через нее решится моя судьба. И начал я зубрить эту самую грамматку. По ночам, когда все спят, я сижу на кухне и пишу что-нибудь. Иногда Валя мне диктует. За лето почти все правила грамматки я выучил наизусть, а проложая делать пропасть ошибок. Мне очень совестно перед девушкой. Оп. смеется:

— Практика пужна. Через год ты будешь писать без ошибок.

Иногда я стал бывать у Вали на квартире. Комнату она снимает отдельную. Живет небогато, но у нее все аккуратно и чисто убрано, как и сама она аккуратная. На окнах белые занавески, кровать застлана розовым одеялом, в одном углу комод стоит, около стола два венских стула. Сажу я в этой комнате, смотрю на Валу и кажется мне — счастливее меня никого нет на свете. Если она станет моею женой, то вместе с нею я одолею все, как богатыри в сказках.

Неделю тому назад позанимались мы грамматикой, а потом и сам я не знаю, как вырвалось у меня:

— Эх, Валя! За один только твой поцелуй я готов переплыть через весь залп. Только прикажи — сейчас же я это сделаю.

Сказал я так и сам испугался.

Она вспыхнула вся, сверкнула радостно зубами и ответила:

— Зачем же я такую глупость буду говорить? А поцеловать тебя и без этого можно.

Подошла ко мне и, точно огнем, опалила мою душу. У меня даже голова закружилась. От неожиданности я совсем растерялся и не могу ей сказать ни одного ласкового слова. Слезы радости затуманили мои глаза. Я сконфузился еще больше и совсем ни к чему сказал:

— А грамматику я обязательно одолею.

И тут же ушел от Вали.

А вчера от ее матери узнал интересную новость. Сидел я с нею на кухне за чаем, разговорился о жизни. Старушка расчувствовалась и сказала мне:

— Только тебе, Захар, одному скажу я тайну.

Я насторожился.

— Моя Валя-то неаглядная — вель она дочь адмирала.

От этих слов меня точно кто по сердцу резанул. Пропала моя головушка. Разве такая девица пойдет замуж за деревенского парня? И с горечью спросил:

— Как это могло получиться?

Настасья Алексеевна начала издаലെка. Больше всего она служила у морских офицеров то горничной, то кухаркой. Пришлось ей хватить немало горя. Когда она была молода, то многие господа льнули к ней. И трудно было ей, сироте, отбиваться от них.

— И вот, — говорит она, — поступила я горничной к капитану 2-го ранга. Он человек хороший и добрый, а она — ведьма с Лысой горы. И любовников у нее перебивало столько, сколько в году педель. Двух детей она ему родила, только ни один из них не похож на барина. Видагы — чужие дети. Уехала она с ними на все лето в Крым. Ну, барин и начал за мною ухаживать.

Я хотела усовестить его — напоминаю ему о жене и о детях. А он и знать ничего не хочет. На счет детей он просит совсем ничего не говорить ему, а жену он ненавидит. И с одной ноченьки темной пошла у нас с ним жизнь. Забеременела я и думала — конец мне. А барин-то оказался совестливый человек. Когда уходить мне от него нужно стало, он снабдил меня деньгами. И потом приходил на свидание дочку поглядеть. Помог он мне. Благодаря ему Валя городскую школу кончила и сто рублей у нее лежат в сберегательной кассе. Гляжу я на свою Валеньку и не нарадуюсь — вылитая отец. Уж очень

похожа. Только ты, Захар, случайно не проговорись об этом ей. Она ничего не знает, кто у нее отец.

Я обрадовался, что Валя не знает о своем происхождении, и говорю:

— Будьте спокойны, Настасья Алексеевна. Все ваши слова скроются в моей голове, точно камни в море. Только позволяте сказать — выходит, что отец Ваши вовсе не адмирал, а капитан 2-го ранга.

— Верно — был таким, а теперь он — адмирал. Виктор Григорьевич Железнов. Может, слышал о нем? Очень умный человек.

— Нет, ничего не слышал. Мало ли у нас во флоте адмиралов? Всех не упомянуть.

И теперь сам не знаю, как у меня обернется дело с Валей.

VI

Захар Псалтырев замолчал и задумался. Ротный писарь вручил мне открытку от моих родителей. Я наскоро прочитал ее — дома все благополучно. А потом обратился к Псалтыреву:

— Рассказывай дальше. Как твои господа поживают?

— Нескладно живут. Но это еще что. А ты вот послушай, как и меня затянули в повое дело, и сам не знаю, чем все это кончится. Сначала мой барин капитан 1-го ранга Лезвин взял меня с собою в плавание. Командует он крейсером «Алеша Попович». Корабль что нало — заглядишься, и очень быстроходный. Да, жаль, проплавал я на нем только две недели. За это время излезил его весь сверху допизу, и не осталось такого помещения, куда бы я не заглянул. Сколько механизмов и разных приборов! Чудо человеческого ума! Так я полюбил свой крейсер, точно он принадлежит лично мне. И вот однажды барин приказывает мне:

— Собери зван вещи. Последь со мною.

Барин мой оказался человеком простецким. С ним можно разговаривать о чем угодно. Хоть на этот раз он почему-то насунулся, но я все-таки обратился к нему:

— Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, куда будем держать курс?

— Будешь жить в моей квартире и прислуживать барыне.

Огорщина он меня этими словами, по разве командиру можно возразить?

Через полчаса мы прибыли в квартиру. Барыни дома не оказалось. Вижу я — приуныл старик, точно его с должности рассчитали. Зовет меня к себе в кабинет и спрашивает:

— Ты женат, Захар?

Дернуло меня за язык соврать ему:

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Любишь свою жену?

— Да как же, ваше высокоблагородие, не любить жену. Она и первая помощница мне по хозяйству, и жить с ней всезлее.

— А не боишься, что в деревню она может с каким-нибудь парнем любовь закрутить?

— Что же поделаешь. Меня дома нет. Значит, ее воля.

— Ну, а если бы это случилось при тебе?

Думаю я: к чему это он клонит? И отвечаю:

— Я бы этому парню морду набил. А потом посмотрел бы — крепко они припайтовались друг к другу или нет? Если она только дурить вздумала, то к ее проучить не мешает. А если она всерьез полюбила, то катись от меня на паровом катере к чертовой матери.

Барин похвалил меня и говорит, что я правильно смотрю на жизнь. Помолчал он немного, пощипал свою ржавую бороду.

— Вот что, Захар, у нас тоже бывают такие случаи. Ну, как бы тебе это объяснить? Жена изменяет.

Он загнулся, покраснел, точно его в мошенничестве изобличили. Я стою, вытянувшись, и руки держу по швам, как полагается. Вдруг он выпалил:

— Так вот, Захар, в чем дело. Если ты в мое отсутствие заметишь на горизонте что-либо подозрительное, то доложишь мне. Скажем, — лейтенант или мицман появится в моей квартире. Ясно?

— Так точно, ваше высокоблагородие, все ясно.

— Только хорошенько смотри за горизонтом, как сигнальщик с корабельного мостика. А я буду тебе платить за это пять рублей в месяц. Это сверх того, что ты вообще получаешь.

— Есть, — отвечаю я.

Он даже похлопал меня по плечу.

— Молодец ты у меня. Умный парень. Уверен я, что от твоего глаза ничего не скроется.

Вот с этого раза и началась у меня настоящая жизнь. Вечером явилась домой барыня, парящая, раздушенная. Увидала она мужа и с такой радостью бросилась к нему на шею, что он моментально повеселел. Сейчас же началось у них пиршество. Раньше такой любви у них я не замечал.

Утром барин собирается в море. Барыня горюет, плачет, внушает ему, что без него она с тоски с ума сойдет. Он утешает ее, обещается педели через две опять вернуться к ней. Я решаю про себя, — пожалуй, зря барин заставляет меня следить за ней. Она просто взбалмошная женщина, но мужу не изменит. Только одно было подозрительно — уж очень масковой она стала со мной. А на следующий день она звонит по телефону:

— Володя, приезжай скорее. Стараю от нетерпения. Что? Да нет его жона. В море он. Захвати, Володя, моего любимого ликеру.

Ах, думаю, ты, шельма такая. Обязательно доложу все барину. Пусть он все знает, какая есть у него жена. Вскоре появляется в квартире мицман, молоденький, чистенький, свежий, словно огурчик с грядки. Духами от него несет. Улыбается, будто сто тысяч выиграл. В руке у него сверток с выпивкой. И барыня, увидавши мицмана, загорелась вся, как маков цвет. Приказывает она мне стол накрыть, рюмочки приготовить, черное кофэ сварить. Все я сделал, как повелено. Барыня наказывает мне, чтобы я на кухне сидел. А здесь, то есть в зале, я больше не нужен ей. Сажу я на кухню и слышу — щебечут они вдвоем, как птицы весной. Помолчат немного, затихнут, и снова — то смех, то разговоры. Старую кухарку барыня отпустила до позднего вечера. Я на кухне — один. Мне скучно и завидно на то, как другие играют в любовь. Нет у меня на плечах золотых погон. Долго бы вспомнила меня барыня. Пробыл мицман, этот самый Володя, часа четыре и собрался уходить. Я подаю ему напидку, фуражку. Он спрашивает:

— Какой губернии?

— Рязанской, ваше благородие.

— Люблю рязанских.

И дает мне двугривенный, через некоторое время барыня зовет меня в зал. Смотрю — сидит она в кресле, усталая, словно целый день на жнитве провела. Прячет от меня глаза. Разрешает мне допить остатки ликера. Ну, что это за вино? И пахнет лучше всяких цветов, и сладости необыкновенной, и кровь распяляет. Спрашивает она меня ласково так:

— Твои родители, Захар, вероятно, бедно живут?

— Очень, барыня, бедно.

Достает из сумочки два рубля и наказывает мне:

— Пошли-ка им. На что-нибудь пригодится.

Я, конечно, поблагодарил барыню. У нас в деревне за два целковых пужло целую неделю работать. И каждый раз так, когда мичман приходит: он мне двугривенный, а она — два рубля. Думаю я: пожалуй, и не стоит докладывать барыню. Какое мне дело до их супружеской жизни? Да и какой он ей муж? Разве для нее такой нужен? Неделю через две приезжает домой сам барин. Она голову платочком обвязала, охает, больной прикидывается. Он зовет меня к себе в кабинет и спрашивает:

— Ну, Захар, как на горизонте?

Мне немного совестно было, но отпарторвал я резво:

— Чисто, ваше высокоблагородие. Только барыня без вас очень скучала. Плохо кушает. Иногда сидит одна и плачет.

Барин доволен и дает мне пять целковых.

Как и в первый раз, перепочевал он только одну ночь и опять отправился в плавание.

Мичман Володя запропастился куда-то совсем. Стал у нас появляться лейтенант. Мишелем она называет его. По-нашему значит Михаил. Здоровенный парень, как борец из цирка. Этот дает мне на чай по полтиннику. И барыня прибавила — каждый раз трешницей награждает. Стало быть, лейтенант ей больно пришелся по сердцу. Словом, теперь я живу в свое удовольствие. Пища хорошая, все меня любят, и доход кругом. Служить мне долго — еще осталось около шести лет. За это время сколько у этих полтинников, трешниц и пятерок наберу! Хозяйство у меня в деревне плохое: избенка ветхая, лошаденку ветром качает, из скотины всего только две овцы. Вернусь со службы — все по-другому пойдет. Новый дом построю, куплю хорошего жеребенка, заведу племенную корову. Буду первый житель в деревне. Может, барыня разохотится и еще одного ухагора заведет. Эх, и раздую же я свое хозяйство!

Мечта Псалтырева не осуществилась. Месяца через три я снова встретился с ним. Лицо его было в кровоподтеках. Нос и губы распухли. Я сире сил:

— Что случилось? Где это тебя так разукрасили?

Псалтырев махнул рукой:

— Кончилась моя масленица, наступил великий пост. Вот беда! Ведь подвел меня!

— Кто?

— Да лейтенант, этот самый Мишель, чтоб у него всю жизнь было пусто в желудке. Милуется он с барыней, а в это время слышу звонок, длинный, уверенный. Сердце у меня так и дрогнуло. Замер я на месте. Что, думаю, теперь будет? Лейтенант ко мне на кухню. Я выпускаю его через черный ход. Потом бегу к парадной двери. Так и есть — сам барин передо мною. Выговаривает он мне, почему я так долго двери не открывал. Я сочиняю ему — лицо, мол, было у меня в саже, умывался. А он подозрительно смотрит на меня, не верит. Лицо у него сердитое, мрачное. Разделся он и спешит прямо в спальню к жене.

Ну, думаю, лейтенант успел уйти, и, кажется, обойдется все по-хорошему. А вышло не так. Не прошло и несколько минут, как началось представление: барин орет, барыня визжит. С полчаса это у них так продолжалось. Зовет он меня в кабинет. Иду я и волнуясь. Спрашивает барин меня:

— Как на горизонте?

А сам от злости так и задыхается. Что-то у него за спиной в руке. У меня еле язык повернулся:

— Чисто, ваше высокоблагородие.

Вдруг он как зарычит:

— Чисто, говоришь? А это что?

Мелькнуло передо мною что-то голубое. Я даже не понял, что у него в руке очутилось. И давай меня он этой самой голубой штукой по глазам хлестать. Мало ему показалось — начал кулаком по лицу долбить. Потом вдруг отшатнулся от меня и спрашивает:

— С кем я сейчас ругался в спальне?

— Со своей женой Надеждой Александровной, ваше высокоблагородие.

— Врешь! Это не жена капитана 1-го ранга Лезвина, а это...

Он громко назвал ее таким словом, каким называют только уличных женщин, и прибавил к этому матерную брань. Вот тебе, думаю, и благородный человек! Да так выражаться про свою жену не всякий крестьянин позволит себе. А барин и мне приказывает:

— Повтори все то, что я сказал!

Привык я ко всяким словам, а тут почему-то стало боязно. Просто совестино обидеть барыню. Ведь плохого я ничего от нее не видал! А тут еще мыслишка в голове ворочается: может, он хочет обернуть дело так, чтобы потом меня отдать под суд за оскорбление жены. Барыня сначала плакала, а потом не слышно стало. А он заседает на меня, кулаки держит наготове. Первый раз он таким страшным показался мне: лицо бледное, глаза мутные. Желтая борода трясется. Я тихо повторил его слова.

— Громче! — рявкнул он. — Убью на месте!

Вижу я, что барин сорвался с пареза и осатанел: не увернуться мне от его побоев. Эх, думаю, все равно погибать! И я так гаркнул, что стены дрогнули:

— Это не жена капитана 1-го ранга Лезвина, а это...

И точно-в-точь повторил его слова.

Барыня вбежала в кабинет и завизжала:

— Мерзавец! Старая калоша! Учинишь вестового ругать меня!..

А я тем временем махнул на кухню, захватил свои вещи и понесся в экипаж. Что теперь мне будет — сам не знаю. Боюсь — изувечит окающий.

Псалтырев попросил у меня зеркало, посмотрел на свое отражение и промолвил:

— Как живописец, размалевал мою карточку. Ну, ничего — заживет. А все-таки я здорово намордовался на господских харчах. Теперь придется на полпудика убавиться весом.

И сразу же рассердился, делая свое заключение:

— Дурак он, старый дурак, барщ-то мой. Что бы ему вернуться домой часика на два позже. Тогда бы все было довольны: и я, и барыня, и лейтенант, и больше всех сам барщ. Так нет же — принесла его печистая сила не во-время.

VII

С осени, после кампании, большинство матросов было распределено по разным школам. Из этих школ выходили судовые специалисты: комендоры, миперы, гальванеры, кочегары, машинисты, мипные машинисты, сигнальщики, рулевые. Кроме того, были еще школы для унтер-офицеров тех же специальностей, а также для содержателей казенного имущества и строевых унтер-офицеров.

Захар Псалтырев ни в одну из них не попал. Его зачислили в расхоее отделение. Это означало, что он и другие, подобные ему, должны были выполнять работы, какие ежедневно назначал им фельдфебель: пилить дрова, убирать с экипажного двора снег, вывозить мусор из корабельных мастерских, ездить с баталером за продуктами. И все же Захар не оставался равнодушным к науке. Больше всего он хотел одолеть грамматику. По вечерам я диктовал ему из той или иной книги, а он писал. Потом он сам себя проверял, сличая написанное им с подлинником, и подчеркивал свои ошибки. Почерк у него был неважный, но число ошибок уменьшалось с каждой неделей. Это его очень радовало. Теперь, присматриваясь к занятиям товарищей, он взялся и за арифметику. Для него не было непреодолимых препятствий. Если он наметал для себя какую-нибудь цель, то всегда ее достигал. За один месяц им были усвоены все четыре арифметических действия.

В экипаже пища была не та, к которой Псалтырев привык, будучи вестовым. А тут еще он настолько увлекся наукой, что у него мало оставалось времени для сна. Он похудел и осунулся, но попрежнему оставался энергичным и жизнерадостным.

Иногда Псалтырев встречался с Валею.

Однажды я спросил его:

— Ну, как у тебя с пею?

Захар просиял белозубой улыбкой:

— Занятий стало меньше, а поцелуев — больше. Да она теперь и сама видит, что года через два я догоню ее. А потом дальше пойду. Это сильно повлияло на нее. Но главное — моя любовь к Вале горяча, как солнце, а от солнца, как известно, даже лед тает. Валя, хоть сейчас, готова пойти со мной под венец. Только начальство не разрешит мне жениться, пока я не кончу военной службы.

— Долго придется тебе ждать, — заметил я.

— Да, более пяти лет. Ну, ничего. Зато какая жена будет! Всем на зависть. И до чего она приветлива! Спасибо ее матери. Она все время внушает дочери, чтобы не очень зарилась на золотые погоны. Могут обмануть девушку и разбить всю ее жизнь. А для меня Валя — это вторая душа. Теперь и мать ее уверилась во мне. Она тоже не прочь приспособить меня в зятя к себе. Недавно я виделся с нею. Не зря она внушает мне, чтобы я учился хорошо. Но ее мнению, я сначала должен выйти в унтер-офицеры, а потом остаться на сверхсрочную службу и добиваться звания кондуктора. Что же? Может быть, она и права.

— А как поживает твой барин?

— Жена ушла от него. А он с горя еще больше стал жевать свою бороду. Пока обходится без вестового. Слава богу — про меня забыл.

В нашем экипаже жандармы арестовали пять человек. В число их попали два унтер-офицера. Это произвело на матросов сильное впечатление. Во всех ротах начался разговор шепотом. Арестованные пять человек считались хорошими людьми. Ни в каких уголовных делах они не были замешаны. За что же их взяли, да еще почью?

Исалтырев, возбужденный, прибежал ко мне и таинственно заговорил:

— Слышал я — политические они. Будто бы они что-то замыслили насчет царя. Неужто это верно?

— А почему же нет?

— Да ведь бороться нужно только против господ. От них народ много обиды терпит. А при чем же тут царь? И как без него мы будем жить?

Я сам ничего не понимал в политике и не мог ответить на его вопросы.

— Эх, поговорить бы с арестованными! Вот от них бы я все узнал, только говорят, что они никогда больше не вернутся в экипаж.

Однажды утром во время распределения матросов на работы фельдфебель, ткнув пальцем в грудь Исалтырева, сказал:

— А ты за нарядом приходи ко мне в канцелярию.

Исалтырев заволновался, ничего кроме каверзы не ожидая для себя от начальства. Действительно, так и случилось. Через полчаса, вручая какой-то запечатанный пакет и билет для проезда по железной дороге в Петербург, фельдфебель строго его наставлял:

— Вот бери и запомни, что скажу. Твое счастье, что других таких на примете нет. Я тебя рекомендовал вестовым к важному лицу во флоте. Иотрафишь, — в люди выйдешь. Наверно, ты слышал про сиятельных графов Эверлинг. Так вот, молодой граф в нашем экипаже лейтенантом служит. Иди к нему, это дело тебе знакомо. Только предупреждаю, если подведешь меня, — жизни не рад будешь.

Исалтыреву не хотелось опять идти в вестовые, поэтому он никак не мог разделить восторгов фельдфебеля по поводу своего нового назначения. Все помыслы Исалтырева были направлены к самообразованию. Ему все еще мерещились классы той или другой специальности моряка. Рассказывая мне о своем новом назначении, он горько жаловался:

— Беда, брат! Только от одного барина отделался, теперь к другому... Из огня да в полымя. Видишь, как оно выходит, дело-то. Ты хочешь одно, а косоглазая судьба подсовывает тебе совсем другое. И почему это так устроена

жизнь, что ты обязательно должен занимать на земле совсем не то место, какое любо тебе? А всего досаднее, что с Валею придется расстаться...

На минуту он задумался и заговорил уже примпрешно:

— Ладно. Если Валя по-настоящему меня любит, то ничего не изменится. А я испытаю новую жизнь. Может, удастся чему-нибудь поучиться. Офицеров я узнал. Посмотрю теперь, как графья живут.

Прошло три недели. Перед вечерней справкой я сидел у себя в комнате и читал роман Достоевского. Вдруг рядом раздался сердитый окрик, заставивший меня вздрогнуть:

— Опять за книгой!

Я машинально вскопчил и тут только понял, что это, похрапывая фельдфебелю, решил Псалтырев попутать меня. Он стоял передо мною и улыбался, полнотелый, отъевшийся на графских харчах.

Поздоровавшись, я спросил:

— Как дела? Совсем вернулся в экипаж или отпущен на время?

— Дела корявые, как терка. И у этого барина просыпался я. Граф что-то написал тут обо мне, — ответил Псалтырев, размахивая пакетом. — Иду в канцелярию, к дежурному офицеру. Потом все расскажу.

Псалтырев, нагнувшись, на ухо добавил мне:

— Я все-таки сейчас успею повидаться с Валею. Обрадовалась она.

Псалтырев повернулся и быстро удалился.

Вскоре под конвоем он был отведен на гауптвахту. Две недели ему пришлось питаться только хлебом и водой. Несмотря на это, он вернулся попрежнему веселый, точно побывал на родине. И я с интересом слушал его рассказ.

— Прибыл я в Петербург, нашел улицу, а дом сразу показали — всем известная, стоит особняком. Этажей только три, но в длину и ширину много места занимает на улице. Кругом железные решетки — высокие. От них меня оторвать взяла — страшно стало. А парадный подъезд, это, по-нашему, крыльцо, — широкий, с каменными ступенями, и по бокам какие-то чугунные чучовища, не то птицы, не то звери изображены. Боязливо поднялся я по лестнице и остановился у тяжелых дверей, как у деревенских воротниц. Вместо скобок висит большое кольцо — медное. Смотрю, дверь сама потихоньку открывается. Я вхожу. Передо мною человек высокий и толстый, с вышними седыми бакенбардами, с голым подбородком и такой весь важный, как будто он тоже барин. Длинное пальто и картуз с ясным козырьком все в золотых позументах. Бренки на выпуск, ботинки сверкают, как черное зеркало, хоть глядись в них. Догадываюсь — швейцар. Вот это, думаю, должность! Только отковыпай да закрывай дверь, вот и вся работа, а ходят, видно, сюда господа на разбор, редко. Тут здоровья не надорвешь. Перед этой особой я натурально вытянулся, сделал под козырек, показываю пакет и умышленно величваю швейцара, как офицера:

— Буха, ваше благородие, прикажете сдать бумаги?

Лицо его расплылось от удовольствия, он добродушно заговорил:

— Не в этот подъезд, парень, ты попал. Тут только господа ходят. Свои входи во двор. Спроси у дворника, где контора. Там передашь.

— Меня, ваше благородие, назначили вестовым к вашему графу.

Старик расправил бакенбарды, заговорил медленно и важно:

— Хорошее дело. Его сиятельство — это тебе не простой офицер. Наш барин при дворе часто бывает, с высочайшими особами знается. Послужить его сиятельству — большая честь, и сам ты вроде как бы благородным человеком становишься. Всю жизнь потом гордиться будешь. Только смотри, парень, держи ухо остро, не всякий удостоится графской милости. Много уже вас таких у него побывало.

Слушаю швейцара, а сам думаю: «И чего ты мне плетешь, мусорная голушка». А сказал другое:

— Спасибо за совет, ваше благородие.

В конторе взяли у меня пакет, часа два я проспел — ждал распоряжения. Наконец, в нижнем этаже показали мне небольшую комнатку. Два стула, столик, шкаф и железная койка — вот и вся мебель. Здесь и началась моя новая жизнь.

Мой сосед по комнате оказался повар-соусник Прохор Савельевич. На графской кухне, кроме него, было еще два повара: кондитер и главный.

Но для меня самым интересным человеком оказался этот самый мой сосед-соусник. До сорока лет дождал он холостяком. Те два повара оплыли жиром, а этот, удивительно даже, на таких харчах — и такой был поджарый. Усы он брил, чтобы не пачкать их соусом во время пробы, а бородку только подстригал. Заостренным кончиком она загибалась у него к горлу и была похожа на запятую. Круглые глаза немного пучились. Голову держал прямо, и на ней ширилась лысина, плоская и блестящая, как поднос. По вечерам, отделившись от плиты, Прохор Савельевич любил хватить чайный стакан водки, наструганной на ржавых гвоздях. По его словам, такая настойка самая полезная — железо всасывается в кровь. Кто во что верит!

С соусником я сразу подружился. А произошло это вот как. Будучи на кухне, я невзначай обжег себе пальцы у раскаленной плиты. Другие меня обозвали «разпней», а Прохор Савельевич достал пузырек с прованским маслом, смочил им тряпочку, приложил ее к ожогу и дружески заговорил:

— Это пустяки. Пройдет. А вот представь себе — ты годовалый ребенок. Тебя прималивает все ясное и светлое. А рука твоя необыкновенно длинная и может вытянуться на любое расстояние. И вот ты увидел первый раз солнце и по-ребячески им заинтересовался. Твоя рука невольно потянулась высоко к небу, потрогать заманчивый светлый шар. Ты обязательно обожжешь пальцы, как о плиту, только еще сильнее. Но интересно знать — через сколько времени ты почувствуешь боль?

— Наверно, как от молнии, сразу, — ответил я.

Соусник хитро заулыбался.

— Ошибаетесь, моряк. Вижу, что астрономью не читал. Знай же, случись так, ты почувствовал бы боль не сегодня и не завтра, а только через сто шестьдесят семь лет.

На кухне все засмеялись над этими словами.

— Поглядеть — нормальный человек, а мелет чепуху. Это ты, Прохор, от своих книг заговариваться начинаешь, — укорял его главный повар.

А я даже обиделся.

— За дурака, что ли, вы меня считаете, Прохор Савельевич? Понять не могу.

— Клянусь здоровьем. Могу доказать. Сейчас лекогда. Сварю соуca, по-дам к столу, тогда заходи ко мне в каморку.

Вечером я пришел к своему соседу. Он показал мне книгу «Популярная астрономия», сочинение Фламариона. Своими глазами я прочитал на странице раскрытой книги то, о чем говорил Прохор Савельевич. Впервые здесь я узнал, что солнце от нашей земли отстоит на сто сорок восемь миллионов километров. Так и выходит: ощущения по первым передаются со скоростью двадцать восемь метров в секунду, а на таком расстоянии, как до солнца, боль от ожога я почувствовал бы через сто шестьдесят семь лет.

До поздней ночи я засиделся у моего нового знакомого. Его рассказы о разных чудесах удивляли меня. С этого раза я часто стал бывать у него.

Потом я прочитал у соуcника еще несколько книг по астрономии. Но до чего же интересна эта наука! Как у нас в деревне думают про звезды? Это лампады, которые на ночь зажигают ангелы. А оказывается — каждая малюсенькая с виду звездочка, может быть, больше солнца. Так через соуcника я впервые дознался о планетах, о кометах и о том, что земля вертится вокруг солнца. И особенно я запомнил слова Прохора Савельевича, что астрономия нужна для моряков. Без нее штурман — это все равно, что поп без святцев или треблика.

Но что за человек этот Прохор Савельевич? Умнейшая голова! Разговаривать, только слушай его. Даром, что соуcник. Науками интересуется, а говорить о них было тут не с кем: никто, кроме меня, его не слушает. Кстати, через него я узнал и о жизни своего нового барина. И тоже дивился не мало.

Раньше капитан 1-го ранга Лезвин казался мне богачом. А теперь я понял, что в сравнении с графом — он просто нищий. Кроме петербургского особняка, у графа есть еще шикарная яхта в Гатчине. Он имеет более двухсот тысяч десятин собственной земли. Его имения разбросаны в трех губерниях. Большие доходы ему дают и винокуренные заводы. Градоначальник, генералы, адмиралы и даже министры считают за честь водить с ним знакомство. Значит, распоряжается он в жизни всеми делами, как фельдфебель новобранцами.

Слушал я Прохора Савельевича, и у меня голова кругом шла. Какие же бывают богатые люди на свете! Без поместья, дачи и заводов один только графский особняк чего стоит! Шутка сказать, ведь в нем могут разместиться все жители целого нашего села. Семьдесят две комнаты и три зала: большой, средний и малый. На всякий случай жизни: для балов, танцев, концертов, обедов. Есть и молельная, и бильiardная, и комната, где только в карты играют. И каждое помещение отделано по-разному: то все малиновое, то голубое, то розовое, то под серебро, то под орех разделано. В некоторых комнатах стены заклеены обоями, в других — затянуты шелком. А сколько там разных ваз, статуй, мебели поставлено, картин повешено! Даже на потолках картины разрисованы или фигуры попалеplены. И к чему все это — ума не приложу. Все равно на такую высоту палиться шея заболит. Есть вазы выше человеческого роста и очень красиво раскрашены голубыми цветами. В каждую из них может войти мер пять овса. А тут они стоят пустые и безо всякой пользы. Широкая лестница застлана коврами, и на фигурных столбах горят фонари. И куда ни глянь — зеркала во всю стену. Когда идешь, то видишь себя и сзади, и спереди, и по бокам, как будто не один ты, а целый взвод шагает со всех сторон. Одним словом, столько диковин наворочено, что глаза можно

растерять. И все такое хрупкое, что дотронуться страшно — того и гляди разобьешь. В самом большом зале висит люстра, преогромная, лиловый хрусталь на ней. Цепы пет! Стоп, почитай что, дороже всего стада нашего села. В этом зале могут разместиться за столами сразу две роты, и всем места хватит. Столько у графа бывает знаменитых гостей. Не дом, а дворец!

Огромные такие хоромы, а вся семья графа состоит только из четырех человек. Сам граф Леопольд Генрихович в чине лейтенанта флота, мать уже старуха, жена Луиза, дочь у ней — Тамара, грудной ребенок. А сколько людей их обслуживают! Кроме трех поваров, еще больше двадцати человек наберется: пивейнары, лакеи, официанты, горничные, дворники, кучера, камердинер, домашний доктор, кормилица, судомойки. И над всеми есть управляющий домом. Сначала я даже путался среди них и некоторых, по ошибке, за господ считал. Многие одеты нарядно — разве сразу разберешься?

Три дня я жил, графа не видел и ничего не делал. Учили все меня, как я должен стоять, повертываться, с какой стороны когда заходить, если граф за стол сядет; как ему отвечать, как подавать. Столько репетиций прошел, точно в театр готовился. Давали мне поднос с горкой тарелок и учили, как расставлять их на столе. Мои обязанности в этом доме, как мне объяснили, были мадезьские: убирать кабинет и подавать завтрак графу. А кабинет устроен на морской лад, и в него ни одна горничная не имела права входить. Как я понял, граф воображал, что он находится на военном корабле, а потому и не должна быть около него женщина. Только вестовой может здесь обслуживать.

Наконец, меня допустили к самому графу. Я нарядился во флотский костюм первого срока, на руки натянул белые перчатки. Лакеи меня кругом вертели, осматривали — все ли в порядке. Против дверей, за которыми занимается граф, в стене углубление, по-господски называется ниша, а в ней — столик. По утрам здесь мой дежурный пост. На столике у меня приготовлен серебряный поднос с разными тарелочками и кофейником. На тарелочках тонко нарезанные ломтики белого хлеба, ветчина, семга, сливочное масло, зернистая икра, сыр бри, яйца в смятку, сардины, сосиски из рябчиков, печенье и ваза с фруктами. Это завтрак. Я поглядываю на часы. У меня такое состояние, будто меня сейчас будут судить и мне грозит каторга. Я стараюсь себя успокоить, упречаю себя в трусости, но все равно — волнуюсь. Ровно в восемь часов камердинер говорит: «Пора». И открывает передо мной дверь. Я вхожу в просторную комнату. Осторожно разгружаю все с подноса на стол. Куда что поставить, как ножи и вилки положить и все прочее — это мне после репетиций уже известно.

Мельком я оглядываю комнату. Хоть немного, но мне пришлось поплавать на корабле. Видел я там обстановку. И здесь, у графа, я замечаю, все украшено по-морскому. На стенах картины морских боев. Один угол похож на штурманскую рубку. На письменном столе модель военного корабля с пушками, черпильница с якорем и якорным канатом, барометр. Перед столом на тумбе — штурвал и магнитный компас. И тут же на стене — разные морские приборы.

Эх, думаю, вот где живет, паверное, настоящий моряк.

В восемь часов десять минут входит в комнату сам граф.

— Здорово, братец, — слышу я его тихий голос.

Я быстро повертываюсь к нему, вытягиваюсь и браво отвечаю:

- Здравия желаю, ваше сиятельство!
- Давно на военной службе?
- Второй год, ваше сиятельство.
- Вольно. Продолжай свое дело.

Граф высокого роста, статный. Ему лет двадцать пять, а удлиненное лицо у него пещное, как у подростка. Нос прямой, усики завиты так, точно оп прилеплены к верхней губе два обручальных кольца. Голова правильной формы, светлые волосы аккуратно зачесаны на прямой пробор. Словом, весь он как будто точеный. Красавец! Вот, что значит высшая порода. Только одно меня удивило в нем — имеет несметные богатства, из нищи ни в чем себе не отказывает, а все-таки такой бледный, как будто его долго трепала лихоманка.

Граф садится за стол и начинает завтракать. Я наливаю ему стакан душистого кофе, добавляю томленных сливок и становлюсь в стороне, как меня учили. Как только опорожнится стакан, я снова наполняю его, пока не услышу: «довольно». Полагается, чтобы кофе было и не холодное, и не горячее. Избави бог, если граф обожжется. Я наблюдаю за ним — ест он меньше, чем пятилетний крестьянский мальчик. В то же время меня разжедает любопытство, — какие мысли копошатся в графской голове? Мне он кажется невероятно умным, обходительным и добрым человеком.

Завтрак кончен. Граф переходит к другому столу. Он начинает просматривать какие-то бумаги, а я убираю посуду на поднос и ухожу.

И так вот каждый день. Моя главная обязанность подать завтрак графу и, когда он уйдет, убрать его комнату. Обедает и ужинает он с семьей. А я представлен к нему только для того, чтобы хоть по утрам он чувствовал себя, как на корабле. Из-за этого держат лишнего человека в доме — меня.

Как-то я спросил соусника:

— Почему это почти все господа такие красивые?

Прохор Савельевич смеется.

— До всего ты хочешь допытаться, моряк. Это хорошо.

И начинает объяснять:

— Если ты хочешь знать, вот в чем тут причина — женщины улучшают породу господ. Клянусь здоровьем. Возьмем для примера какого-нибудь знатного и богатого человека. Лицо у него скуластое и приплюснутое, нос седлом и задрался вверх, точно астрономией интересуется, губы толстые, точно у лошади. Ведь от того, что этот человек будет кушать шикарные блюда с мочими соусами, он только разжиреет. Но лицо у него не вытянется, скулы у него не убавятся, нос не станет с горбинкой и губы не станут тоньше. Противно смотреть! И все же за такого урода охотно выйдет замуж любая красавица из бедных. Клянусь здоровьем. Женщину прельщают деньги, слава и роскошная жизнь. От такой супружеской пары дети будут уже не такими уродами, как их отец. Прими еще в расчет: жена такого отвратного мужа принесет себе красавица на стороне. Тогда уже расчет улучшения потомства дело обеспечено. Дети подрастут и в свою очередь женятся на красавицах. Таким вот манером и получается особая господская порода. Понятно?

— Как не понять? Это и мужик знает в деревне. Иной крестьянин последнюю пятерку отдаст, лишь бы его кобылепку припустили к породистому жеребцу.

— Верно, я очень рад, что ты быстро соображаешь. А теперь возьмем обратное явление. Почему у некоторых господ начинает ухудшаться их порода? Я говорю насчет красоты. Это бывает у прогоревших аристократов. Через женитбу ему нужно поправить свои дела. Он уже не разбирает, какая у него будет жена. Пусть она дурна собой, лишь бы за ней были большие деньги или через нее можно продвигаться по службе. Вот как это происходит — и тут опять влияют женщины.

По праздникам все слуги графа в обязательном порядке собираются в модельне. Можно сказать, весь домовый экипаж на лицо, и я в том числе. Граф с семьей тоже присутствует. Набожный, видать, человек — сам усердно молится богу и следит, чтобы и другие так делали. Вообще он человек степенный, с женой живет ладно, не так, как мои бывшие господа Лезвины.

Модельня эта совсем не похожа на другие графские помещения. И первоквю ее тоже нельзя назвать. Потолки невысокие и безо всяких украшений. Старинные иконы прямо в степы вделаны. Перед ними подсвечники стоят. В маленькие окошки проникает мало света.

Я молиться ленив, но тут душа как-то по-иному настраивается. Священник молодой, краснощекий, в меру сытый. Подаст он возглас, а хор так подхватит, как будто тебя на крыльях унесит в небо. В хору участвуют человек двадцать — мужчины и женщины. Голоса — на подбор. Особенно на меня влияло подвешенное к паникадилу, светящееся сердце из красного стекла. Горит оно тусклым светом, но оно кажется живым и обливается кровью. В старину, говорят, царские особы заходили сюда молиться вместе со старым графом — отцом нашего барина.

Чего только ни придумает старший повар для графского стола! А я наблюдаю за ним и записываю все себе на память. Возьмет он ломтики швейцарского сыра, обмотит их в солтанном яйце, положит на гречочки, потом кроет ломтиками костного мозга, и все это запекается в духовом шкафу. Любимое кушанье графа. Называется оно крутой мозль. А поглядеть на жаркое из фазана и рябчиков. Картина! Фазан красуется на крусталах, а вокруг него разложены половинки рябчиков на крутопах. К этому блюду полагается зеленый салат и бруслика. Иногда графу захочется супа из бычьих хвостов, а на второе — филей из серны. Уж на что, кажется, стерлядь вкусная рыба, но ему готовят ее разварной на шампанском. Прохор Савельевич старается насчет разных соусов. Из них к каждому блюду должен быть свой особый сорт. Даже трудно запомнить все названия: голландский, марешаль, сборный, горячий, татарский, желтый, польский, грибной, королевский, соус из раков, с миндальным молоком, из шарлоток, из лимонного сока и мадеры, из вишни, из трюфелей. Смотрю я на Прохора Савельевича: то он подкладывает в кастрюльку жженого сахара, то подливает какого-нибудь вина — мадеру или херес. Оказывается, это большая специальность — быть соусником. Он говорит мне:

— Я могу приготовить такой соус, что ты с ним съешь котлеты из древесных опилок и только облизнешься от удовольствия. Кляпуюсь здоровьем.

И вот иногда по вечерам сидим с соусником вдвоем и рассуждаем о графской жизни. Прохор Савельевич все знает. Он тебе рассказывает, где и что то бывается и какая этому цена. Сколько людей обслуживает графа дома, а еще больше работают на него на стороне. Не только в России, но и во всем мире трудятся для него. Ведь есть же у нас хорошие вина. Нет, дай ему загра-

личные напитки: из Италии — марсалу, из Франции — коньяк и шампанское, из Германии — рейнские вина, из Испании — малагу и Педро Хименес, из Англии — эль, портер, с острова Мадера — вино мадера, из Капптадта — констанское вино. А если говорить о пище, то придется перечислить еще больше стран. Ему поставляют: Италия — омары, остров Сардиния — сардинки, Португалия — яблоки аппорт, Франция — разные сыры, Бельгия — остендские устрицы, Яффа — апельсины, Алжир и Тунис — лагусты, остров Нейлоп — ананасы, Турция — виноград и кофе мокко, Азорские острова — базапы и помидоры. Всего не перечислить.

Прохор Савельевич подсчитывает, во что обходится графу и его семье только один день жизни. А я слушаю и думаю: «Боже ты мой, господи! За что, за какие благодетелья ты так милостив и щедр к графу? И почему ты к другим людям так жесток и беспощаден? Ведь поностись граф лишь один день, а деньги, что сэкономит на этом, передай нашему селу — какое было бы счастье! У нас не осталось бы ни одного безлошадного и бескоровного двора. А святые отцы по целым неделям постились, и то не умирали». Соусник продолжает подсчитывать и другие расходы: выезды, театры, музыка, гости. А расходы на содержание в столице такого большого дома, а в Гатчине — богатой дачи? Цифры растут. Прохор Савельевич спрашивает меня, сколько в нашем селе бедняков? Я сообщаю ему. Он начинает распределять графский дневной расход по беднякам. Получается — один бы день экономии, и нет у нас в селе ни одного захудалого жителя. Все они со скотиной, и все одеты во все фабричное. А тут эти расходы и весь труд многих людей идут только на то, чтобы граф и его маленькая семья чувствовали себя хорошо.

Когда соусник говорит о графской жизни, его плоская лысина покрывается, словно росой, мелкими каплями пота. Видать, что в душе у него закипает ненависть к богатым. И меня своими подсчетами он так раздражает, будто обжигает крапивой. Граф становится для меня уже не таким добродушным человеком, каким показался первый раз.

Я спрашиваю:

— А для чего вы, Прохор Савельевич, все это рассказываете мне?

— К слову пришлось. А между прочим, цифры так же прочищают мозг от тупости, как прочищает гребешок волосы от насекомых. Клянусь здоровьем — это верно.

Я продолжаю любопытствовать:

— У графа кабинет обставлен, как штурманская рубка. Должно быть, он любит корабли, море. Вероятно, это самый умный моряк во всем нашем флоте.

Он метнул на меня жесткий взгляд и говорит:

— Некоторые простачки блажь принимают за ум. Цепкость фруктового дерева определяют по его плодам, а человека — по его делам.

К Прохору Савельевичу иногда заходит горничная Ксения. Ей будет лет тридцать пять. Женщина расторопная и разговорчивая. Все у нее в норму, только носик подгулял — такой большой, что половине лица занимает. Мечтает она соусника в мужья себе и вместе с ним собственный ресторанчик открыть. У нее уже шестьсот рублей денег накоплено. Но у того что-то другое на уме. Она приставлена к старой графини и должна ее одевать и раздевать, мыть. От этой горничной я тоже много знаю о своих господах. Старая графиня сов-

сем дряхлая, сама ходить не может — ее везут под руки. Сидит она по целым дням в креслах и четки перебирает. Есть ей ничего нельзя, кроме манной каши и киселя из свежих фруктов. И все она старину вспоминает — какая тогда веселая жизнь была, а теперь — никуда не годится. Вероятно, невдомек ей, что в молодости все кажется хорошо. Повидал я и молодую графиню. Где только, думаю, таких жен выбирают? Высокая, статная, лицом — кровь с молоком. Значит, правильно соусник сказал — через женщин улучшается господская порода. И взять эту графиню — я таких видел только на картине. А родную дочку свою Тамару грудью не кормит. Кормилицу для девочки напаял. Как-то встретился я с девочкой: сидит она в коляске, показывает на меня пальчиком и улыбается. Ей пока все равно, кто и какого происхождения. Ну, до чего же красивая она! Ангелочек! Меня больше всего удивило — мать не кормит свое родное дитя. Как это так можно? Будь она чахоточной — другое дело. А то ведь пышет здоровьем. Перазумные животные, и те кормят молоком своих щенят, жеребят, поросят, а эта не хочет. А почему? Боятся испортить себя и потерять красоту.

Присмотрелся я к графу — запоечный человек. Со мной почти не разговаривает. Я хожу на цыпочках и все делаю молча, словно у меня нет ни языка, ни голоса. Вероятно, он на всех людей смотрит так же, как смотрит хозяин на своих лошадей, — все должны для него работать, чтобы ему хорошо жилось на земле. Это не то, что мой прежний барин. Тот простяга, хотя чинами и старше его. А у этого гляди в оба. Однажды я убрал его стол и поставил письменный прибор не на то место, на каком он раньше находился. На каких-нибудь полвершка сдвинул его с прежнего места. Но граф даже такой пустяк заметил. Показывает пальцем на письменный прибор и строго говорит:

— Чтобы этого больше не повторялось.

— Есть, ваше сиятельство.

Все же я стал привыкать к своим обязанностям. Да и не все ли равно, где служить? Только очень заедала тоска о Вале. Но зато соусник наставляет меня на ум и разум. Ну, думаю, через полгода и я буду порядочно соображать.

Но не так выходит, как тебе хочется. Муха, когда садится на клейкую бумагу, не знает, что она может влипнуть. Так случилось и со мной. В двенадцать часов граф обычно куда-то уходит из своего кабинета и до следующего утра редко когда возвращается к письменному столу. Без него я и стараюсь везде навести чистоту. И все меня притягивают книжные шкафы. Что за сокровища, скрываются за стеклами? Читаю на корешках книг разные названия: «Логика», «Навигация», «Теория кораблестроения», «Морская практика». Никогда я этих книг не трогал. Но вот попалась мне на глаза «Морская астрономия». Вот о пей-то, вероятно, и говорил мне соусник. И такое любопытство меня охватило, что дрожь по телу пошла. Достал я эту книгу, уселся на кресло за графский стол и с волнением раскрываю ее. И что же? Ничего не могу понять: слова замысловатые и все чертежи какие-то и рисунки, а на них цифры и перусские буквы. Как же, думаю, так получится? У соусника я брал книжки по астрономии — там все ясно, а тут я, как баран перед чудотворной иконой. Перелистываю книгу дальше — то же самое. И не заметил я, как вошел в кабинет граф Эверлинг. А когда увидел его, было уже поздно. Я встал и замер на месте. Он подходит ближе и смотрит на

меня такими злыми глазами, точно я у него жену отбил, и спрашивает:

— Просвещаться вздумал? Уселся за моим столом и моими книгами интересуешься?

У меня даже во рту стало сухо.

— Выноват, ваше сиятельство.

— Положи книгу на место.

А когда я это исполнил, он приказал мне повернуться кругом и потом в спину тихо скомандовал:

— Чтобы твоего духа не было здесь, вола паршивая. Шагом марш!

Вскоре управляющий вручил мне запечатанный пакет, который я должен доставить в свой экипаж по начальству. Я рассказал соседу, что произошло у меня с графом. Он покачал головой и сказал:

— Да, участь твоя незавидная.

Вечеру он пригласил меня к себе в каморку. На столке у него уже были приготовлены разные закуски. Сам он выпил стакан настойки на ржавых гвоздях и мне поднес. Сидим, угощаемся и разговариваем.

Я жалуюсь ему:

— Ведь не украд я у графа эту самую «Морскую астрономию»? Неужели, если я матрос, мне и заглянуть нельзя в книгу? Я только хотел узнать, как это моряки пользуются астрономией. А ведь от этого ничего не делается книге. Теперь, вероятно, накажут меня. За что, спрашивается? Где же правда?

Прохор Савельевич внимательно посмотрел на меня и говорит:

— Ты захотел правды? Она есть на земле. Но только кривда пока сильнее ее.

VIII

Спустя еще два месяца фельдфебель объявил Псалтыреву, чтобы он немедленно отправился к прежнему своему барину, капитану 1-го ранга Лезвицу. Захар был смел и решителен, но в данном случае он оробел. Приближаясь к знакомой квартире, он не сомневался, что ему предстоит пережить жестокую расправу. Может быть, его отдадут под суд. И у кого он, матрос, будет искать себе защиту? Возникла мысль о дезертирстве. Но куда он пойдет, где достанет документы? Рука его дрогнула, когда он нажал на кнопку звонка. Дверь с черного хода открыла ему кухарка Настасья Алексеевна. Она обрадовалась его приходу, морщинистое лицо ее приветливо заулыбалось. На кухне, сообщая ему новость, она зашептала:

— Заним барин горькую. До женитьбы это тоже с ним случалось, но не так часто. При барине он сдерживался. А теперь опять сорвался. Сколько я бутылок ему перетаскала! И такой задумчивый стал, что даже боязно у него жить. Того и гляди руки паложит на себя. За такую, можно сказать, ветрепую бабу и так страдает. Слава богу, что ты пришел. Это я надумила ему: лучше, мол, Захара не сыскать вам вестового.

Псалтырев робко вошел в спальню. Лезвий в одном нижнем белье лежал на кровати, прикрыв одеялом ноги. У его изголовья стоял маленький круглый столик с педонитым стаканом черного кофе. Сразу же бросалась в глаза перемена в барине: лицо его осунулось, постарело, под глазами обозначились темные круги, ржавая борода была нечесана. Его можно было принять за больного. Он тихо поздоровался с Псалтыревым, а потом спросил:

— Хочешь, Захар, опять служить у меня вестовым?

Псалтырев, обрадовавшись, резво ответил:

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— Отлично. Только скажи мне откровенно, Захар, почему ты тогда обманул меня? Почему ты не сообщил о том, что было в моей квартире?

— По правде сказать, ваше высокоблагородие, я хотел обо всем доложить вам, да не решался. Жалко было вас. Вы и без того мучились. Какая была у вас жизнь? Сюзом и Гоморра.

Лезвни тяжело вздохнул, а приободренный Псалтырев продолжал:

— Из-за женщин всякая беда может быть. Вот у нас был случай в барском имении, по соседству с нашим селом. Жена управляющего спуталась с одним студентом. Управляющий накрыл их. И ничего он не придумал иного, как взял и отравился. Я был на его похоронах. Смотрю на вишопшину-жепу: стоит она в церкви у гроба и слезы рождает. А как понесли гроб, она разрыдалась на всю церковь. «Эх, думаю, как жалко ей покойника». А в дверях она отходит в сторону, вытаскивает из сумочки зеркальце и давай себе волосы пригладживать и лицо пудрить. При настоящем горе — разве жена станет думать о прическе и пудре? Перед смертью управляющий, поди, думал — после него она будет с отчаяния головою о стенку биться, а получилась вон какая чепуха. Вот почему я и не хотел вас расстраивать, ваше высокоблагородие.

Капитан потер лоб и протянул:

— Так. Пример поучительный.

Псалтырев осмелел:

— С хорошей женой, ваше высокоблагородие, всякое горе пипочем. Но как найдешь такую? Это все равно, что в орлянку сыграть: повезет — и дурак выиграет, а не повезет — и умный все до копейки прогадит. Даже не всякий ученый может выбрать себе хорошую жену. Был в Петербурге один знаменитый профессор — доктор. Он все лечил нервных женщин и еще таких... Как они называются? Вроде... исторички...

— Ты хочешь сказать — петерички? — поправил Лезвни.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Самые вредные женщины. Слава об этом ученом докторе гремела на всю столицу. Женщины к нему валом валяли. Мужья не жалели никаких денег — только бы вылечил. Но чтобы попасть к нему, нужно было записываться вперед за два месяца. Он брал за прием двенадцать пять целковых, а с большой возился всего лишь каких-нибудь пять — десять минут. Только господские жены могли у него лечиться. Бедным он был не по карману. Да среди крестьянок и болезни-то такой совсем нет. В своем селе я что-то не слышал о пей. И вот этот знаменитый и ученый доктор будто бы здорово помогал чужим женам. А свою жену никак не мог вылечить. Каждый день она точила мужа, как мошь сукно, устраивала ему скандалы и не считала его ни во что. При таком богатстве жизнь для него стала польщью горькая. Вот вам и ученый доктор! Можно сказать, специалист по женской части! А все равно промазал: подходящую жену не мог себе выбрать.

— А ты откуда об этом знаешь?

— Наша кухарка рассказывала мне. Она когда-то жила у него в горничных. Я теперь всю господскую жизнь знаю насквозь. Мне частенько прихо-

дится встречаться и с другими кухарками и горничными. Ну, и узнаю от них про все.

— И как же, по-твоему, господа живут?

— Иные подходяще, а иные — очень плохо. Все зависит от того, какая жена попадет. Хорошая — всеселье, а худая — зелье. Если по-крестьянски рассудить, то и ваша жизнь, ваше высокоблагородие, никак не могла наладиться. Вы человек серьезный, а у барыни сквозняк дует в голову. Сам бог, когда создал ее, вероятно, три дня плакал. С такой женой жить — это все равно, что голым телом на шиповнике спать. Какой интерес? Простите, ваше высокоблагородие, может, что я лишнее сказал.

— Нет, ты правильно рассуждаешь. Ты, оказывается, умнее, чем я раньше думал о тебе. Ну, вот что, Захар, — забудь, что мы с тобой поскопдалили, и скорее переселяйся в мою квартиру. А кухарку я сегодня же рассчитаю. Без баб обойдемся. Завтраки ты сумеешь мне приготовить, а обеды и ужины будешь приносить из Морского собрания.

Псалтырев сокрушался о Настасии Алексеевне, но через неделю она уже устроилась кухаркой у других господ. Он успокоился. Снова у него наступила сытая жизнь. Барин относился к нему хорошо. Теперь у Псалтырева оставалось много свободного времени, которое он тратил исключительно на самообразование.

Вскоре капитан 1-го ранга Лезвин был назначен командиром эскадренного броненосца «Святослав» и переведен в другой экипаж. Вместе с ним перевелся в тот же экипаж и Псалтырев. Наши встречи стали реже. А весной его броненосец в составе эскадры уходил в заграничное плавание.

В последний раз, прощаясь со мною, Псалтырев сообщил мне:

— Только тебе одному скажу новость. Второй месяц пошел, как я женился на Вале. И еще больше мы полюбили друг друга.

— Как же ты любился у начальства разрешения на женитьбу?

— А мы сами себе разрешили. Копчу службу — в церкви обвенчаемся. Я без обмана с Валей. Жалко покидать ее, но зато я все моря увижу.

Я пожелал Псалтыреву попутного ветра и разлучился с ним на целых три года.

IX

В конце улицы, что упирается в Купеческую гавань, бравый матрос пересек мне дорогу. Мне показалась знакомой его уверенная походка и фигура. Он первый окликнул меня. Передо мною, протягивая мне руку и широко улыбаясь, стоял Захар Псалтырев. Что-то новое было в его обветренном лице с лихо закрученными черными усами. Мы обрадовались друг другу и, завернув в Петровский парк, уселись на скамейку.

Была холодная осень. Пад головою шумели деревья, рокая последние остатки пожелтевшей листвы. По Финскому заливу разгуливал резкий ветер и, забавляясь, гоная крутые волны. Малый и Большой рейд были пусты. Военные корабли, кончив летнюю кампанию, стянулись на зимовку в гавань, и она продолжала еще шуметь лязгом лебедек и гудками паровых катеров.

Разговаривая с Псалтыревым, я всматривался в его лицо, обожженное южным солнцем и овеянное ветрами разных широт. Это уже был не тот деревенский паренек, какого я знал с повобраства. Заграничное плавание, пре-

бывание в пострапных портах, знакомство с жизнью людей разных стран до неузнаваемости расширили его умственный горизонт. Со мною рядом сидел развитой моряк, разбирающийся в военно-морском деле так хорошо, как будто он кончил Морской кадетский корпус. А между тем, он продолжал оставаться вестовым.

Исалтырев весело воскликнул:

— Эх, сколько я должен рассказать тебе! И про наше плавание, и про начало, и про свою любовь. Я ведь сейчас возвращаюсь от Валн. Почевал у нее. Но о ней — после. Теперь определилась моя дороженька. В деревню, видно, мне не придется вернуться. Буду моряком на всю жизнь. Либо останусь на сверхсрочную службу, либо поступлю на коммерческие корабли. Я так полюбил море, что без него жить не могу. И корабль для меня стал родным домом.

Он показал рукой в левую сторону гавани:

— Вот наш двухтрубный красавец стоит — «Святослав». Завтра спускаем вымпел и флаг. Зиму на берегу проживем, а весной опять отправимся в плавание. Броненосец наш — самый образцовый. Насчет порядка и боевой подготовки ни один корабль во всем флоте не может с ним тягаться. Ну, что за судно! Так бы и плавал на нем без конца.

Я спросил, глядя на восторженного вестового:

— Значит, командир старается и во все выпякает сам?

— Ничего подобного. Я за него это делаю. Да ты что таранишь на меня глаза? Думаешь — я умом рехнулся? Нет, друг, моя голова работает исправно.

— Ничего не понимаю, — удивился я.

— А вот расскажу тебе все, и ты поймешь.

Исалтырев покрутил большие черные усы и начал рассказывать, а я слушал этого своеобразного человека, как всегда, очень внимательно.

— Никогда, друг, не узнаешь, как повернется твоя судьба. Когда барин мой, капитан 1-го ранга Лезвин, вызвал меня второй раз к себе, я думал — пропала моя головешка. А вышло все наоборот. Человек он умный и добрый. Только пьет много. Должно быть, очень обидно ему, что жена у него такой оказалась. От этого немного ненормальный стал. А все-таки такого командира не сыскать нигде. Для команды он — благодетель, для офицеров — яд. А я с ним живу, что называется, душа в душу. Одно лишь плохо — заставляет и меня водку пить. На корабле все считают его за трезвенника, и никто, кроме меня, не знает, что на самом деле происходит у нас. С берега я доставляю ему крепкие напитки: ром, коньяк, виски. Этого добра у нас всегда в запасе целые ящики. А из буфета кают-компании ничего не берем. Утром командир выходит к подъему флага, принимает рапорты от старших специалистов и после этого целый день спит. Потом еще раз вечером появится на палубе к спуску флага. В редких случаях можно увидеть его на мостике. Но зато почью он, словно сыч, не спит совсем. Тут подавай ему на стол выпивки и закуски. И только я да стены его каюты знают, как он чайными стаканами хлещет водку. И меня угощает выпивкой и закуской. Но где же мне за ним тягаться? Я квасу не могу столько выпить, сколько он водки. Я отказываюсь от выпивки, а барин смеется надо мною:

— Эх, ты! А еще крестьянин! Спроси ты персидская!

И такой вот затул у него происходил каждую ночь. Поэтому сначала распущенность на судне была невероятная. А мне до слез было обидно за свой корабль. Потом мы взялись за дело по-настоящему.

Но сначала расскажу о себе. Я теперь привык спать не больше трех — четырех часов в сутки. Пехватает у меня времени: то корабль изучаешь то на книги набрасываешься. Грамматику, наконец, я осилил и почти совсем не делаю ошибок. Арифметика мне легче далась. Как-то командир увидел у меня задачник Малинина и Бурепина и спросил:

— А ты понимаешь что-нибудь в этой книге?

— Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, любую задачу могу решать.

— А ну, попробуй!

Он ткнул пальцем в раскрытую книгу.

Я быстро решил задачу.

Он прицелился в меня взглядом.

— Кто тебя учил?

— Никто. Сам занимаюсь.

Командир удивился.

— Теперь тебе надо за алгебру приниматься.

— А вы бы помогли мне, ваше высокоблагородие?

— Учебник для тебя достану, а помогать не буду. Раз ты взялся за учебу самостоятельно, то и дальше продолжай так. Честь и хвала тебе будет, если ты без всякого учебного заведения станешь образованным человеком.

И еще стал я увлекаться чтением разных книг. Что может быть лучше чтения? Никто из образованных людей так не будет со мною разговаривать — для офицеров я только вестовой. Лишь один мой барин по доброте своей душевной сделает для меня исключение. А тут берешь книгу великого человека и с волнением раскрываешь ее. Этот великий человек не брезгает тем, что я матрос. Словно я ему друг и товарищ, он рассказывает мне наедине о жизни других людей. Да ведь какими словами говорит и какие картины рисует! Иногда дух захватывает. Из книг я с жадностью черпаю знания и накапываю их в своей голове, как великие драгоценности.

Но меня интересует не только художественная литература. На барахолке я купил Уголовный кодекс и прочитал его от корки до корки. И теперь я знаю, за что людям наказание бывает и по каким статьям их судят. Попался я с этой книгой на глаза командиру. Он смеется:

— Неужели тебе интересно это читать?

— Да как же, ваше высокоблагородие, не интересно? Сами посудите: вот вам небольшая книга, а в ней предусмотрена вся человеческая жизнь. Закон — это линия для людей, как для лошади борозда, когда пахешь. Чуть сверни с нее — получишь и в хвост, и в гриву. Я все думаю: если кто-нибудь совершит такое преступление, для какого нет статьи в законе, то что тогда будет? Раз нет статьи, то ведь и судить человека нельзя?

Барин на это ответил:

— Оригинал ты у меня.

А потом посоветовал мне:

— Ты бы лучше позанимался учебником для строевых унтер-офицеров.

Впоследствии я произведу тебя в унтеры.

— Покорнейше благодарю вас, ваше высокоблагородие.

Выучил я этот учебник почти наизусть, по толку от этого было мало. Требовалось строевую часть пройти еще на практике. И тут мне очень помог наш старший боцман Кудинов. О нем надо рассказать подробнее.

Много у нас было на корабле пьяниц из офицеров и матросов, но он по части выпивки перешивал их всех. И все-таки голова у него всегда соображала. За двадцать пять лет службы во флоте он так освоил судовые порядки, что мог поучить любого офицера. И когда только этот человек спал? Даже в часы отдыха он обходил корабль и заглядывал в такие места, какие не входили в его ведение, — в башни, в бомбовые погреба, в угольные ямы, в котельники, в машинные отделения. Зато он знал на судне каждую заклепку не только сверху, но и за двойными бортами. Если бы его держать в руках, то такой боцман для судна был бы кладом. Кроме того, Кудинов отличался большой храбростью: он не боялся ничего на свете — ни моря, ни огня, ни людей, ни бога, ни чорта. Начальство прощало ему пьянство и все его причуды.

У боцмана была своя правда, и он по-своему защищал ее. Зря он никого не обижал, но провинившийся матрос лучше не попадайся ему — избьет. Ударял и приговаривал, за что он наказывает матроса, и напоследок прибавлял:

— А это тебе за господ-бога!

И все же команда любила его. Он никогда не подводил матросов перед начальством. Не жаловался он, когда и ему попадало от них на суше. Словом, выходило так: на корабле он бьет их, а на берегу иногда они его бьют. Широкий и сильный, он замечательно действовал в драке своими длинными, как у гориллы, руками. За двадцать пять лет службы ему выбили все зубы. Перебитая перепосина у него провалилась, копчик носа задрался. Стал похож боцман на старого мопса. На лице у него не осталось живого места — все оно было в шрамах. В кабаках об его голову столько разбил бутылок, что на ней сплошь образовались бугры и ямы. Постричь машинкой или побрить такую голову для парикмахеров была трудная задача. За это они брали с него в два раза дороже, чем с остальных людей.

Боцман очень любил, когда матросы обращались к нему за каким-нибудь советом и называли его по имени и отчеству:

— Лаврентий Касьянович...

Тогда он ласково улыбался беззубым ртом и становился душевным человеком. Как только я узнал об этом, то частенько начал бегать к нему с разными вопросами. Он часами поучал меня, как нужно мату влести, как морские узлы завязывать, как концы сплести, для чего блоки служат и как нужно ими пользоваться. Через него я узнал, так сказать, душу корабля и всю строевую службу. Боцман так полюбил меня за это, как будто я был его родственником. Когда мы оставались с ним один на один, он ругал офицеров:

— Беспечный народ. Для многих из них корабль вроде забавы, как карусель для детей. За что, спрашивается, получают большое жалованье? Если бы у меня была власть, я бы показал им, как нужно служить родине. Небо вспотело бы от жары.

А сам боцман был таким моряком, как будто он и родился в якорном клюзе. Преданность судну у него была необычайная. За всю свою многолетнюю службу он ни разу не остался нетчиком. Бывало, пахнет и выделяет на улице такие зигзаги, какие бывают на адмиральских погонах, а с курса не сбивается — к пристани шагает. Случалось, что на четвереньках приползал к ней. Только однажды опоздал на последнюю ночную шлюпку, да и то не по своей вине. По боцман не растерялся — бросился в воду и давай выгребать к своему судну. А оно на рейде стояло. Вероятно, часа два боцману пришлось плыть. И вот что всех удивило: ночь была темная, на рейде стояли и другие корабли, и все-таки он даже в пьяном состоянии разыскал свое судно. Приблизился он к борту и кричит с воды вахтенному начальнику:

— Имею честь явиться, ваше благородие.

В это время вахтенный начальник по мостику прохаживался и, может быть, о чем-нибудь мечтал. Ночь была тихая. Шлюпка не могла подойти без того, чтобы не услышали всплески весел. И вдруг — из-за борта раздался человеческий голос. Вахтенный начальник дернулся, перегнулся через поручни и, должно быть, с испугу заорал:

— Что за чертовщина! Кто там такой? Человек или привидение?

— Да это же я, ваше благородие, боцман Кудипов.

— Что случилось? Почему опоздал?

— Я тут не при чем. Последняя шлюпка на десять минут раньше указанного времени отвалила от пристани.

За борт выбросили шторм-трап, по которому боцман поднялся на палубу.

На второй день расследовали это дело — боцман оказался прав. В кают-компании офицеры только посмеялись над ним, но никакому наказанию его не подвергли.

Грубый был Кудипов, этот старый холостяк, а имел большую отзывчивость ко всем несчастным. Попробуй при нем обидеть женщину, хотя бы она была уличной, — расшибет. Когда его на берег отпускают, он набивает карманы конфетами и наделяет ими бедных детей. В молодости он много плавал в затрапичных водах, и, должно быть, остался у него от какой-нибудь особы ребенок. Однажды во время покраски борта матрос свалился в воду. Этот матрос был штрафной, дисциплину выполнял плохо, работы избегал. Доставалось ему от боцмана почти каждый день. Но как только Кудипов увидел, что случилось такое несчастье, сразу же в одежде и в сапогах бросился за борт, чтобы спасти этого бесполезного на судне человека. А на штрафного это так повлияло, что потом он стал неправым матросом. Вообще боцман, когда нужно проявить героизм, отличался беспашанной храбростью.

Был с ним еще такой случай. Эскадра наша стояла в Неаполе. Я был отпущен в город. К вечеру пришла черная туча. Я с одним машинистом затонулся к пристани. Улица спустилась под уклон. Увидели — Кудипов шагает из стороны в сторону и крепится то на правый борт, то на левый. Ударил ливень. Боцман потерял устойчивость и бацнулся между мостовой и тротуаром. Головою припелся в гору. Без помощи других никак не может подняться. Через него уже не ручьи, а река хлещет. Вышли мы, что захлебывается он грязной водой. Получается какая-то чепуха: все моря и океаны человек обошел, а на берегу может утонуть. Бросились мы к нему и начинаем его

поднимать. А он отфыркивается, загребаёт руками, словно плывёт по морю, и кричит нам:

— Женщин и детей спасайте, а я ещё могу держаться.

Пока мы его довели до пристани, он малость очухался.

Словом, это настоящий боцман. Море для него — это мать родная, корабль — это брат родной. Жаль, что начальство им пользуется не так, как нужно. С таким боцманом можно поставить корабль на зависть всем врагам.

И вот теперь я знаю строевое дело по учебнику, а через Кудшова и на практике. Что командир ни спросит меня — на все я даю ему правильные ответы. Но в унтер-офицеры он все ещё не производит меня. Говорит, что ему не хочется расстаться со мною. Ну, что же — я могу подождать, а живётся мне с ним очень хорошо.

Х

Псалтырев замолчал, увидев приближающегося к нам лейтенанта. Мы оба вскочили и отдали ему честь. Но он, занятый своими думами, прошёл мимо, не обратив на нас никакого внимания. Глаза на его окаменевшем лице были неподвижны, как у рыбы, и напряженно устремлены вперед.

— Наш вахтенный начальник Морозов, — сказал Псалтырев, когда мы снова уселись на скамейке, — мрачный человек. Никогда я не видел, чтобы он улыбался. Вот и узнай, чем он ушиблен и о чем думает. Но матросов он не обижает. Очень образованный человек.

По моей просьбе Псалтырев вернулся к рассказу о своем плавании.

— Хотя я прислуживаю только командиру корабля, но присматриваюсь и к людям кают-компании. Всякие офицеры есть: пьяницы и трезвые, хорошие и плохие, умные и глупые, веселые и мрачные. Я настолько изучил их, что могу сразу определить, кто женат и беден и кто богат. Женатые и бедные — это офицеры из прогоревших дворян. Жалованья им не хватает, на всем им приходится экономить. Белье они носят «монополь». Манжета, воротничок и манжеты стоят всего лишь пятнадцать копеек. Богатые такую дешовку не будут покупать. Эти и за столом держат особый фасон — салфетки у них всегда заткнуты за воротничок. Их так и называют — салфетники. Непопытно для меня одно: все эти благородные люди ютятся в одной и той же кают-компании, у всех должна быть одинаковая цель — поднять боевой дух корабля. Но почему-то строевые офицеры относятся к нестроевым свысока. А ведь нестроевые, как например, судовые и триумные механики и доктора, имеют высшее образование. Но они носят серебряные погоны, поэтому им дана обидная кличка — березовые офицеры.

Заговоря я о кают-компании, а не сказал самого главного: знаешь, кого я там встретил? Лейтенанта Мишеля, того самого, который путался с моей барыней и подвел меня. Фамилия его — Сухов. На судне он занимал должность ревизора. И еще на нашем корабле оказался знакомый — лейтенант граф Эверлинг. К нам его назначили вахтенным начальником. Узнал он меня, но не поздоровался со мною и только скривил губы. Но об этих двух офицерах расскажу после подробнее.

Как говорится, каков поп, таков и приход. Командир сначала мало интересовался своим судном. У него появилось какое-то равнодушие ко всему. Ну, само собой разумеется, и офицеры разлеплились. А раз начальство такое, то и матросы стали лодырями. Одним словом — военный корабль превратился в пассажирский пароход для прогулок. Пушки, минные аппараты и разные механизмы пачали ржаветь.

Взялись мы с командиром вместе за борьбу против распушенности. Ты, наверно, улывляешься? Причем, скажешь, тут вестовой? А я сейчас тебе расскажу, в чем дело. Пойми, друг, ведь мне сподручнее следить за порядками на корабле, чем командиру. Возьмем любого из командиров — как поступает он? Раз в две недели в какой-нибудь праздник устраивает смотр своему судну. Но что один он может увидеть? Все заранее подготовятся к этому, во всех отделениях наведут чистоту, даже кочегарку вымоют с мылом, медянку надрают до блеска. Поглядит он на все и доволен, но в сущность дела не вникает. А ведь военный корабль — это тебе не картинка, которой можно только любоваться. На нем, может быть, придется идти в бой. Разве так нужно относиться к делу? Больно мне смотреть на эти порядки. Уж очень я люблю свой корабль и все его оборудование. Интересно меня: и артиллерия, и как башни вращаются, и чем начинены снаряды, и минное дело, и электричество, и машина. Одним словом, мне хочется все узнать. Иду я к комендорам. В одной башне побываешь, в другой, заглянешь в казематы, иногда спустишься в скрыт-камеры или в бомбовые погреба. Вот комендоры-то и рассказывают мне обо всем устройстве. Я теперь могу любую пушку разобрать на части, смазать их и опять поставить на место. Знаю, как зарядить ее и как из нее стрелять. И тут же, кстати, выведая от комендоров, что у нас по артиллерии хорошо и что плохо, понимающие ли у них офицеры, или нет и как относятся к своим обязанностям. Значит, за меня смотрят сотня пар глаз, соображает сотня голов. А разве эти комендоры будут так говорить командиру, как говорят они мне? Да теперь и сам я замечаю всякие недочеты на корабле.

Вижу я, что мой барин все больше и больше прислушивается к моим словам. Другой офицер на его месте обиделся бы и выругал бы меня последними словами. А этот нет. Надо, думаю, воспользоваться этим.

И вот однажды ночью за выпивкой я докладываю своему барину все, что узнал по артиллерии. Он спокойно выслушал меня и берет книгу приказов. Когда он пьяный, то голова у него лучше работает — острее соображает. Пишет и каждое слово произносит вслух. Приказ начинается так: «Мною замечено»... И давай перечислять все, что я говорил ему. Катки, на которых вращается башня, проржавели, башня идет со скрежетом, а со временем она может совсем остановиться. При зарядании 12-дюймовых орудий нет взаимного смыкания. Заряжают их чрезвычайно медленно, так что между выстрелами проходит три минуты, а полагается не больше двух. Я тут подсказываю барину:

— Ваше высокоблагородие, когда мы стояли в Тулоне, мне удалось побывать на французском военном корабле. Там заряжают такое же орудие в полторы минуты.

Командир добавляет, что в артиллерийском деле корабли передовых стран Европы далеко опередили нас. И продолжает гвоздить дальше. Повседневной

проверки орудий, готовности их механизмов к немедленному действию не производится. Трущиеся части у некоторых орудий закрашены, что влечет за собою затрудненное действие механизмов. Комендоры-наводчики не обучаются наводке днем, а ночью совсем не практикуются. Температура в кюйт-камерах и погребах держится неравномерно: то очень низкая, то очень высокая против установленной нормы. От этого порох разлагается, выделяет ядовитые газы, которые могут самовозгореться. Тогда весь бронепосец со всеми людьми взлетит на воздух. Такие случаи уже бывали с военными кораблями. Я привел одну только четвертую часть того, что командир перечислил. Закапчивается приказ строгими выговорами: старшему артиллерийскому офицеру, младшему артиллерийскому офицеру, башенным командирам, кондукторам. И угрожает — если подобная распушенность не будет изжита, то виновники пойдут под суд за невыполнение распоряжений.

Командир прочитал мне приказ и спросил:

— Ну, как, Захар?

— Складно, ваше высокоблагородие, получилось. На корабле нужна строгость. Иначе нельзя. А вдруг война? Тогда пропадай все?

Командир доволен.

— А теперь, Сирень персидская, давай выпьем.

На второй день он для близиру заглянул в башни, а потом послал меня с книгой приказов к виновникам:

— Пусть прочтут и распишутся.

Эх, что с ними было, с этими офицерами и кондукторами! Читают приказ, а сами бледнеют и краснеют, и дергаются, и губы кривят. Я смотрю на них и как будто ничего не знаю. И сейчас же они отпавляются к орудиям, лезут в подбашенные отделения, в погреба, всюду заглядывают. День и ночь люди в работе — прямо парадоваться нельзя.

А я тем временем начал таким же манером изучать минное дело. Сначала мне пришлось прочитать об этом книжонку. По правде сказать, первое время я плохо в ней разбирался. А когда минеры показали мне все на практике, для меня многое стало ясным. Теперь мина Уайтхеда хорошо знакома мне. Какое страшное орудие придумано против человека!

По минной части я сделал командиру подробный доклад, причем столько при этом указал недочетов, что пришлось по два раза загибать пальцы на обеих руках. Командир даже испугался. Я сейчас же подал ему книгу, а он давай в ней строчить и все по пунктам.

Вот, что выяснилось насчет хранения мин. Воздухонагнетательные машины работают плохо, воздух накачивается медленно, чем затягивается время приготовления мины к действию. Нет многих ключей для обращения с минами. Болты для присоединения боевых зарядных отделений не подходят к гайкам, резьба у многих сорвана, поэтому зарядное отделение может оторваться от резервуара сжатого воздуха. Машинные регуляторы не ставят на место — пружины нажимают и не отдают, из-за чего они слабеют. Запирающие клипаны травят воздух. Не всегда стопора находятся на гребных винтах, а это может вызвать неожиданную раскрутку гребных винтов и привести к несчастным случаям. Гребные винты проворачивают не ежедневно. Боевые зарядные отделения, как и запальные стаканы, не смазаны, ржавеют, взрывчатое вещество начинает разлагаться, угрожая взрывом в погребе.

Не лучше обстоит дело и на минных учениях. При снаряжении ударника по халатности забывают поставить капсюль; такая мина не взорвется, хотя бы и хорошо попала в неприятельский корабль. При постановке ударника не пользуются кожаными прокладками, чтобы предупредить проникновение воды в него, и таким образом грозное оружие превращается в самодвижущуюся грушу. При проверке работы машин и других приборов не проверяется вывод рулевого стопора, что может повести к неправильному ходу мины на определенной глубине. Когда откачивают воздух, то не предусматривают разделителей, поэтому вместе с воздухом попадает масло и вода, что приводит к загрязнению приборов и неправильной их работе.

Много еще пунктов написал командир. Пора, говорит он, покончить с этой петришхой расхлябанностью. Мы плаваем не ради своего удовольствия, а для того, чтобы приготовить весь личный состав и корабль к будущей войне. Словом, здорово раздражил старшего и младшего минных офицеров. В заключение распорядился, чтобы они производили минное учение со своими подчиненными каждый день. А старшему офицеру приказал следить за этим.

На следующий день, так же, как и в первый раз, командир для вида спустился в минные погреба, а потом заставил минеров зарядить и разрядить минные аппараты. На это у него ушло времени не больше получаса. Минные офицеры спохватились, когда он уже возвращался к себе в каюту. После этого я понес им книгу с приказом. Как раз в это время младший из них пахнулся в каюте старшего минного офицера. Обоих, лейтенанта и мичмана, точно полем огрел этот приказ: то они в книгу заглядывают, то смотрят друг на друга, один думает глаза, как будто ополоумел, другой морщится и часто моргает, как будто собирается заплакать.

— Так, как говорится, продрали нас обоих с песком, — заговорил, наконец, лейтенант.

— Это жестоко! — прошипел мичман.

— Пришло же старому чорту в голову не во-время проверить минное дело! А потом эта книга приказов пойдет в Главный морской штаб. Какое мненье там сложится о нас?

— Какой позор! — воскликнул мичман и ухватился за голову.

Оба они настолько были взволнованы, что даже забыли о моем присутствии. Разве можно так разговаривать о командире при-нижнем чине?

Не хотелось им расписываться, а все же тому и другому пришлось приложить руку под приказом.

Другие старшие специалисты, как увидели, что пошло у нас всерьез, прилежнее стали работать. Но мне казалось, что все еще мало сделано. Я продолжал действовать. Много слабых сторон у нас было в машинах и котельных. Судовое расписание не удовлетворяло — можно его иначе сделать, и будет лучше. Командир только приказы примет: «Мною замечено» и так далее. Некоторые из них читали на шанцах во всеуслышание. А приказы эти были настолько резки, что у многих от них поджилки тряслись. Должно быть, из-за своей мадам командир неавантел офицеров, как крестьяне — копокрадов.

По случалось, что командир рассердится на мой доклад и начнет кричать:

— К чорту все это! Пропдай он пропадом весь наш корабль! Чтобы его бурей вдребезги разнесло! Надоел мне и весь наш идиотский флот!..

А когда выпьет водки и остынет, я опять тихонько к нему подъезжаю: — Приказик-то, ваше высокоблагородие, все-таки следует написать. Раз вы взяли порядки на судне наводить, то пельзя на полпути остаивавваться. А то офицеры будут смеяться. Скажут, что не хватило у вас пороху и вы отступили.

— Э, чорт, давай книгу приказов!

А для меня это было большой радостью, потому что корабль паш становился все лучше.

Командир редко появлялся среди команды и непосредственно почти не имел с нею никакого дела. И все же какая-то невидимая близость между ним и матросами все вырастала и крепла. На него они смотрели как на хорошего человека и честного начальника. Я со своей стороны подогревал эту любовь к нему и всячески поднимал его авторитет. Без этого, думал я, нам трудно управлять кораблем и поднять по-настоящему его боевую мощь. Иногда приходилось мне что-нибудь придумывать в пользу командира. Для этого я выходил на бак. Ко мне обращались матросы:

— Ну, как поживает паш командир?

— А что ему делается? Живет хорошо.

— Что-то он редко показывается нам.

— А зачем ему показываться? Он и без того все знает, что делается на судне.

— Откуда же он все знает?

— Кое-что докладывает ему старший офицер и старшие специалисты. Случалось, что они хотели надуть командира. Но куда там! У него глаз, как алмаз, — сквозь все видит. Этот человек только издали взглянет на пушку и уже знает, в каком состоянии она находится. По слуху он может определить, как работают машины. Возьму, например, себя: я только подумаю о чем-нибудь, а он уже мне говорит, какие у меня мысли. По лицу и по глазам узнает мои думы, словно колдун. Вот каков командир. А кто о команде больше всех заботится? Только он один. Сколько раз я слышал, как он жучит офицеров, чтобы они не обижали матросов.

Вот в таком роде я попаговорю о своем барине, а после этого уже сам матросы начинают хвалить его на все лады:

— Ну, с таким командиром плавать можно.

— Во всем флоте не найдешь такого начальника.

— Вот это командир. За него мы в огонь и в воду полезем. Только скажи он нам слово.

Но команду одними словами не возьмешь — подавай ей факты. А они были налицо. Взять, например, нашего ревизора, лейтенанта Сухова. Матросы знали, что он наживается на командных харчах. Помогал ему в этом баталер. Между прочим, про офицеров, как я теперь узнал, зря говорят насчет веровства. Кроме своего жалованья, откуда у них могут быть безгрешные доходы? Ни деньгами, ни харчами они не ведают. А пушки, снаряды и мины куда ведь не продашь. Другое дело ревизор. В его руках находится вся отчетность. Он оплачивает все счета. Вот еще разные чиновники во флоте — из них мало честных найдешь. Может и командир судна поцапиться, если захочет, — из окрасочных сумм, на ремонте корабельных частей в иностранном порту, на покупке угля, машинного материала. Но для этого ему пужло сговориться

со старшим механиком. А разве мой барин пойдет на такие дела? Во всем флоте это самый честный человек. Беда его была в том, что он ничего не знал о проделках ревизора и во всем доверялся ему. А тот пользовался этим доверием и набивал деньгами свои карманы.

Команда не любила лейтенанта Сухова. Одно время он пытался кормить команду вермишелью. Как известно, в Италии этот продукт и макароны стоят дешево. Любят итальянцы эту пищу. Недаром их называют — макаронники. Ну, а нам побольше щей давай и каш. Всем надоела вермишель, да при том еще жиденькая и без навару. Заглянешь, бывало, в котел для девятист человек, а там плавают всего лишь несколько звездочек жира. И решили матросы отомстить ревизору. Однажды вечером он долго засиделся в канцелярии, а когда вернулся к себе в каюту, то вскипел от гнева: на переборках, на столе, на книгах, на отчетности, на одежде, в карманах, в шкафу — всюду была вермишель. На это ушло ее, вероятно, не меньше копаного ведра. Ревизор бросился с жадобой к командиру. А кто виновник? Разве их найдешь среди девятист человек?

В этот же вечер командир спросил меня:

— Как ты, Захар, думаешь, за что это так матросы мстят ревизору?

— Зря, ваше высокоблагородие, ничего не делается. Значит, есть у них на это причины.

— Какие?

Через югу я уже знал, как ревизор вместе с баталером обворовывает команду. Я рассказал об этом командиру. Он разгорячился и хотел сейчас же вызвать к себе лейтенанта Сухова.

— Я упеку этого дамского кавалера в тюрьму.

Я посоветовал барину подождать с этим делом. Получилось у нас как нельзя лучше. Рапо утром отпустили для камбуза свежего мяса. Я намекнул командиру:

— Пора, ваше высокоблагородие, проверить дамского сердцегрыза.

Он позвачил комиссию из трех человек: строевой офицер, старший механик и врач. Взвесил они мясо, подсчитали число порций — пехватает на триста человек. Взяли за жабры баталера. А тот малый был дурковатый и сильно испугался. Ну, и давай он все выкладывать начистоту и сваливать на ревизора: какие и где взятки брал, как составлял фальшивые счета. Комиссия проверила эти счета. Все показания баталера подтвердились полностью. Можно сказать, поймали воров с поличным. Командир об этом отдал приказ, который прочли на шкапцах. Ревизор и баталер пошли под суд.

Команда еще больше уверилась, что командир на их стороне.

Однажды командир спросил меня:

— Откуда ты, хитрец, взялся? Кто родил тебя?

— Родила меня, ваше высокоблагородие, крестьянка. Однажды она пошла в лес за грибами, а тут вздумал я не во-время появиться на свет. Пришлось ей постелить в кузов травки, и, вместо грибов, принесла меня домой.

Командир насунулся и что-то долго соображал.

— Жаль, очень жаль, что твоя мать срок не уловила. Тебе следовало бы родиться либо позднее, либо лет на сто раньше, и не в России, а во Франции. Ты что-нибудь слышал про Наполеона?

— Это, что Москву забирал? Кто про него не слышал? Самый, говорят, умный император был. Своих царей русский народ не знает, а его во всех деревнях знают.

— Так вот, Захар, если бы ты при нем был, то из тебя вышел бы большой человек. Может быть, я был бы при тебе адъютантом. А у нас, в России, ладеем ты служишь у меня, ладеем и останешься. И даже я могу тебя произвести только в унтер-офицеры. Дальше этого нет тебе ходу.

— Да мне и ничего не надо, ваше высокоблагородие. Я только хочу, чтобы наше судно было лучше всех иностранных кораблей. Нравится мне морское дело.

Пу, действительно, подняли мы свой броненосец — теперь хоть куда. Даже в Англии не стыдно появиться. Молодец командир! Хоть и ненормальный немного, но без жены он здорово поумнел.

XI

К нам подошел, держа под руку девицу, молодой белокурый матрос, сослуживец Псалтырева, и бойко проговорил:

— Захару Петровичу почет и уважение.

— Наше вам ныжайшее, Яшенька, — ответил Псалтырев.

— Не приходил наш катер?

— Нет. Но скоро, вероятно, будет. А ты сегодня с подругой по парку лавируешь?

— Да, лучше не собьюсь с курса.

Девушка, низкорослая и полногрудая, с покрашенными губами, с рыжими локонами, прищурив хмельные глаза, вызывающе рассмеялась:

— Все порядочные моряки с женщинами гуляют. Только вы, как два брюка, в такой холод сидите на скамейке. Не прошибло вас цыганским потом?

— Не всем выпадает такое счастье, как нашему Яшеньке.

Пара немного поболтала с нами и удалялась.

— Тоже вестовой. Обслуживает нашего старшего офицера, — промолвил Псалтырев и снова начал рассказывать о своем плаваньи.

— Сначала нашей эскадрой командовал контр-адмирал Вислюхов.

На эскадре он прославился своими причудами. Он, например, любил задавать команде разные вопросы. И тут ты можешь врать сколько угодно, но обязательно должен браво ответить — э молодцы попадешь. А если будешь молчать, то обзовет тебя дрянью, дураком, болваном. А вопросы у него были всякие:

— В каком море был Синопский бой?

— В Балтийском, ваше превосходительство.

— Неможно ошибся, голубчик. Этот бой был в Черном море. Запомни это. А в общем молодец! Хорошо отвечаешь.

А еще с ним так бывает. Пусть матрос на карачках ползет по мостовой и весь в пыли, но только честь адмиралу отдавай — ничего не будет. Даже похвалит такого:

— Вот это моряк — пьяный, а сознания не теряет.

Другой матрос до того напиртуется, что валется на улице, как бревно, — ни рукой, ни ногой не шевельнет. Вислоухов обязательно свернет к нему и начинает рассматривать, куда у него голова направлена: если в сторону пристани, то не будет ему никакого наказания. Адмирал только скажет:

— Бедняга! Ведь верный курс держал — прямо на корабль. Но перегрузил себя и в пути застрял.

И велит на свой счет извозчика, чтобы доставить пьяного матроса на пристань.

Но если матрос лежит головой в сторону от пристани, то уж без наказания ему не обойтись. Адмирал начнет причитать над ним:

— Ах, подлец! Хотел убежать с корабля. Не удался мерзавцу план — водка выдала.

Сейчас же разыщет патрульных и прикажет им:

— Отволоките этого негодяя на пристань. Пусть дежурный офицер передаст на корабль мое распоряжение — посадить беглеца на пять суток в карцер.

Однажды адмирал Вислоухов приехал к нам на судно, и я видел его. Телосложением старик напоминал богатыря. Сивая борода у него, словно пучок кудели, растянулась во всю грудь и даже прикрывала ордена. Адмирал задрал голову и промелся вдоль фронта меленно и с таким видом, как будто хотел доставить нам удовольствие: подольше, мол, полюбуйтесь мною. Офицеры заранее нас предупредили, да и сами мы знали, что он любит строевое учение и маршировку. В это время каждый матрос должен приставить одну ногу к другой как можно громче. По распоряжению адмирала старший офицер командовал нам два раза «кругом», а потом:

— Три шага вперед — арш!

Не очень складно у нас вышло, но зато от наших ног вздрогнула палуба броненосца.

Адмирал остался доволен. Нашим броненосцем он не интересовался. Не было сделано ни боевой тревоги, ни пожарной, ни водяной. Фронт распустили, а сам начальник эскадры ушел в кают-компанию, где в честь его приготовили богатый обед с вышивкой. Офицеры пили шампанское, кричали «ура» и веселеек пролавливали адмирала. Часа через три два мичмана вывели его на верхнюю палубу. Он шел и пошатывался. Командир и остальные офицеры сопровождали его. Вдруг он остановился и приказал:

— Вызвать наверх одну какую-нибудь роту и построить ее повзводно. Барабанщика с барабаном — ко мне.

В одну минуту распоряжение адмирала было выполнено.

Он обратился к старшему офицеру:

— Пусть рота помарширует по верхней палубе, а вы будете командовать.

Потом повернулся к барабанщику:

— А ты, голубчик, стой здесь и ударь на своем инструменте так, чтобы за сердце хватило.

Раздалась команда, рота зашагала. Барабанщик так старался, что готов был пробить натянутую кожу на своем инструменте. Офицеры едва сдерживали себя от смеха. Командир смотрел на всю эту комедию угрюмо.

Адмирал кивал головою и говорил:

— Так, так... Хорошо, очень хорошо...

Его водянисто-белесые глаза часто заморгали. По лицу покатились слезы и застряли в свивой бороде. Он поднял руку и сказал:

— Довольно.

А потом, словно отец при прощании со своими сыновьями, он тихо и ласково наставлял паше начальство:

— Нужно, господа офицеры, любить барабан больше, чем всякую другую музыку. Не стыдитесь, если его божественные звуки вызовут у вас слезы. Это значит, что вы настоящие воины.

Адмирал взглянул на командира и почти дружески сказал:

— Вы должны каждый день устраивать такие рететцици.

Лезвин стал возражать:

— Конечно, ваше превосходительство, как военные люди, мы все должны знать повороты направо и налево, а также маршпровку, но постольку, поскольку это необходимо. А делать на это упор — я пахожу не совсем целесообразным.

— Почему?

— Мы готовим людей не для того, чтобы маршировать на плацу, а хорошо управлять боевым кораблем.

Адмирал рассердился и так дернул себя за бороду, как будто хотел вырвать ее. Глаза его стали сухими. Он задвигал бровями и раскричался:

— Вы, очевидно, примиритесь даже с тем, что матросы на корабле будут ходить, как деревенские бабы за грибами. Нет-с! Этому не бывать! Если я что-нибудь приказываю, то у меня на плечах голова. Что же, по-вашему, — я дурак или идиот? И спрашиваю вас, госнодин капитан 1-го ранга Лезвин, — дурак я или идиот? Будьте любезны ответить мне на мой вопрос.

Командир смотрел на адмирала с какой-то безразличностью и резко отчеканил:

— Никак нет, ваше превосходительство, вы — не дурак и не идиот. Но мне казалось, что лучше было бы...

Вислоухов вдруг смягчился:

— Пусть в следующий раз вам не кажется... Начальник эскадры лучше знает, что хорошо и что плохо. А ваше дело точно исполнять мои приказания.

Адмирал твердо, как будто ничего не произошло, распростился с командиром и другими офицерами и зашагал по палубе. Два мячмана помогли ему спуститься по трапу и сесть на паровой катер. Катер дал свисток и направился к флагманскому кораблю.

Зачем, спрашивается, приезжал к нам адмирал? Он, наверное, думает о себе, что без него паша эскадра развалится, словно плохо увязанные дыны с воза. На самом же деле такой начальник нужен для нее, как лесной клещ для скотны.

Один матрос сказал о нем:

— Ничего у нас адмирал — солидный, но уж очень умом пооббосился.

В эту ночь мой барин был угрюм и почти не разговаривал со мною. Он молча паливался алкоголем и раздраженно плевался в ответ какому-то своим мыслям. Я даже стал бояться, как бы что с ним не случилось.

Когда наша эскадра пришла в Тунис, адмирал Вислоухов уехал в Россию. Он до этого хворал нелелл две, а тут ему стало хуже. И знаешь, кто явился на его место? Контр-адмирал Виктор Григорьевич Железнов. В пашей кают-

компании офицеры говорили, что этому начальнику эскадры очки не вотрешь. — понимающий моряк. И матросы с флагманского корабля хорошо отзывались о нем:

— Серьезный адмирал и справедливый.

Но никто так не волновался, как я. Неужели и вправду он приходится мне тестем? Может быть, кухарка зря сболтнула, что она с ним прижила Валя? Эти думы не давали мне покоя. Уж очень несуразные неожиданности иногда получаются в жизни. Официально адмирал имеет двух детей — сына и дочь. Он сам догадывается, что они не его крови. И родились они от жепципы, которую он неавилит. Она для него не подруга, а ведьма с Лысой горы, как говорит наша кухарка. И все же он воспитал своих не родных детей по-настоящему, и жалел для них денег. Дочь его вышла замуж за профессора, сын женился на богатой и знатной баронессе. А вот о родной дочери, которая родилась от любимой женщины, адмирал мало беспокоился. Правда, он помог ей стать па поги, но это все пустяки в сравнении с тем, что он сделал для официальных своих детей. И, пожалуй, его прямо-таки возмутило бы, если бы за меня вышла замуж не Валя, а его другая дочь, хотя она и не родная ему. Получается: может быть, у мужчины нет совсем отцовских чувств, а есть только привычка к детям? Или он боялся мнения людей своего круга?

Итак, тесть — адмирал, а зять — вестовой. Захотелось мне во что бы то ни стало посмотреть на него и самому убедиться, насколько моя Валя похожа на своего отца. Побывал он у нас на «Святославе», но я в это время находился на берегу. Рассказывали мне, что адмирал Железнов нашел кое-какие недостатки и сделал выговор нашим офицерам. Мы тогда еще не успели навести порядки. Потом мы стояли в Алжире. Я нарочно ездил на флагманский корабль, чтобы взглянуть на своего тестя. И опять мне не пришлось встретиться с ним: он не вышел из каюты. Только в Александрии, и то издали, я увидел, как он садился в катер.

Во все время плавания Валя не выходила у меня из головы. Через месяц, как мы разлучились, я получил от нее письмо — сообщает, что она беременна. Но она несколько не раскаивается, что сошлась со мною, и еще пуще прежнего любит меня. Поверишь ли ты — я плакал над ее письмом. Вот до чего она растрогала мое сердце. Из каждого порта я посылаю ей письма и в каждом порту получаю от нее ответы. Советует мне больше заниматься самообразованием и всячески поощряет меня. По ее словам, у нее теперь только два друга — мать и я, а потом будет еще тот, кто родится. И верит, что я никогда ее не брошу. Да разве такую подругу бросишь? И даже стихи о ней начал писать.

Бывало, после полуночи, когда уснет мой барин, выйдешь на верхнюю палубу, устроишься где-нибудь на рострах и долго сидишь один со своими думами. Эскадра в походе. На нашем броненосце, кроме вахтенных, все спят. А он льмит двумя трубами и, словно от радости, вздрагивает в теплом тумраке. За бортом ласково воркуют небольшие волны. Небо блещет яркими звездами. Может быть, и она, моя Валя, сейчас смотрит на небо? Мысли уносят меня через огромные пространства в знакомую комнату. И тогда я больше не вижу ни моря, ни эскадры, не слышу звона отбиваемых склянок. В воображении она рядом со мною. В моих ушах звенит говор и смех моей воз-

любленной. Я ощущаю на своих щеках ее дыхание, на губах — ее поцелуй, вокруг шеи захлестнуты ее руки.

Мне уже удалось прочитать порядочно книг о любви. Что же все-таки такое любовь? Каждый писатель решает этот вопрос по-своему. Я не писатель, но Валя пробуждает во мне разные мысли. На все хочется иметь свое определение. Соловей только потому хорошо поет, что где-то в кустах его слушает соловьишка. И каждый из людей по-своему поет для своей соловьишки: один играет на скрипке, другой картины пишет, третий что-нибудь изобретает, четвертый мошениничает и т. д. И мне хочется хоть чем-нибудь удивить и обрадовать мою Валию. Я занимаюсь самообразованием и напрягаю свой мозг, чтобы быть образованным человеком. Вытянусь в штучку, а своего добьюсь.

Иногда приходит мне в голову такое сравнение. Нужно, скажем, кораблю перейти в другой порт — за три тыщачи морских миль. Что для этого делается? Командир отдает распоряжение, куда идти, и корабль снимается с якоря. У штурмана давно уже на морской карте проложен курс к определенному маяку. Какие испытания предостоят этому судну в пути? Девиация компаса и склонения компаса будут сбивать его с намеченного курса. Но хороший и опытный штурман примет все это во внимание и внесет свои поправки. Найдутся и еще помехи для корабля — побочные течения или сильные ветра будут сносить его в ту или другую сторону от намеченного курса. Опять потребуются поправки. На пути могут встретиться подводные рифы. Их придется обойти. Наконец могут обрушиться на него такие встречные бури, когда черные тучи смешаются с вздыбившимся морем. Кругом даже днем ничего не видно, а ночью и подавно. Случается, что машины работают во всю мочь, чтобы двигать корабль вперед, но буря, словно таранами, бьет в его скулы волнами и отбрасывает назад. И все же, хоть с опозданием, он придет к тому маяку, к какому нужно.

И каждый человек, по моему мнению, должен избрать себе в жизни какой-то маяк и стремиться к нему, как тот корабль, о котором я рассказал: кто хочет стать инженером, кто — учителем, кто — офицером, кто — борцом за правду. Много неприятностей человек будет встречать на своем пути. Но если он не сломается, то не может того быть, чтобы перед ним не засиял радостный луч его маяка.

Долго я тревожился за Валию, много дум передумал о ней. Наконец она известила меня: родила сына. И назвала его в честь моего отца Петром. Я мысленно кричу ему:

— Ну, сынок, расти и занимай свое место на земле.

В эту ночь я ставлю для барина на стол выпивку и закуску, а сам не могу удержаться от улыбки. Вся кровь играет во мне. Командир заметил мою радость и спрашивает:

— С чего это ты сегодня сияешь так?

Я сочиняю ему:

— Интересный сон видел, ваше высокоблагородие.

— Какой же?

— Полюбила меня одна принцесса. Красоты она необыкновенной. Богатствам счету нет. Женился я на ней. И она родила мне сына. Такого славного мальчишка свет еще не видал. Бегает он по лугам, а я не могу на него

палубоваться. Слышу команду: «Вставай! Бойки вязать!» До чего же мне не хотелось расставаться с таким сном, а пришлось встать.

Командир смеется:

— Странно. Все у тебя произошло в одну ночь: и принцесса полюбила, и женился на ней, и сын родился, и уже по лугам он начал бегать.

Хоть и сильно я люблю Валу, но вместе с тем продолжаю следить за порядками на корабле. Уж больно мне нравится морское дело. Жаль, что прав у меня нет. Приходится под чужим флагом работать. Да это меня мало беспокоит. Лишь бы наш «Святослав» был на лучшем счету.

В заграничном плаваньи хоть не отпускай команду на берег, — напивалась она зверски. Каждый раз при возвращении на корабль несколько десятков матросов приходилось поднимать на таях. Сколько было срамоты перед иностранцами.

Возьмем, например, нашу стоянку в Марселе. Ночью вернулся с берега матрос. На них сорок человек находились в таком состоянии, что ни рукою, ни ногою не могли пошевелить. С помощью талей подняли их на палубу; переписали фамилии. По распоряжению старшего офицера разостлали на баке брезент. На него, как трупы, уложили рядами пьяных. Другим брезентом накрыли, чтобы не простудились за ночь. Утром послышалась дудка, а вслед за нею раздалась команда вахтенного унтер-офицера:

— Все пьянцы на шкафут! Выстроиться во фронт!

Пришел старший офицер. Большие усы у него были закручены вверх и напоминали два серпа. Ему нравились те матросы, которые ухаживали за своими усами. В голове у него, можно сказать, были какие-то страшные выверты. Когда он подходил к фронту, то всегда первым делом отдавал приказ:

— Подкрутить усы:

Так он поступил и на этот раз. Все сорок человек, что выстроились в одну шеренгу, взмахнули руками к носу. Сделали это и те молодые матросы, у которых на верхней губе пробивался только пух, как у цыпленка. Через минуту усы были подкручены. Старший офицер skoмандовал:

— Смирно!

Он прошелся вдоль фронта, строго посмотрел каждому в лицо и заговорил:

— Надрызгались вчера, да? Меры не знаете, да? Можно с такой швалью управлять кораблем, да?

Накануне, по случаю своих именин, он сам всю ночь пил в кают-компании. Белки у него переклестнули кровавые жилки, зрачки помутнели. Пьянцы молчали. Они хорошо знали, что за этим последует, и не ошиблись. Старший офицер заметил с правого фланга и начал всех подряд награждать пощечинами: то с правой, то с левой руки. Каждый матрос по два удара получил. По-настоящему, хлестко бил. Казалось, что таким манером он свои мускулы развивает. Только один матрос был обойден. Уж очень у него усы были красивые: черные, как вороново крыло, и так лихо расстилались по его курносому лицу, что у пачальника рука не поднялась на такого молодца. Остальные матросы все получили свою порцию. Старший офицер выполнил свое дело и распорядился:

— Вахтенный! Передай боцману Кудипову, чтобы он поставил их на работу. Одни пусть медяшку падранивают, другие ржавчину отбивают с якорного каната.

Потом вызвал баталера и приказал ему:

— Выдать им всем по чарке водки за мой счет.

Обидно мне было, что наша команда в иностранных портах так конфузят русский флот. Стал я придумывать меры против этого. Сначала нужно было избавиться от штрафных и всякой швали. Человек пятнадцать у нас было неисправных. Сами они ничего не делали и других развращали. В особенности один из них этим отличался — матрос Лукоцин. Он прослужил двенадцать лет, а ему еще осталось дослуживать пять. Что это значит? Десять лет с перерывами он провел в дисциплинарных батальонах. А это не засчитывается в срок службы. Но Лукоцин не унывал и посмеивался сам над собою:

— Тяну и тяпу военную лямку, а конца все еще не видать. Значит, я вдоль службы попал.

Я рассказал обо всем командиру и стал уговаривать его, что не мешало бы, мол, сократить это пьянство. И подал я ему список тех матросов, каких нужно списать с судна. Сначала он заупрямился. На корабле он сам был первым алкоголиком, и ему, очевидно, стыдно было наказывать людей за пьянство. Я некоторое время подождал. А когда бариц захмелел, я подsunул ему книгу приказов. Взял он в руки перо и начал строчить. Получилось у него замечательно: не приказ, а проповедь! Все изложил: и как позорно военному человеку напиваться, и как это вредно для здоровья, и как алкоголь иногда ломает человеческую жизнь. Посторонний человек подумает, что такой приказ мог написать только командир, который, кроме приказания, ни капли не употреблял спиртных напитков. Прочитал он мне свое сочинение, погладила ржавую бороду, как-то криво усмехнулся и сказал:

— А теперь, Захар, давай еще выпьем по стакашчику.

Приказ был отдан. Через несколько дней подвернулся русский коммерческий пароход. Пятнадцать человек пьяниц из команды в сопровождении строевого унтер-офицера были отправлены на нем в Кронштадт. После этого пьянство на корабле стало сокращаться.

Захар Псалтырев закурил папиросу.

Из-за облаков выглянуло солнце. Засверкали сияющими бликами взерошенные воды залива. Налетевший ветер закачал деревья, срывая с них осенний наряд. В воздухе, падая, закружились пожелтевшие листья. Освещенные лучами, они были похожи на тончайшие пластинки золота.

Я спросил:

— Что же, командир всех офицеров так жучит?

— Больше всего он не любит красных и дамских кавалеров. Им достается от него. Значит, здорово они обожгли ему сердце. А чем непривлекательнее был офицер, тем лучше относился к нему мой бариц. Я тебе расскажу об одном таком чудеке. Служит он у нас на судне старшим штурманом. Фамилия его какая-то пеленая, не офицерская — Полперчицын.

Этот лейтенант не прожил и тридцати лет, а разбух, как тесто на хороших дрожжах. Ростом — средний, но очень широк телом. Весом не меньше семи пудов. Говорят, это у него от какой-то болезни такая ненормальная толщина. Лицо красное и круглое, как надутый шар. А на рыжих усах скромно приютился маленький носик, точно голелький воробьиный птенчик на гнезде. Казалось, у лейтенанта совсем нет костей. Лопни у него кожа, — он сразу

весь расплескается кровью, и от человека останется вроде пустого мешка.

Штурманское дело он знает пеплохо. Насчёт курса у него не бывает оплошки. Наше судно вышло из Бронштадта в заграничное плавание па три дня познее эскадры. Мы должны были с нею встретиться в Шербурге. Не успели мы выйти из Финского залива, как навалился на нас такой густой туман, что ничего вокруг не видно. Он нас сопровождал несколько дней. Так прорезали мы, словно окутанные непроглядным дымом, Балтику, Немецкое море, Ламанш и вошли в порт. Подперчицын во все время пути вел броненосец только по счислению и по прокладке. Где еще такого моряка сыскать? По ходатайству командира его произвели в штурманы 1-го разряда.

Но если не было опасности, он относился к своим обязанностям спустя рукава, точно исполнял что-то постороннее и ненужное. Бывало, появлялся в ходовой рубке с таким уставым и сонным видом, как будто не спал несколько ночей. Заглядывает он в свои морские карты, а сам то и дело раскрывает рот и зевает с каким-то усыпляющим завыванием. И удивительно — это действует заразительно и на других. Минут через десять, кто бы в рубке ни находился, все начинают зевать. Я и на себе это испытал. Иногда даже боязно было, что люди на вахте могут заснуть.

Командир прощал Подперчицыну все его недостатки и обходился с ним даже ласково. Я, конечно, понимаю — такой офицер не мог отбить у него жену.

Команда подменялась над старшим штурманом, но любила его. Это офицер редкой доброты. На вахте не услышишь от него ни одного скверного слова. С матросами он дружит, держится с ними запросто и пишет за них к их родственникам письма. А своим сигнальщикам и рулевым он даже сочиняет любовные письма, и все в стихах.

Меня удивлял Подперчицын своей вялостью и равнодушием к судну. Казалось, ничто не могло его взволновать. Возникши пожар в бомбовом погребе или в крыйт-камере, он все равно не перестанет зевать. Но нет на свете такого человека, который бы ничем не увлекался. И этот лейтенант очень любил пение. Офицеры говорят, что при высочайшем дворе он был регентом и управлял хором. Все у него ладно было, но внешность его портчила ему карьеру. Главное — знатым дамам он не понравился. Уволили его и послали в плавание. Как только попал он на наш броненосец, сейчас же начал испытывать голоса матросов. Всю команду перебрал. Целый месяц он с этим делом возился и сколотил хор человек в сорок. Я тоже был зачислен в его хор. Когда он с нами занимается, откуда только у него берется такая бодрость. Заставляет всех изучать ноты, волнуется и готов проводить спевки круглые сутки. И уж тут ни разу не зевнет. Словом, у нас теперь такой хор, какого нет ни на одном корабле всего флота.

В праздник, во время обеда, стоит только Подперчицыну взять камертон в руки, как сразу он весь преображается. Для него ничего нет важнее на свете, кроме хора. А как он сам поет! У него высокий и нежный тенор. Слушать его — душа тает. Если не смотреть на эту ожившую семипудовую тушу, то можно подумать — это ангел спёрхнул с неба на землю и заливается сладчайшим голосом. Запой он так весной в лесу — все птицы, кажется, замолчат и только будут слушать лейтенанта. Очень мне нравится, когда у нас исполняют «Иже херувимы». Баса, баритоны, тенора так дру-

жески и складно переплетаются, как будто одна душа поет. А голос лейтенанта дрожит и выше всех поднимается, словно хочет достигнуть до ушей самого бога.

Раньше, бывало, боцмана и капралы никак не могут загнать матросов в церковь. А теперь, кроме вахтенных, все налицо. Каждому охота послушать хор.

Лейтенант Подперяницын водки в рот не берет, а главное — совсем не признает светских песен. Он пристрастился только к церковному пению. Можно подумать, что это самый религиозный человек, и ему только бы монахом быть. А в действительности он, повидимому, не верит ни в бога, ни в чорта. И был потрясен, когда узнал об этом. Из его хора горе бывает тому человеку, который собьется с тона. Лейтенант все может простить, но если время в пении — пошады не проси. Однажды со мною так случилось. Запели мы «Спаси, господи, люди твоя», и я сбился с тона. Смотрю — у лейтенанта запывшие синие глаза стали вдруг злыми, как у разъяренного хищника. Он схватил меня за ухо и так потянул, что у меня, вероятно, рот набок съехал. А сам лейтенант продолжал заливаться ангельским голосом. Но только слова молитвы заменял самыми похабными словами.

После обедни он призывает меня к себе в каюту и говорит:

— Ты уж прости, что я погорячился. И вот тебе подарок от меня.

И тут же дает мне плитку шоколаду.

— Только следующий раз не сбивайся в пении. Иначе — я не ручаюсь за себя. Ты можешь остаться без уха.

Так он поступает со всеми, кто сбивается с ноты. Сначала накажет, а потом наградит — кого деньгами, кого фруктами, кого запиской на нять чарок водки.

ХII

Псалтырев, разговаривая со мною, иногда отвлекался от своего рассказа. Коммерческий пароход, проходя мимо гавани, громко загудел.

— Английский купец в Петербург идет, — отметил Псалтырев, глядя на пароход.

В гавани паровой катер, сделав крутой поворот, с полного хода пристал к трапу какого-то крейсера.

— Ах, как здорово у него вышло! Какой замечательный глазомер у рулевого! Красота!

Серые, с маленькими точками на роговицах, глаза моего приятеля радостно сияли. Меня удивляла его беспредельная любовь к кораблям. Казалось, он смотрел на них с таким же восторгом, с каким смотрит наследник на свое будущее богатство.

Вот теперь я графа Эверлинга узнал как следует. С виду он несколько не изменился. Как и в Петербурге, каждый день он брился и пудрился, и одет был с иголочки. На черном галстуке сверкал бриллиант, как звезда. Раскроешь, бывало, свой золотой портсигар, усыпанный драгоценными камнями, и сейчас же раздастся тихая и очень приятная музыка. Очень этому удивлялись: в такой маленькой вещице будто комариный оркестр играет. Графа побавались

даже офицеры. А матросам — но дай бог с ним вместе служить. Он не то, что другие начальники, — не шумел, не ругался и не дрался, и все же такого нахального человека не сыскать. Офицеров, и то презирал и почти не разговаривал с ними. А здоровался он со всеми небрежно, подавал одни только пальцы и никогда не пожимал руки. И пальцы у него всегда были холодные. Я, конечно, не шупал их, но знаю об этом из разговоров в кают-компании. Офицеры прозвали его: «Пять холодных сосисок». Эта кличка переклинулась в команду, и все стали его так называть. Если уж к офицерам он относился пренебрежительно, то нечего и говорить о матросах. Они вызывали у него какое-то гадливое чувство. Для каждого из них при обращении к ним у него было лишь одно название: «вобла». Для гребцов хуже всего было, когда приходилось куда-нибудь отвозить его на шлюпке. Никак не угодить ему. Наказывал матросов он всех скопом. Сначала командует:

— Суши весла!

А потом прикажет правому загребному:

— Ну-ка ты, вобла вяленая, дай по морде следующему гребцу, а тот пусть передает дальше, чтобы кругом пошло!

И матросы начинают лупцовать друг друга. Последним получает удар тот, кто начал, — правый загребной бьет левого загребного. Пока матросы занимаются избиванием один другого, граф «Пять холодных сосисок» строго наблюдает за ними. Если ему покажется, что они слабо это делают, приказывает еще раз повторить. Каждый из них возвращается потом на судно с красной и припухшей левой щекой. Таков был этот начальник из знатного рода. Когда вахта у него, он ходит себе по мостику и покрикивает:

— Фалы подтянуть!

А их уже двадцать раз подтягивали. Прав был соусник — человека узнают по его делам. Очевидно, в морском деле граф понимает не много лучше, чем акула в алгебре. Но все он что-то строит из себя и всем хочет показать, что он особенный человек. И даже в кают-компании сидит за столом и ни на кого не смотрит. А во время чая всегда одна и та же комедия происходит. Какой бы чай ему ни подал вестовой — жидкий или крепкий, он недоволен и приказывает:

— Отлить и долить!

Однажды вестовой ответил ему:

— Отлито и долито, ваше сиятельство.

Граф рассердился:

— В карцер на трое суток!

Но на одного из вестовых он парвался. Прежний его вестовой заболел, и к нему назначили нового. Этот парень мог хоть кого огорошить. Явился он к графу, а тот посмотрел на него и, должно быть, чем-то остался недоволен. Он ядовито заговорил:

— Послушай, вобла, откуда ты такой дурак взялся?

Матрос был парень развитой и ошарашил своего барина ответом:

— Умных вестовых, ваше сиятельство, назначили к умным офицерам, а меня почему-то к вам приставили.

Граф даже побледнел от злости и сейчас же накатал рапорт на этого матроса.

Один из наших офицеров нарисовал карикатуру. Стоит граф с протянутой рукой, а на ней вместо пальцев — пять сосисок. Внизу подпись: «Граф Пять холодных сосисок». Эту карикатуру послали ему по почте. Эх, и взбеленился он, когда распечатал конверт. Сейчас же к командирю с жалобой. При мне это было — я в спальне находился, кровать своего барина убирал. Граф всегда говорил тихо, а на этот раз раскричался:

— Я не позволю, чтобы надо мною так издевались! Наша графская фамилия старинного рода, четыреста лет существует. Я требую отдать под суд виновника.

Командир осадил его:

— Напрасно, граф, вы кричите так громко. Мой слуховой аппарат в полной исправности. Я хорошо услышу вас, если вы будете разговаривать со мною тихо и спокойно. Это во-первых. А во-вторых, кого же я должен отдать под суд? Кто автор этой карикатуры?

Граф сразу осекся и стал говорить умереннее:

— Это сделал какой-нибудь негодяй из команды. Я раньше слышал, как при моем появлении на палубе матросы повторяли фразу «Пять холодных сосисок». Но только теперь мне стало понятно, в чем дело.

— Так вот что, граф, я должен вам сказать. От этой клички вы никогда не избавитесь. На какое бы вас судно ни перевели, она будет преследовать вас наравне с вашей настоящей фамилией. Почему? Да потому, что нашим матросам никто не запретит встречаться с командой того судна, на каком вы будете плавать. Вот они-то все и расскажут о вас.

Так граф «Пять холодных сосисок» и ушел от командира ни с чем.

Кроме меня, никто не знал, кто нарисовал такую карикатуру. А узнал я это случайно. Дня за три до того, как граф получил ее, командир послал меня позвать лейтенанта Подперчицына. Я — бегом в его каюту. Стучу в дверь, слышу в ответ:

— Войдите.

Открываю дверь. Лейтенант сидит за столом и смотрит на меня, немного растерянный. Я с порога докладываю ему приказ командира. Он сразу заторопился и начинает собирать со стола какие-то бумаги. Одна из них вылетела из его рук в мою сторону и упала на коврик. Смотрю — боже ты мой! На бумажке нарисован наш граф. Изуродован невероятно, а похож, и всякий может сразу узнать его. Словом, это была та самая карикатура, какую он показывал командирю. Я говорю лейтенанту Подперчицыну:

— Крепко, ваше благородие, вы изобразили здесь его сиятельство. Если эту штуку показать ему, позеленеет, как от морской болезни.

Лейтенант строго спрашивает меня:

— Ты можешь держать язык за зубами?

— Когда нужно, я бываю немой, как осетр.

— Значит, никому ни звука об этом.

— Есть, ваше благородие.

Это событие произошло в итальянском порту Генуя. Русская эскадра еще накануне ушла в Палермо, а наш броненосец «Святослав» на несколько дней остался здесь, чтобы закончить ремонт в машинах. С двенадцати часов дня граф вступил на вахту. На небе ни облачка, сентябрьское солнце с морем играет, а он ходит по мостику, злой, как будто у него печень распухла.

Флотскую фуражку с белым чехлом на лоб надвинул и ни на кого не хочет смотреть. Какие мысли в это время копошились в графской голове? К удивлению всех, он ни разу не выкрикнул своей обычной команды, чтобы фалы потянули. Только через час выяснилось, чем была занята его голова. Он приказал вахтенному отделению выстроиться во фронт на пикафуте. Граф спустился с мостика, обвел глазами вытянувшихся матросов и спросил:

— Кто из вас любит сосиски?

Все в недоумении молчали. Тогда он отобрал из фронта шесть матросов, какие ему лицом не понравились, и приказал им сесть на шестивесельную шлюпку. С корабля им подали буксирный трос, закрепленный за килехт. Когда все было приготовлено, граф с мостика крикнул, держа перед губами мегафон:

— На шестерке! Весла на воду!

И вот шесть человек начали буксировать броненосец водоизмещением почти в пятнадцать тысяч тонн. При полном безветрии некло солнце. Изгибались гребцы, разноцветно вспыхивали лопасти весел. От бортов шестерки разбегалась сияющая рябь. Что переживали ни за что, ни про что наказанные матросы? Они были выставлены на посмешище. Оскорбление их увеличивалось еще тем, что они запылались бессмысленным делом. Это все равно, как если бы заставили шесть комаров тащить за волосы человека. Большинство команды вышло на верхнюю палубу. Всем обидно было за своих товарищей, но никто не мог прекратить издевательство графа. И некоторые офицеры возмущались его поступком. Ведь им тоже было стыдно за свое судно. Генуя — мировой порт. Сотни кораблей стояли под флагами разных наций. Со многих из них смотрели в бинокль на такое нелепое зрелище. Сначала они, вероятно, не понимали, в чем дело. Тысячи таких шлюпок не могли бы сдвинуть с места броненосец, стоявший на якоре. А тут русские хотят что-то сделать при помощи только одной шестерки. Потом-то, конечно, они догадались, что это своего рода наказание для матросов. Сам граф «Пять холодных сосисок» остался доволен своей затеей: ходит себе по мостику, как жепих, и закручивает усы в колечки. По временам и он надрывлял мегафон на шестерку и кричал:

— Эй, вобла! Понавались на весла!

Вечером за выливкой я подробно рассказал командиру, как граф издевается над матросами. Это задело командира за живое. Он раздраженно, словно обидели его лично, сказал:

— Давай книгу приказов!

Никогда раньше он не писал так свирепо, как на этот раз. И откуда только такие умные слова у него нашлись. Матросов он возвеличил, назвал их защитниками родины, а графа «Пять холодных сосисок» некромсал и за нарушение правил Морского устава приговорил его к трем суткам ареста в каюте с приставленным к нему часового. И вообще этим приказом командир запретил всем офицерам заниматься мордобойством. На следующий день приказ прочли на шанцах во всеулышание. И я присутствовал при этом. Интересно было наблюдать за графом — стоял он мертвенно-бледный, склонивши голову. Ведь впервые его так огорошили. Он пошел к себе в каюту, ни на кого не глядя.

С этого дня у нас на судне прекратилось безобразие, и начальство перестало заниматься рукоприкладством. Команда еще больше полюбила своего

командира и готова была за него пойти в огонь и воду. Ученше шло на судне как нельзя лучше. Всюду наблюдалась образцовая чистота.

Дня через три мы спялись с якоря и ушли из Генуи. Броненосец наш направился к берегам Сицилии. Стояла тихая погода. Средиземное море обошлось с нами, как старый друг. С эскадрой наш «Святослав» соединился в Палермо. Город чистый, приятный и, как показалось мне, небольшой, по в нем — сотни церквей. И кто только молится в них! В особенности мне понравился старинный собор. Весь он как будто воздушный и стоит более шестисот лет. Это объяснил мне мой приятель, машинист самостоятельного управления Григорьев. Очень умный парень. И с ним гулял в городе и в окрестностях Палермо. Мой приятель много рассказывал мне о церквях и здоровье высмеивал итальянских попов и монахов. Но выходило так, будто он разделял православную религию. Ядовитый человек! От него же я узнал, что около Палермо когда-то высадился Гарибальди, знаменитый итальянский патриот. При нем была только одна тысяча волонтеров. Но Гарибальди не побоялся с ними начать войну против австрийского и папского ига. Отряд волонтеров начал обрастать восставшими крестьянами, и Гарибальди победил. Я подумал: «Может быть, со временем и у нас найдется подобный вождь и установит в России другие порядки». В окрестностях Палермо застыли высоченные горы. В одной из них мы осмотрели пещеру Дюссоново ухо. Громадных размеров она. Григорьев мне объяснил, что в ней запирали на ночь рабов. До двадцати тысяч помещалось их там. И вот что удивительно: в этой пещере такое эхо, какого нигде нет. Скажи вслух слово, и вверху точно гром раздастся. Даже от шелеста бумаги такой шум поднимается, как от бури в лесу. Эта пещера похожа на раковину уха. Рабов нарочно запирали туда, чтобы они не устроили заговора против своих господ. Наверху были устроены такие оконечки, через которые можно было услышать все, что делается в пещере, — даже шопот людей. Вот что придумали богачи для бедняков. Но я отвлекся. Вернусь к своему кораблю. Присоединились мы к своей эскадре рано утром и стали на якорь. После подъема флага в офицерской кают-компании начался завтрак. Подали сосиски с капустой. Офицеры многозначительно переглянулись. Граф заметил это и сейчас же позввал к себе вестового.

— Пу-ка ты, вобла! Передай повару, чтобы он приготовил для меня два яйца всмятку, а эту дрянь убери, — сказал он и показал на тарелку с сосисками.

Некоторые из офицеров заулыбались, другие громко фыркнули, а один мичман промолвил:

— Да, сегодня мне полали сосиски холодные, как пальцы в мороз. Противно даже дотронуться до таких сосисок.

Мать ты моя родная, что тут случилось с графом! Точно паранули его по самому сердцу. Он вскочил, обвел всех офицеров помутившимися глазами и громко заявил:

— Это низость! Я не могу больше находиться среди такого общества!

И убежал к себе в каюту. В кают-компании начался переполох. Офицеры сочли себя оскорбленными: все встали и запротестовали против такой выходки графа. Поднялся невообразимый галдеж. Старший офицер, как хозяин кают-компании, начал успокаивать их. Некоторые из них угрожали вызвать графа на дуэль. Кончилось тем, что они написали командиру рапорт: просят его

разобрать это дело. Граф в свою очередь написал ему рапорт, в котором заявлял, что заболел и просит освободить его от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, от него был послан начальнику эскадры донос. Получился сложный переплет. Все офицеры были настроены против командира за то, что он очень круто начал подтягивать их по службе. Но здесь по крайней мере преследовалась та цель, чтобы подготовить боевую мощь корабля. А «Нять холодных сосисок» ни за что, ни про что презирал их, хотя у самого графа, кроме графской спеси, ничего не было за душой. Мало того, он нанес им оскорбление. В конце концов они взяли сторону командира. Они думали, что он придирается к ним во имя долга службы. И каждому было видно, что порядки на корабле несравненно улучшились. Поэтому и авторитет командира стал среди них постепенно подниматься.

Вечером за вышивкой барин обратился ко мне:

— Ну, Захар, пазревает большой скандал. Граф не оставит этого дела так. Он и в Петербурге начнет пажимать клопки.

— Несважно, ваше высокоблагородие. Вы честно поступили. А честность должна быть выше всего на свете. Ни одного командира команда не любила так, как вас. А графу нет больше жлзни на корабле. Придется ему уволиться на другое судно.

— Да это я к слову сказал. А мне наплевать на этого выродка.

Я разыскал тех матросов, над которыми издевался граф, и рассказал им, что, может быть, к нам придет начальник эскадры. Они должны будут заявить претензию на своего обидчика. Сам командир будет только рад этому.

На второй день к нам приехал начальник эскадры, адмирал Железнов. Офицеры и команда выстроились во фронт на верхней палубе. Командир от- рапортовал ему, что на судне обстоит все благополучно: офицеров столько-то, из них один больной, граф такой-то, команды столько-то, из них больных никого нет, потом — сколько у нас имеется запасов угля, машинных материалов, пищи. Адмирал сначала поздоровался с офицерами, а затем — с командой. Мы в ответ отрезали ему:

— Здравья желаем, ваше гптество!

Я смотрел на адмирала с особым интересом: сравнительно с другими он был молодой, имел тонкие и немного изогнутые губы, глаза черные, пропизительные и нос с горбинкой. Он играл густыми бровями и постоянно щупал свою острую бородку, словно хотел убедиться — на месте ли она. Голова у него поворачивалась с такой быстротой, как будто он хотел что-то внезапно увидеть. Чувствовалось, что это деловой адмирал и хорошо соображает. Такие же отзывы я слышал о нем раньше от офицеров и матросов. Мне он понравился, может быть потому, что моя Валя похожа на него — вылитая копия. Никаких сомнений не было, что он ей — родной отец. Значит, теца говорила мне правду. В моей голове заиграла шальная мысль — влйти из фронта вперед и заявить:

«Ваше превосходительство! Официально вы имеете двух детей. Вы с ними живете, вы заботитесь о них. А знаете ли вы, что они не вашей крови? Настоящие их отны где-то гуляют и несколько не думают о своих детях. Но у вас есть родная дочь. Она родила вам замечательного внука. Вы — мой тесть, а я — ваш зять. Давайте по-хорошему пожмем друг другу руки...»

Что было бы с адмиралом, если бы я на самом деле так сказал? Вероятно, он сошел бы от ужаса с ума, а меня сбросили бы в тюрьму. Людям скорее нужна бесстыдная ложь, лишь бы прикрыть ее позолотой. А правда — она колючая, как иглы ежа.

Адмирал приказал приготовить судно к осмотру. Все матросы разбежались по своим местам. Может быть, он думал увидеть грязь, а тут пылинки нигде не найдешь. Все отделения были чисты, как царские палаты, все модные части настолько были начищены, что своим блеском резали глаз. Некоторым из команды адмирал задавал вопросы по их специальности, а те отчеканивали ему, как будто читали молитву «Царю небесному». Пробили все тревоги: боевую, пожарную и водную. Каждый человек знал, куда ему бежать, и каждый знал, что ему делать. Вышло как нельзя лучше. Адмирал сказал командиру:

— Попробуйте поставить пластырь. Предположим, что корабль получил пробойну с правого борта, против первой дымовой трубы. Начиайте действовать.

А у нас давно уже начали заниматься практическим учением с постановкой пластыря. Командир отдал распоряжение. Засвистали дудки. Раздалась команда, какая полагается. Матросы во главе с боцманом ринулись к пластырю, в один миг притащили его к указанному борту и развернули. Получилось огромное парусиновое полотнище. Без единой заминки пластырь был опущен за борт и прилажен на место предполагаемой пробоины. Ну, что ни сказал бы адмирал, — все выходило хорошо. Ни к чему не мог придраться. По глазам было видно, что он остался всем доволен. Но не сказал ни слова. А я радовался за свой корабль больше всех. Мне казалось, что в этот день на мою долю выпало самое большое счастье. Адмирал приказал выстронить нас на верхней палубе во фронт. Сначала мы получили от него благодарности за отличное исполнение своих обязанностей. Потом он удалил всех офицеров, а сам пошел вдоль фронта и начал допрашивать:

— Пет ли, братцы, у кого-нибудь претепзий?

Посыпались жалобы на графа «Пять холодных сосисок». Человек двадцать заявили претензию. Они все рассказали адмиралу, как с ними обращается граф. Не понравилось это начальнику эскадры, но все-таки он приказал своему флаг-офицеру все записать. И все наши офицеры подтвердили ему, что действительно было так. После этого он отправился в каюту графа. О чем они толковали — неизвестно. По-настоящему, нужно бы отдать графа под суд. А ну-ка попробуй! У него такие связи при царском дворе. Адмирал понимал это больше других.

В этот день все у нас получилось замечательно. Только я один напоследок подгадил. И до чего же это нелепо произошло! Командир послал меня за старшим боцманом. Настроение у меня было радостное, и я попелся по офицерскому коридору, как молодой жеребенок. А в это время адмирал вымолил из графской каюты. Я с разбега и ударился всем корпусом о дверь, а она так хлопнула по голове адмирала, что у него даже фуражка слетела. Он в пелуге вскрикнул:

— Это что такое, черт возьми!

Ну, думаю, кончилась моя служба. Вытупился я, правую руку к бескозырке подбросил. Наступил такой момент, как будто меня лишили воздуха,

и мой голос прозвучал, как у молодого петуха:

— Виноват, ваше превосходительство.

Адмирал рассвирепел:

— Ты что же, негодяй, вздумал начальство бить? Под суд отдам!

А сам все потирает рукой лоб.

Опомнился я и соображаю, что нужно как-нибудь вывертываться:

— Позвольте доложить, ваше превосходительство. Командир послал меня за старшим боцманом. А я всегда все его приказания исполняю бегом. Вот невзначай и хлопнулся о дверь и вас ушиб. Простите, ваше превосходительство.

Адмирал вызывает командира и сердито спрашивает:

— Что это у вас за матрос такой, который адмиралам наставляет шныжки на лоб?

Я, как подсудимый на свидетеля, смотрю на Лезвина — что он скажет? На его лице никакой растерянности. Он смело, словно разговаривает с равным, отвечает ему:

— Как командир корабля должен вам сказать, ваше превосходительство. Это лучший слуга царю и отечеству.

Адмирал сразу смягчился:

— Так. Все же прочтите этого матроса не мешает, чтобы следующий раз бежал осторожнее. Посадите его на пять суток в карцер.

Я с благодарностью взглянул на своего тестя: дешево удалось от него отделаться.

Он отбыл на свой корабль.

На второй день граф «Пять холодных сосисок» уехал в Петербург, якобы по болезни. Молодец адмирал! Ловко придумал выход.

Вечером у нас на шканцах прочли приказ. Адмирал благодарит в нем командира, господ офицеров и всю команду за образцовый порядок на «Святославе». Дальше говорится, что и в боевом отношении наш броненосец стоит на большой высоте. В заключение адмирал приказывает командирам других судов побывать на «Святославе» и поучиться у капитана 1-го ранга Лезвина, как управлять кораблем.

Когда читали этот приказ, я в карцере сидел, но мой барки сейчас же освободил меня досрочно.

XIII

Два пьяных матроса вошли в парк и нескладно запели непристойную песню. Они шли медленно, покачиваясь и поддерживая друг друга. Патруль арестовал их обоих. Пьяные матросы запротестовали, начали ругаться и готовы были полезть в драку. Но на шум подошел офицер и буянов отвел на гауптвахту.

— Вот горе с этим пьянством. Теряют люди разум и не умеют держать себя. Теперь попадет им обоим. — с досадой промолвил Псалтырев и промолвил прерванный рассказ о своем суде.

Без графа жизнь у нас налаживалась как нельзя лучше. Офицеры под давлением командира перестали пускать в ход кулаки, с командой стали жить

дружнее. Оставалось только радоваться, глядя на корабельные порядки. Но произошло такое темное дело, которое на всех нехорошо повлияло.

Как известно, на каждом корабле найдется матрос — любимец всей команды. Таким у нас был рулевой Панфил Чудаков. Обыкновенно всех матросов на судне называют по фамилии, а этого просто — Папфилка. Унтера, боцмана и даже офицеры окликали его только по имени. Как говорится, маленькая собачка до старости щенком. И Папфилка уже прослужил во флоте более пяти лет, а все казался подростком. Приятное личико его было моложавым и всегда румянилось, на верхней губе едва пробилась русые усики. По своему живому характеру и подвижности он напоминал белку. Но части пляски — цыгану не уступит. Ну, и на гармошке сыграет — заслушаешься. На корабле, где Папфилка, там радость и смех. Посади такого человека за тюремную решетку — он все равно не будет унывать. Всюду он свой человек. Начнет вышучивать недостатки своих товарищей, и шутко не имеет против него какой-либо обиды. Своей умильной улыбкой он гасит ее, как вода гасит пламя. И перед начальством всегда у него найдутся слова. Однажды его останавливает лейтенант Подперщипыл, показывает на верхушку мачты и спрашивает:

— Ты видишь, Папфилка, на самом клэтике комар сидит?

Папфилка поднял голову, потом смотрит широко-веселыми глазами на лейтенанта и отвечает:

— Так точно, ваше благородие, вижу. Да он еще на правый глаз кривой. Вероятно, комаришка всерьез изувечила своего мужа.

— Молодец, зоркость у тебя отличная, — смеется Подперщипыл.

Папфилка и перед старшим офицером не стеснялся. Когда мы стояли в Малермо, тот отпускает его на берег и говорит:

— Хороший ты у меня матрос, но усы у тебя паршивенькие.

— От родителей это у меня, ваше высокоблагородие. Будь я вашим сыном, я имел бы усы, похожие на бараныи рога. Одну девушку целовал бы, а семеро падали бы в обморок.

За такой ответ старший офицер другого матроса посадил бы в карцер или наградил бы его зуботычинами, а Папфилке и это сошло с рук. Из начальства ненавидел его только граф «Пять холодных сосисок». Ведь это Папфилка, будучи вестовым у него, брякнул ему насчет умных офицеров. Хорошо, что командир повлиял на суд. А то бы граф упер этого матроса в арестантские роты.

Словом, такие люди, как Папфилка, украшают жизнь, словно цветы.

Совсем другим у нас был кок Жеребцов. Великан! Не руки у него, а медвежьи лапы. Шея толстая, подбородок почти нет. Лицо неподвижное, как маска, сверху оно расширено, и над ним навис огромный лоб, точно камешный балкон. Глаза неопределенного цвета и неживые, как свиновые. Между бровей большая бородавка, бурая, корявая, похожая на пробку от бутылки. Неряшливый и забывчивый, он все же пищу готовил неплохо — матросы были им довольны. Но такой он был скучный человек, что даже Папфилка не мог его развеселить. Улыбнется только одним уголком рта и молчит. Однако жили они, повидимому, дружно. Никому кок не давал таких хороших костей поглощать, как Папфилке, — с мясом и мозгом.

Жеребцов прославился у нас одной странностью. Залай ему какой-нибудь вопрос — он обязательно должен сначала дернуть себя за нос, а потом уже

ответить. Без этого никак не может обойтись и будет стоять и молчать, как фонарный столб. И с начальством у него так выходило. Ему за это не раз попадало. Получалось — когда он дернет себя за нос, то в его сознании вроде как черная шторка поднимается, и все становится ему ясным.

И вот, однажды что случилось. Было тихое утро. На сием небе ни одного облачка. Невысоко над горизонтом висит яркое солнце. На море ни одной морщинки, точно оно помолодело за ночь. Вдыхаешь свежий воздух и чувствуешь во всем теле такую бодрость, как будто солнце вливает в тебя новые силы. Кругом разлита сияющая радость, хочется петь песни. В такое утро кажется, что ты никогда не состаришься, не умрешь и будешь жить вечно молодым.

Команда уже позавтракала. На верхней палубе идет уборка. Около камбуза на дубовом чурбале кок Жеребцов рубит на части бычью тушу. Я стою поблизости и люблюсь его здоровенной фигурой. На нем все белое — фартук, колпак, куртка. В его руках тяжелый топор с очень широким лезвием. Такие топоры бывают только у мясников. Когда кок резко опускает его на чурбан, то скалит зубы и шумно выдыхает:

— Гха!

Только что кончил он разрубать мясо, как около камбуза появился Папфиляк.

— А ну-ка, кухонная чумичка, можешь ты мне с одного взмаха отрубить голову? — пошутил весельчак.

Кок покоился на Папфиляку свищевыми глазами, дернул себя за нос и мрачно ответил:

— Клади голову на чурбан.

Смотрю — Папфиляк становится на колени и кладет голову на чурбан. Лицо у него повернуто в сторону моря. Солнце светит ему прямо в глаза. Он шурится и восторженно улыбается, показывая белые, как редька, зубы. Глядя на него, улыбаются и матросы. Кок берет огромный топор и высоко взмахивает его над собой, точно берет ним действительно бычья голова. В таком грозном виде он уставился на тонкую шею матроса и как будто замер. Мне показалось, что глаза у него помутнели. Все были уверены, что это только шутка, и все-таки стало так страшно, что у меня остановилось дыхание. Вдруг Жеребцов оскалит зубы, блеснуло в воздухе лезвие топора, и я восторженно услышал привычный звук:

— Гха!

И голова Папфиляки отлетела прочь, ударилась о палубу и покатилась по ней, как футбольный мяч. Туловище перевернулось раза два и осталось лежать неподвижно около чурбана. Палуба окрасилась кровью.

Крик ужаса вырвался у матросов.

Мне показалось, что я проваливался в бездну. Закачалась палуба под ногами, запрыгали вокруг люди и судовые предметы. Но это было только мгновение. Корабль стоял на якоре. Жарко светило солнце. Суетились лишь матросы и громко галдели. Я взглянул на Жеребцова. Он выронил топор из рук и не сошел с места. Лицо у него окаменело, нижняя челюсть отвалилась, рот раскрылся, помутившиеся глаза удивленно уставились в окровавленный чурбан. В этот момент кок, по видимому, и сам не понимал, что случилось.

Матросы побежали за пачальством. Вскоре исполнился весь корабль. Люди спешили на верхнюю палубу. Я бросился вниз, в каюту своего командира, чтобы доложить ему о событии. Когда он услышал от меня такую странную новость, у него затряслась ржавая борода, а глаза налились кровью, как у бешеного быка. Мы побежали по трапу на верхнюю палубу. Он так шумно дышал, точно ему нехватало воздуха. А около камбуза собралось пропасть парюгу — и офицеры, и матросы. Перед командиром все расступились. Жеребцов попрежнему стоял на одном месте, словно его припаяли к палубе. Командир увидел кока и заорал не своим голосом:

— А-а, это ты, убийца! Становись, подлец, на колени! Клади голову на чурбан!

Кок покорно исполнил его приказ. Командир схватил топор и, так же как и Жеребцов, высоко поднял его над собой. Вокруг все затихло, затаили дыхание, как на высочайшем змотру. Еще момент — отлетела бы и другая голова. Меня точно какая-то сила толкнула вперед — я выхватил у командира топор. Он повернулся ко мне и зарычал:

— Да как ты смеешь! На каторгу упеку!

— Куда угодно упекайте, а топор я вам не отдам, — твердо ответил я.

Вдруг лейтенант Подперчицын загородил меня и заявил командиру:

— Господин капитан 1-го ранга! Что вы делаете? Опомнитесь!

И командир действительно точно очнулся от бреда. Посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на кока. Тот продолжал держать голову на чурбане.

— Арестовать убийцу! — строго и трезво приказал командир и направился к себе в каюту.

Всех точно прорвало: поднялся невероятный крик. Кок хотел убить и выбросить за борт. Офицеры вызвали наверх караул. Все это чуть не кончилось бунтом. Когда, наконец, повели Жеребцова в карцер, у него в сознании как будто наступило прояснение. Он замотал головой и заревел истошно и надрывно, точно раненый медведь.

Сейчас же о событии сообщили по семафору адмиралу. Немного времени спустя к нам на броненосец со всех кораблей съехались старшие врачи. Им было приказано исследовать кока — сумасшедший он или нет? Лейтенанту Подперчицыну командир поручил вести следствие по этому делу. Но все опичего не добились от Жеребцова. Он лишь одно твердил:

— Я сам не знаю, как это вышло.

Доктора допрашивали команду, как он вел себя раньше и не было ли в его поведении каких-нибудь странных случаев. Матросы считали его хоршим коком и вполне нормальным человеком. Водки он не пил, ни с кем не скандалил, в драках не участвовал. Только иногда у него бывали заскоки в голове. Однажды пужно было ему приправить борщ. Он порезал сало, поджарил его с луком и оставил в сторону, а в котел положил свой фартук. Но тут же младший кок вытащил фартук обратно. В другой раз так вышло. Была команда всем паверх и выстроиться повахтенпо. Жеребцов выскочил на палубу в кальсонах и стал во фронт. Кругом столько смеху было, а он стоит и не замечает, что у него пет брюк. Сейчас же его посадили на пять суток в карцер. После отбытия своего наказания он взял свои кальсоны, изрезал их на

мелкие доскуточки и выбросил за борт. Узнали доктора и о том, как он держит себя за нос.

Ночью командирпил водку больше обычного. Видать было, что это убийство повлияло на него очень сильно. Он часто хватал себя за голову и говорил:

— Психологическая загадка. Доктора объясняют так: при рубке мяса движения рук у кока исполняли работу помимо воли, механически, а задерживающие центры в его мозгу ослаблены. Из таких субъектов выходят самые страшные преступники. Теперь будут исследовать у преступника спинной мозг. Подзревают сифилис. А в общем ему давно бы нужно быть не на судне, а в доме для умалишенных.

Командир никак не мог успокоиться:

— Я сам чуть не стал убийцей. Какой ужас! Что со мною случилось?

И растерянно разводил руками.

— Ну, спасибо тебе, Захар, что ты вырвал у меня топор. Совершилось бы страшное дело. Давай выйдем за упокой души Панфилки. Хороший был матрос.

Впоследствии кока все-таки судили. Все думали, что его сошлют в Сибирь на каторгу. Но на суде пашли у него какую-то душевную ненормальность и приговорили его только к церковному покаянию. Сорок дней он должен быть на хлебе и воде и класть перед иконами по сто поклонов в день. С корабля он был списан в психиатрическую больницу для лечения. Он твердо решил: как только вырвется со службы, то уйдет в монахи замаливать свой страшный грех.

Мне больше всего досадно, что командир подорвал свой авторитет. Зачем он схватил топор и хотел отрубить голову Жеребцову? Теперь офицеры похорошо говорят о моем барине, считают его тоже ненормальным. Ну, ничего — потом все это сгладится...

Псалтырев вдруг вскочил и стал прощаться со мною:

— До свиданья, друг. Наш катер подходит к пристани. Через недельку зайду к тебе в экипаж. Поговорим еще.

Склонив вперед голову, он запагал по холодной осенней земле так уверенно, словно был ее хозяином. Ветер играл спускавшимся с его фуражки ленточками. Я остался один в размышлении о дальнейшей судьбе этого талантливой и своеобразного человека, так непохожего на других матросов.

XIV

Вместе со своей ротой мне пришлось попасть в манеж, где было устроено для команды развлечение. Здесь же находились матросы и с других кораблей. Я сидел на краю скамейки в одном из передних рядов и смотрел, что делается на сцене.

На мое плечо легла чья-то рука. Я поднял голову и увидел своего друга Захара Псалтырева.

Гуляя со мной во время антракта, он с печалью сообщил:

— Барина-то моего отставили от командования броненосцем. А ведь как здорово было поставлено дело на «Святославе». Лучший корабль во всем флоте. И благодарность адмирала не помогла. За что, спрашивается, такая напасть на человека? Подвел командира граф «Пять холодных сосисок». Он каким-то

родственником приходится великому князю. Наверное, бывают и умные графы, а у этого ничего нет, кроме слесн. И все-таки отомстил командиру. Мне об этом сам барин рассказывал.

— А как твои науки? — спросил я.

— Барин достал мне алгебру. Зубрю в свободное время. Трудное это дело, по обязательно ее одолею. Он мне дал еще учебники по географии, истории, ботанике, зоологии. Наказывает, чтобы я учился, а сам несколько не помогает. У нем есть, что рассказать. Удивилшься ты, если узнаешь, как мы живем.

И уговорил Псалтырева погулять по городу. Ночь была тихая, с легким морозом. Мы прохаживались по глухим и пустынным улицам. Я внимательно слушал своего друга.

— Барин дружит со мною пуще прежнего. Без меня, должно быть, скучно ему и поговорить не с кем. Офицеров он ненавидит, друзей у него никого нет. Кроме как по делам службы, он ни к кому не ходит и у него никто не бывает. Ну, и приходится ему отводить душу со мною. Днем он попрежнему енит, а ночью выпивает. Теперь уж трудно ему остановиться.

Новый фокус он придумал: как только я приготовлю выпивку и закуски, сейчас же приказывает мне наряжаться в его мундир, в крахмальную сорочку, в ботишки. Фигуры у нас подходящие, только он телесами полнее меня. Приходится мне что-нибудь подвертывать на живот, чтобы мундир лучше обтягивал мой корпус. И вот в таком виде взглянул я первый раз в зеркало и удивился: чем я не капитан 1-го ранга? Даже страшно смотреть на самого себя. Хочется руку поднять к козырьку, чтобы честь отдать. Командир наказывает мне больше не величать его «ваше высокоблагородие», а называть Василием Николаевичем. И меня он называет по имени и отчеству — Захар Петрович. И вот мы сидим за столом, как будто оба равный чин имеем, водку пьем, закусываем и разговариваем между собою.

Иногда он приказывает привести к нему женщину. В нашем городе сколько угодно таких заведений, откуда любую женщину можно взять, — только денег не жалеет. Разные бывают у нас: блондинки, брюнетки, рыжие. Каждую такую особу он угощает вином и закусками и ухаживает за нею, словно за настоящей барыней. Она смеется, всячески его раззадоривает. А он никак не поддастся на соблазны и не позволяет себе не только дотропнуться до нее, но и лишнего слова сказать ей. И она, видя такое обращение с нею, в свою очередь начинает изображать собою певичную девушку. Я смотрю на них и удивляюсь: за что, спрашивается, я расплачиваюсь за нее его же деньгами? Десять целковых! Две таких суммы и в деревне можно бы купить корову. И каждый раз такая игра продолжается до полночи и дольше, а потом Василий Николаевич начинает извиняться перед женщиной, что у него якобы сменная работа. На прощание он обязательно поцелует у нее руку, как это полагается у господ. Я думаю, что все это он делает в отместку своей жене. Повидимому, она сильно задела его за живое, и никак он не может успокоиться. А мне со стороны смешно и обидно смотреть на всю эту канитель. Другое бы дело было, если бы он при своей жене стал ухаживать за продажной девицей. Получилось бы, что он ставит ее наравне с барыней, и это оскорбило бы ее до слез. Но если она ничего этого не видит, и ничего об этом не знает, то зачем

же выкидывать такие помера? Только для обмана самого себя. Вот что значат господа — они и мстят как-то по-особому, не так, как крестьяне. Словом, всегда так барин чудит. А послушать его — вроде как умный человек.

Когда мы сидим с ним вдвоем, то больше всего говорим о русском флоте. Но к этому переходим не сразу. Начинается с того, что Лезвин берет чайный стакан водки, чокается со мною и говорит:

— Ваше здоровье, милейший Захар Петрович.

Я чуть-чуть склоняю голову и отвечаю ему:

— Будьте уверены, добрейший Василий Николаевич.

Он опрокидывает в себя полный стакан водки. И я для аппетита хвачу немного. Закусываем и говорим о разных пустяках. В окна барабанит косяой дождь или снежная крупа. Мы оба недовольны затянувшейся осенью. И тут же с радостью вспоминаем, как плавали под тропиками. Чужесное было время. Оно кажется нам солнечной сказкой. Эх, эти всплески волн и голубые просторы морей! Никогда не забыть о них. Лезвин еще выпивает стакан водки. Потом он жалуется, что в нашем городе нет приличных портных, поэтому заказы на хорошую одежду приходится отдавать в Петербург. Так мы с командиром некоторое время и ходим вокруг да около. И только после трех стаканов он принимается за флот. Он сразу начинает яриться и уже объясняется без дураков.

— Да, Захар Петрович, с такими порядками не создание боевой морской силы. Мы жалкие подражатели Запада. А своего у нас ничего нет. В верхах, за исключением немногих, сидят одни бумажные волокитчики, лентяи и невежды. Они умеют только грабить казну. На это у них хватает и старания, и хитрости. В случае войны — нам любая нация наломает ребра.

Я подкакиваю командиру и стараюсь говорить по-ихнему:

— Правильно, Василий Николаевич, извольте выражаться. Куда наш флот годен? Только для смотров. И воры, большие и малые, присосались к нему, как черви к капусте. Возьмем для примера нашего экипажного казначея, титулярного советника Спирина. Жалованья он получает около ста рублей. А построил себе три каменных дома. Откуда взял такие капиталы? Флот ограбил. А сколько у нас таких разных спириных развелось? И все они доят наш флот, как гуляющую корову. А за какие заслуги произвели Вислоухова в контр-адмиралы? Командиром современного крейсера и то не мог бы быть. А ему доверяли командование целой эскадрой.

При упоминании о Вислоухове мой барин даже дернулся, а потом выпил стакан водки, закурил ветчиной и сердито заговорил:

— Двоюродная сестра у него служит при дворе фрейлиной. А она его любовница. У нас всегда так бывает: кто-нибудь и кого-нибудь тянет за шиворот в высокие чины. Способности человека не принимаются в расчет. Но самое зло, любезный Захар Петрович, ютится под золотым шипцем — в Главном морском адмиралтействе. Нужно весь этот современный Вавилон разрушить до основания, а все начальство разогнать за пять тысяч верст. Разогнать так, чтобы их духом не пахло. После этого уже взяться за тех, кто пониже, вроде чиновника Спирина и контр-адмирала Вислоухова. Этих сослать за тысячу верст. Вот тогда только можно приняться за создание настоящего боевого флота...

И видел одиночество барина, и мне было жалко его. Сколько он учился, сколько мыслей у него в голове! А нет никакой пользы от этого. Угасал этот человек на моих глазах. Шикарные науки его уже не интересовали. Он даже перестал прикасаться к своим книгам. Я за него пользуюсь ими. А он читает только отрывной календарь, да и то лишь когда ложится в постель.

Однажды мне особенно бросилось в глаза, насколько постарел и поблек Лезвин в сравнении с тем, как впервые я встретил его. Денег он расходует уйму, а удовольствия никакого не имеет. Впустую прожигает остатки своей жизни и обманывает разными причудами самого себя. А ведь в деревне только одним его месячным жалованьем можно было бы поднять любое захудалое хозяйство. Вспомнилась мне родная семья, где каждая копейка на учете, и я задумался. Лезвин заметил это и спросил:

— Вы что, Захар Петрович, голову повесили?

— Размышляю, Василий Николаевич.

— О чем?

— Очень хитро жизнь построена.

— Чем же хитро?

— А вот взять для примера деревню. Крестьянин ухаживает за своей коровой, заботится о ней, а добытое от нее масло он не кушает. За него покупают это в городе, те, что совсем коров не имеют. А он будет копить деньги, чтобы купить железные шины на колеса. Или, скажем, вырастит он свинью, а доставит ее ему от нее один потроха. Свинопка же вся пойдет в город. Видите ли, ему седелку нужно купить, топор, косу, не считая того, что с него еще подати требуют. Так же и жена его поступает. Разводит она кур, собирает от них яйца. Никто ей не запрещает накормить яйцами своих детей. Очень вкусная и полезная пища. Но этой крестьянке дозарезу необходимо выручить полтинник, чтобы платок на голову купить. Идет она в лес за ягодами. Иная земляничка, выросшая на солнышке припеке, так и рлет — сама просится в рот. Но баба не съест эту ягоду, а обязательно положит ее в кувшин или в тес. И когда вернется домой, она и своих любимых детей не накормит ягодами. Она лучше снесет ягоды на железнодорожную станцию. Почему? Да потому, что на соль нет денег. А ведь эти яйца, масло, свинина, куры, ягоды и другие вкусные и полезные продукты не охраняются никакими часовыми. Пожалуйста, пусть крестьяне едят этого сколько угодно. Никто им не запрещает. Но будьте спокойны, они заготовят свои желудки квасом и картошкой, а что получше приберегут для богатых. И добро было бы, если бы богатые, в свою очередь, снабжали их тем, что производится в городе: обувью, одеждой, косилками, плугами, молотилками. Но ведь этого ничего нет. Деревня почти обходится одними своими изделиями. Вот я и думаю, Василий Николаевич, разве не хитро жизнь построена?

Мой барин нахмурился.

— Не стоит, Захар Петрович, рассуждать об этом. И без того тошно жить на свете.

Так вот я и провожу со своим барином каждую ночь. О чем только мы не разговариваем? Но больше всего падаем на флотские порядки. Лезвин лет-лет да и хлопнет стакап водки. Под утро делается черным, как чугун. Приказывает мне:

— Ну, пора кончать всю эту музыку.

Вижу — барин мой дозрел. Я разоблачаюсь и надеваю свою матросскую форму. И таким манером из меня опять получается вестовой. Я веду барина в спальню. Он валится на пружинистую кровать и говорит мне:

— Захар, раздень меня.

Однажды уложил я его в кровать, прикрыл одеялом, а он смотрит на меня помутившимися глазами и бормочет:

— Ты, деревенская изва, понимаешь, что́ говоришь?

— Я не знаю, что́ вы имеете в виду.

— Твои рассуждения. По-настоящему, я давно бы должен отдать тебя под суд. Я чувствую, что в твоей голове пазревают страшные мысли. Придет время, когда ты начнешь офицеров и адмиралов выбрасывать за борт. И таких, как ты, много развелось во флоте.

Я насторожился, но улыбаюсь и отвечаю:

— Никаких особенных мыслей у меня в голове нет, Василий Николаевич. Думы мои только о деревне. Копчу службу, опять пачну пахать землю. Где уж нашему брату чай пить. Нам бы хоть сахарку погрызть, и то слава богу.

— Да, да, сахарку погрызть, — повторяет Лезвин. — Тем более, что зубы у тебя крепкие, как и твоя голова. А потом потянет на какао с пирожным.

И уже дружески добавляет:

— Но все равно я никому не дам тебя в обиду. Посмотреть бы, что из тебя получится. Пока, Захар, размышляй. Дай мне отрывной календарь.

На втором листке он обыкновенно засыпает.

Из манежа повалили матросы. Время моей гулянки истекало. Я распрощавшись с Псалтыревым и спешно зашагал в экипаж, чтобы не остаться петляком.

XV

Псалтырев был арестован при страшных обстоятельствах. Во всех экипажах среди офицеров и матросов много было разговоров вокруг этого события. Одни уверяли, что он отравил своего барина, чтобы ограбить его, другие отрицали это и выдвигали другое соображение — он просто с ума сошел. Находились и такие, по мнению которых, он будто хотел офицерским кортиком перерезать все экипажное начальство. Некоторые применяли здесь политику. Словом, произошел какой-то загадочный случай, всколыхнувший моряков. Судьба друга моего очень беспокоила. Но толком я я не знал, в чем дело, не знал до тех пор, пока он сам, освобожденный уже из-под ареста, не рассказал мне об этом, сидя у меня на койке.

— Вот, друг, какие дела в жизни бывают. Правильно говорится в пароде: «От сумы да от тюрьмы не отказывайся». И я чуть за решетку не угодил. А вышло это так. Вечером, как и раньше это бывало, накрыл я стол, приготовил выпивку и закуски, а потом сам нарядился в мундир своего барина. Уселись мы на стулья друг против друга. У нас обоих на плечах красовались золотые эполеты, как будто мы только что вернулись с парада. Лезвин на этот раз был настроен мрачно, словно он предчувствовал что-то недоброе. Спа-

чала мы вышнвали и закусывали молча. Только когда чокались, то приветствовали друг друга хорошими словами. Потом кое-как разговорились. Я заметил, что в трезвом виде у него память слабеет — иногда обрывает он свою речь на полужразе. Но стоит только выпить ему стакана два водки, как сразу мозг у него проясняется. Я тогда с удовольствием слушаю его и набираюсь уму-разуму. Я, конечно, тоже не молчу. И в этот вечер я рассказал ему, как мне удалось побывать на всеобщей исповеди Иоанна Кронштадтского и что в это время пришлось видеть и слышать. Лезвин угрюмо промолвил:

— Я встречался с ним несколько раз. Неврастеник! Больше того — сумасшедший поп. Высказывает какой-то бред. А людям больше всего нравится в религии то, что необычно и непонятно. Вот почему всякое его нелепое бормотание они принимают за пророчество. В этом его успех.

И добавил как бы про себя:

— Россия — это корабль, плавающий в непроглядном тумане.

Его взгляд пришелся мне по душе. Я решил рассказать ему и о другом случае. В этом, пожалуй, была моя ошибка.

— Забыл сказать вам, Василий Николаевич, что имею самую интересную последнюю новость.

— Какую?

— Недавно в городе открылось новое заведение под названием «Грезы моряка». Очень красивое название. Это заведение должно обслуживать главным образом морских офицеров. Матросу попасть туда трудно. Но все-таки кое-кто из команды побывал там. Это те, кто побогаче, вроде содержателей казенного имущества, или те, что от родных получают большие деньги. Для этого им пришлось наряжаться в штатское платье.

Лезвин спросил:

— Откуда же они могли достать штатское платье?

— Мало ли в городе знакомых. Да и торговцы готовым платьем не откажут дать под залог костюм напрокат. За деньги все можно достать. Эти матросы с восторгом отзывались о заведении «Грезы моряка». Роскошь, говорят, там необыкновенная. В коридорах и померах разостланы ковры. В главном зале, где танцуют, полы паркетные, люстры горят, как в соборе, музыканты играют на скрипках и рояли. Девиц подобрали самых красивых: и высоких, и маленьких, и полных, и худеньких. И все они нарядные, как настоящие мамзели. Любую выбирай — кому какая нравится. Но зато и обдирают посетителей. Перепочевать там стоит пятнадцать рублей. Да пятерка уйдет на угощение какой-нибудь особе. Значит за одну ночь вылетят из кармана две красненьких...

Лезвин перебил меня:

— А для чего это вы, Захар Петрович, сообщаете мне об этом да еще с такими подробностями?

— Подробности, Василий Николаевич, — это между прочим. Но я вам главного не сказал. Когда открывали «Грезы моряка», то сначала отслужили молебен с водосвятием. Был приглашен хор певчих. Попа нашли редкой красоты: борода у него ласковая, глаза кроткие, голос небольшой, но очень нежный. Словом, с виду священник похож на святого угодника, что на иконах рисуют. Возгласы он подавал трогательные до слез. А хор так складно пел, что, говорят, душа радовалась. Хозяин с хозяйкой, их маленькие дети, кассирша, все

девицы, вышибалы усердно молились богу. Просили, значит, милосердного бога, чтобы он посылал им побольше гостей в это заведение. Потом этот смиренный батюшка обходил все номера, где девицы живут, и каждую кровать благословлял крестом и кропил святой водой. И что же вы думаете, Василий Николаевич? Бог выслушал их молебам и теперь отбоя пет от посетителей.

Лезвин даже сплюнул:

— Тьфу, какая гадость!

Потом спросил меня:

— А откуда, Захар Петрович, вы все знаете об этом?

— Да как же мне не знать, Василий Николаевич? Позавчера у нас была мамзель. Вы изволили велчать ее Елизаветой Владимировной. Ведь она из этого заведения. Очень верующая и богомольная особа, точно монашка. Вот от нее-то я и узнал все. Да и в экипажах всем матросам это известно. Теперь у них разговор и смеху хватит на полгода: молеб с водосвятием в таком заведении! Ведь это событие, Василий Николаевич!

Лезвин покачал головою и прохрипел:

— Так вот как мы охраняем чистоту религии?

— Кстати сказать, Василий Николаевич, наш граф «Пять холодных сосисок», что подвел вас, иногда тоже бывает в этом заведении.

При этих словах Лезвин ударил кулаком по столу и заорал, как безумный:

— Ну, и чорт с ним, с этим графом!

Он выпил полный стакан водки и не стал даже закусывать.

Времени было около одиннадцати часов. Барин порядочно захмелел. Глаза у него стали красные, лицо помрачнело. Он особенно разошелся на счет морских воротил и говорил так шумливо, словно его слушали сотни людей:

— Когда меня произвели в офицеры, я ревностно взялся за службу. Для меня ясно было, что такая великая страна, как Россия, не может обойтись без могучего флота. Обширные берега ее омываются водами Балтики, Черного моря, Белого моря, Великого океана, Ледовитого океана. Мне представлялось, как наши корабли бороздят морские просторы под всеми широтами. Все государства боязливо посматривают на наш андреевский флаг. И в этом сильном флоте я играю не последнюю роль. Вот почему я так горел нашим флотом. Сколько мною написано докладных записок в Главный морской штаб! Мне хотелось улучшить санитарные условия матросов. Зря старался. Кто у нас больше всего унижает команду? Иностранцы, вроде графа «Пять холодных сосисок». На каждые пять русских офицеров приходится один иностранец. И об этом я писал — требовал поднять достоинство матроса в то же время вести самую строгую дисциплину на кораблях. Никакого результата. Я добивался открытия Генерального штаба. И что же? Бей в каменную стену головой — не прошибешь. Я доказывал, что Морской кадетский корпус должен быть доступным для всех сословий. Нужно выбирать в него самых талантливых юношей. Только тогда у нас будут настоящие офицеры. На этот мой доклад высшее начальство даже пригрозило мне, чтобы я поменьше высказывался на счет реформ. Словом, все мои доклады утонули в омуте бюрократических бумаг, как тонет якорь в море. Но якорь можно поднять, а мои записки навсегда утонули. И что мы теперь видим? Флота у нас нет. Есть большое количество железных гробов для будущей войны.

Такое заключение Лезвина меня обескуражило, и я спросил:

— Почему же это так получается, Василий Николаевич?

Мой вопрос словно прищипорил Лезвина.

— Отчасти я уже указал вам на причины, а дальше, Захар Петрович, присмотритесь сами — что за люди возглавляют наш флот? Вам все станет понятным. Недавно одного лейтенанта произвели в капитаны 2-го ранга. А все психиатры уже десять лет признают его сумасшедшим. Он неизлечимо больной. Правда, помешательство у него тихое, для людей неопасное. Но все равно — ни на один корабль его не берут. Иногда он приходит в порт, вытаскивает из кармана белых мышей и показывает их рабочим. Он всех уверяет, что это его маленькие дети. Конечно, в глазах рабочих это не офицер, а какое-то пошмище. И этому человеку каждый месяц двадцатого числа казна аккуратно посылает жалованье. Я нарочно взял душевнобольного человека. Мне хочется показать вам, как далеко ушли от него и так называемые нормальные люди. Возьмем, например, адмирала Бранта. Он целые дни и вечера проводит за вышивкой. Эта работа увлекает его, доставляет ему высшее удовольствие. Гладью и крестиками он вышивает такие замысловатые узоры, что любая женщина позавидует ему. На столах у него скатерти собственного рукоделья. Стоит посмотреть его салфетки на этажерках, дорожку на роале, украшения вокруг портретов. Какое великолепное сочетание красок, какое тонкое искусство! Но разве не смешно видеть адмирала с черными орлами на плечах за вышивкой?

Лезвин искривил губы в злую усмешку.

Я вставил свое мнение:

— Значит, человек находится не на своем месте. Ему велят не боевой рубкой, а модной белопшвейной мастерской. Из него, может быть, вышел бы незаменимый заведующий.

— Вот именно! — подхватил Лезвин с таким воодушевлением, словно чему-то обрадовался. — А во флоте он лишь даром получает жалованье. Другой адмирал — Веснин — содержит собственных лошадей и отлично наезжает их. Любит это дело по-настоящему. Место ему на ипподроме. Вероятно, он стал бы выдающимся наездником. Но во флоте он никуда негодный моряк. При этом еще он не прочь руки погреть около казенного сундука. Адмирал Гильд — неплохой парусник, благородный человек, но современных кораблей он не знает. Этот человек помешался на православном богослужении. Дома у него перед иконами горят неугасимые лампы. Он сам заправляет их, следит за ними днем и ночью. Плавать с ним — одно наказание. Не только команду, но и офицеров он мучает церковными обрядностями и невероятно длинными богослужениями. Кончается обedia — он обязательно еще закажет попу молебен с коленопреклонением. Сам стоит на коленях, и все его подчиненные так же должны поступать. Но на их боевую подготовку он мало обращает внимания. Да он и не понимает ничего в этом деле. Все на бога надеется.

Я сказал:

— В народе говорят: на бога надейся, а сам не плошай. Вероятно, Василий Николаевич, такой флагманский корабль похож на пловучий монастырь, где роль игумена исполняет адмирал.

Лезвин злобно усмехнулся:

— Верно — игумен в мундире и с орлами на плечах. Но есть еще типы похлеще него! Капитан 1-го ранга Балкин, будущий адмирал — человек бога-

тырского телосложения, силач и кутила. Сам красный, борода рыжая. Любитель подебширять. Но главная его страсть — это пожары. Его знают все пожарные. Он ведрами покупает для них водку. А они за это, если где вспыхнет пожар, должны первым делом звонить ему по телефону. Тогда он мчится на рысаке, стоя на пролетке, и держит перед собою, словно икону, крупнейший топор. Большая рыжая борода развеивается от ветра во все стороны. В этот момент у него вид древнего витязя. На пожаре он работает впереди пожарных, и один выворачивает из здания целые бревна. Рыжий, он сам похож на пламя. Для него огонь своя стихия, как для рыбы вода. Из него мог бы выйти замечательный бранд-майор. По какое, спрашивается, это имеет отношение к флоту?

— Очень маленькое, Василий Николаевич, — с досадою отвечаю я, словно дело касалось не флота, а моего родного дома.

После того как барин разошелся с женою, я впервые вижу его таким возбужденным. У него нет ни детей, ни друзей. Он разочаровался в жизни, ни во что не верит. Судьба ограбила его, унизила, превратила в ничто. Только я один дружу с ним, только передо мною он с горечью изливает то, что накопилось у него на душе:

— Возьмем адмирала Нелишина. Образованный человек, хорошо знает европейские языки. Любимым занятием у него не морское дело, а парикмахерское ремесло. Он бреет и стрижет всех своих знакомых. Никто не может сделать такую идеальную прическу, как он. Это не просто парикмахер, а лучший мастер, своего рода художник. Куда бы он ни поехал, при нем всегда находится специальный чемодан с набором парикмахерских принадлежностей: десятка два кисточек, столько же больших и маленьких ножниц, до полдюжины бритв лучших заграничных фирм, потом — флаконы с одеколоном, коробочки с нудрой, пакеты с ватой, баночки с вазелином. Он может и компресс наложить и массаж сделать не хуже любого парикмахера. Многим офицерам предлагает сделать прическу по своему вкусу, но не каждый согласится воспользоваться его услугами. Тогда адмирал пачинает ухаживать за таким, как за другом, будет его накачивать водкой и вином и сам пить, но обязательно своего добьется — пострижет и побреет офицера. Что вы скажете на это, Захар Петрович?

Лезвие смотрит на меня выкатившимися глазами и ждет ответа.

Я отвечаю шуткой:

— Если бы в морском сражении можно было действовать не орудиями и янами, а только бритвой и ножницами — ого! Что такой адмирал мог бы натворить!

Барин ядовито подхватывает:

— Да, при таких условиях он стал бы первым флотоводцем в мире.

И вдруг громко расхохотался каким-то болезненным смехом.

— Высьем за здоровье адмирала-парикмахера!

Он с жадностью осушил стакан водки, заставил и меня полстакана выпить.

— Послушайте дальше, Захар Петрович. У великого князя Алексея Александровича, нашего шефа, вернее главного растратчика русского флота, служит адъютантом капитан 2-го ранга Виподельский. Флот ему нужен не больше, как почетное и доходное место. Зато его интересует другое. Всю жизнь он собирает похабные картины, фотографии, статуэтки и разные вещицы, вплоть

до трубок. Не раз он ездил за ними за границу и не жалел для этого никаких денег. Во всей Европе ни в одном публичном доме не найдешь подобной мерзости, какие имеются у него на квартире. Похлябщиной он украсил все стены прихожей, столовой, всех комнат и даже уборной...

И спросил Лезвина:

— Как же это так, Василий Николаевич? У него, наверно, есть жена, дети родственники, бывают знакомые. Неужели ему не стыдно?

— У таких людей обезьяний стыд. Но не в этом дело. Хозяин этой ужасной квартиры — старый холостяк и знать не хочет ни дам, ни девиц. Живет он монахом и порицает тех мужчин, которые ухаживают за жепщицами. Пусть медицина разберется в душе этого человека. А вот еще один экземпляр: свиты его величества адмирал Толстопятов. Добродушный толстяк. Ему безгранично нравится поварское искусство. Дома он часто снимает с себя сюртук, подвязывает фартук, засучивает рукава и начинает стряпать. Сам Пушкин с меньшим вдохновением писал свои стихи, чем Толстопятов приготовляет пищу. Изготовленные им блюда должны бы кушать только боги, а не люди. Он бывает невероятно счастлив, если знакомые приглашают его состряпать обед или ужин. Некоторые офицеры даже делают себе на этом карьеру. Но из пушек и снарядов никакого вкусного блюда не создашь. Поэтому и отношение этого адмирала к боевым кораблям очень прохладное. Да, Захар Петрович, всех чудачков не перечислить. Нет у нас таких флотовоцев, как Сенявин, Корницов, Ушаков, Нахимов. Только адмирал Макаров держится на высоте. Но один, как говорится, в поле не воин...

— А Виктор Григорьевич Железнов? — спросил я и жадно впился глазами в барина.

— Этот адмирал тоже на месте, хотя и порядочный карьерист и хитрец. Но ведь таких очень мало. Наберется еще десять человек. А остальные высшие чины служат во флоте по какому-то недоразумению. Призвание у них совсем другое. Многие молодые офицеры честно хотели послужить своей родине. Но чему они могли научиться у этих господ? Проходило время. Молодежь разочаровывалась в своих мечтах. Их также охватывала зараза разложения. И мне этого не удалось избежать. Я тоже стал каким-то чудачком.

Лезвин замолчал, нахмурился, но от волнения у него продолжали дергаться губы.

Мне было обидно за русский флот, и я сказал:

— Выходит, что морские воротилы служат во флоте только ради жалованья и чинов. И больше ничего. А боевой подготовкой кораблей и личного состава они также интересуются, как быки молебном.

— Это сказано очень сильно и верно.

Дрожащей рукой барин берет стакан водки, чокается со мною и говорит:

— Ну, ладно, Захар Петрович, под столом увидимся.

И пужно же было тут греху случиться. Стакан застучал о его зубы, водка расплескалась. Послышался звон разбитого стекла. Я взглянул на барина: лицо его побелело, глаза стали стеклянными, на губах появилась пена. Он ухватился за свою грудь и зашептал:

— Сердце... сердце...

Никогда я так не терялся, как в этот вечер. Немного пришлось мне размышлять. Схватил я капитанскую фуражку и, в чем был одет, залился бегом

в свой экипаж. Матросы, с какими я встречался, отдавали мне честь. Что, думаю, смеются, что ли, они надо мною? Все-таки немного выпивши я был и с испугу мысленный путался. Вбегаю прямо в канцелярию и кричу во все горло:

— Доктора! Скорее доктора!

На мой крик вылетает из отдельной комнаты дежурный офицер, какой-то лейтенант, при сабле, с эполетами на плечах. Спросонья он таращит глаза на меня и, видимо, ничего не понимает. Правую руку он держит под козырек и хочет мне рапортовать. А я как ошалелый ору:

— Ваше благородие, барин мой умирает. Доктора скорее дайте.

В этот момент он, вероятно, принял меня за сумасшедшего. Лицо у него помертвело. Он ухватился за саблю, попытка от меня и забормотал:

— Позвольте — вы кто такой?

Я объясняю ему, что служу вестовым у его высокоблагородия, капитана 1-го ранга Лезвина. Дежурный офицер немного опомнился, показывает на мой наряд и спрашивает:

— А это откуда у тебя?

Только после этого я заметил, что на мне офицерский мундир. Вот почему матросы отдавали мне честь. Еще больше охватило меня волнение. Я рассказываю дежурному офицеру, как было дело, — не верит. Сейчас же меня арестовали: приставили ко мне двух часовых с винтовками. А я все на своем настаиваю, что меня, мол, хоть на кол посадите, но только для барина дайте скорее доктора. Уж очень мне было жалко Василия Николаевича. Все же я добился своего: послали доктора к нему на квартиру. Но барина нашли на полу уже мертвым. Дежурный офицер раскричался на меня:

— Разбойник! Ты, наверно, задушил своего барина? Признавайся сейчас же! Все равно тебя расстреляют.

Я бил меня кулаком в подбородок. Но мне почему-то не было больно. Я стиснул зубы, чтобы язык не прикусить. Только голова при каждом ударе откидывалась назад.

По телефону был вызван экипажный командир, капитан 1-го ранга Лукин. Через несколько минут он явился в канцелярию. На его седебородом лице было такое выражение, как будто он решил сейчас меня уничтожить. Он протянул в мою сторону указательный палец и спросил:

— Этот?

Дежурный офицер ответил ему официально:

— Так точно, господа капитан 1-го ранга.

Экипажный командир стал угрожать мне виселицей. Его особенно возмущало, что я наряжен в офицерский мундир. Я пробовал оправдываться, но он приказывал мне молчать. Я перестал отвечать на вопросы и думал лишь об одном: что будет с моей Валей и с моим сыном, если эти угрозы оправдаются? С меня стащили мундир и брюки. В одном пижаме белье я был отравлен в карцер. Я улегся на голые нары и, после пережитых волнений, почувствовал невероятную усталость. Бесполезно было думать о дальнейшем: все равно мою участь решит начальство. Через-какую-нибудь минуту сон лежко обнял меня, как родная мать, а потом казалось, что я, покачиваясь, плаваю на облаках.

На второй день моего барина отвезли в Морской госпиталь и там его вскрыли: выяснилось, что он скончался от паралича сердца. Хотя я и не был

впловат в его смерти, но меня продолжали держать под арестом. Пикто не верил, что я надевал мундир по приказанию Лезвина. Сначала считали меня сумасшедшим, но доктора установили, что я в здравом уме. Началось следствие. Допрашивал меня один лейтенант, человек строгий и придирчивый. Но его мнению, выходило так, что я обокрал своего барина, нарочно нарядился в его мундир, чтобы удрать с военной службы, но в последний момент испугался полиции и прибежал в канцелярию. Он хотел запугать меня. Но ведь и моя голова кое-что соображает. Не хотелось мне позорить покойника, а пришлось признаться следователю:

— У меня, ваше благородие, свидетели есть. Они могут подтвердить, что я правую говорю.

— Это какие же у тебя свидетели, откуда? — спрашивает следователь. Я отвечаю ему, глядя в глаза:

— Феня из «Золотого якоря», Нина из «Попутного ветра», Лиза из нового заведения «Грезы моряка».

Словом, я перечислил ему почти все веселые дома. Следователь от моих слов даже покраснел и не стал ничего записывать. Сейчас же он побежал советоваться с экипажным командиром. Только после этого меня освободили из-под ареста и строго-настрого приказали мне, чтобы я насчет своего барина держал язык на привязи. Иначе я попаду в тюрьму. А зачем я буду болтать? Ведь это я только тебе, как другу, рассказываю. Жаль барина. Хороший был человек для нашего брата. Как-то мне теперь удастся устроиться?

Я спросил Псалтырева:

— А знаешь ли ты, что твой барин произведен в контр-адмиралы?

— Да что ты? Когда? — спохватился Псалтырев.

— Я сам читал высочайший приказ. Он был получен на второй день после смерти Лезвина.

— Это хорошо. Значит, за него замолвил слово бывший начальник пашей эскадры, контр-адмирал Железнов. Тесть-то мой оказался справедливый человек.

Псалтырев так обрадовался, точно его самого произвели в адмиралы.

XVI

Крейсер, назначенный в длительное плавание, уже стоял на Большой рейде, грозно возвышаясь над водой железной громадой. Над безоблачным небом, в лучах весеннего солнца, взбивая пену на гребнях волн, резвился на просторе западный ветер. Судно, повернувшись ему навстречу острым форштевнем, скрежетало якорными канатами в ключах, словно нетерпеливо порывалось скорее ринуться вперед, в загадочную даль моря. Андреевский флаг на корме, чью-то на носу и длинная с двумя косяками лента вымпела на гротмачте, после того как целую зиму пролежали в глухом подкиперском помещении, ожили и весело трепетали, обласканные сиянием голубого дня.

На этот раз, несмотря на праздник, никого из команды гулять на берег не отпустили. К подветренному борту то и дело приставали баркасы. С них перегружали на судно последние припасы, необходимые в плаваньи. На верхней палубе, приводя команду в движение, раздавались свистки и выкрики капитанов.

Неожиданно ко мне на крейсер появился Псалтырев. Он был в поветной фланельке, в аккуратно выглаженных черных брюках в блестящих, как отшлифованный черный мрамор, ботинках. На каждом его плече красовалось по два желтых коврика, означающих звание строевого квартирмейстера. Мужественное загорелое лицо его широко улыбалось, сверкая радостной белизной зубов. Но меня больше всего поразило, что он дослужился до младшего унтер-офицера. Заметив мое удивление, он воскликнул:

— Что ты смотришь на меня, как поп на еретика? Здорово, браток!

— Мое тебе почтение, друг! — крепко пожимая его сильную лапу, возбужденно ответил я. — Откуда, какими ветрами занесло тебя на наш корабль?

— Через товарищей узнал, что вы сегодня снимаетесь с якоря. Я напялил и прикатил проведать друга. Ну, как дышится в море?

— На полную грудь.

Мы обменялись еще несколькими фразами и спустились в моп владения — в ахтер-люк. Я раскупорил банку с консервами, достал хлеба. В гречневой крупе у меня была спрятана бутылка с лимонной водкой. Я сейчас же извлек ее оттуда. Увидев бутылку, Захар заявил:

— После смерти командира с этим злом я покопчил. Мешает это держать правильный курс в жизни. И только ради такой радостной встречи сделаю исключение: пропущу два глоточка.

Выпивая и закусывая, мы закидывали друг друга вопросами. Хотелось узнать о судьбе других товарищей. Кратко рассказал он и о своей семье. Дома у него все было благополучно. Непрежнему с юношеским восторгом он отзывался о своей жене и сыне — она опять работает машинисткой, а малыш растет.

— Но как ты, Захар, из вестового превратился в строевого квартирмейстера? Вот чудо.

— Да, это чудо, — засмеялся Псалтырев. — Невозможное стало возможным. Случайно я поймал за хвост свою давнюю мечту и оседлал ее. И знаешь, кто мне помог в этом деле? Ирландский сеттер.

— Брось морочить мне голову. Я серьезно спрашиваю.

— А я тебе еще более серьезно отвечаю — мне помог ирландский сеттер.

Среди ящиков и бочек ахтер-люка только я один слушал Псалтырева-повествовающего о новых ступенях своей жизни.

— Вздумал я прогуляться по городу. Хожу, присматриваюсь к народу. Между штатскими людьми и солдатами мелькают синие воротнички матросов. У меня возникает вопрос: куда они все идут, о чем думают? А ведь в каждой голове какие-то свои мысли, свои планы, свои желания. Вот бы все эти мысли и желания узнать и на бумаге изложить. Получилась бы книга, какой еще не было на всем свете. Прохожу я мимо парка, куда нашему брату, матросу, вход воспрещен. Рядом со мною шагает по тротуару пожилая женщина с четырехлетним мальчиком. Она, впять, няня, а он — господский сынок. Очень статный ребенок. И так ему подходит морская форма, что я залюбовался им. И вот у самого входа в парк, откуда ни возьмись, появляется ирландский сеттер, громадный, огненной окраски, уши длинные, хвост опушен. Первое, что мне показалось подозрительным, это — слюнявая пасть и мутные глаза. У ме-

ня сразу же мелькнула мысль — бешеный пес. И действительно оказалось так. Как известно, собаки этой породы редко бывают злые. К людям они относятся мирно, даже ласково. Больше всего интересует их охота на птицу. А этот пёс ни с того ни с сего вдруг набросился на матроса и схватил его за ногу. Э, думаю, опасность угрожает и другим людям, надо действовать. Я ментально выломал из ограды большой кусок штакетника. Хорошо, что я успел это сделать во-время. Пёс от матроса кинулся к няне. Она вскрикнула, замаяхала руками и беспомощно опустилась на тротуар. Ребенок прижался к ней и заорал истошным голосом. Но в этот момент я преградил дорогу. Сеттер хотел цапнуть меня, но я, изловчившись, так ударил его по передним лапам, что он полетел кубарем. Должно быть, я переломил ему обе ноги — он не мог больше подняться. На всякий случай я нанес ему несколько ударов и по голове. Он перестал двигаться и захрипел перед смертью. Я оставил его и подошел к няне. Бледная и дрожащая, она хотела что-то сказать и не могла. Мальчик продолжал надрываться от плача. Я поднял няню, и только после этого она заговорила:

— Ноги мои не идут. Матросик, проводи меня домой. Барин мой заплатит тебе за это.

Одной рукой я подхватил ребенка, а другой помогал няне. Не прошли мы и несколько шагов, как подвернулся извозчик. Уселись все трое на повозку, а спустя минут десять мы уже были в богатой квартире.

И началось тут что-то несусветное. Мальчик к этому времени начал было успокаиваться и только всхлипывал. Но барыня, женившись лет тридцати, смуглая, как цыганка, взглянула на него, а потом на испуганную няню и естобенела.

— Что случилось? — унавшим голосом спросила она.

Я только и успел сказать:

— Бешеная собака...

Дальше она уже ничего не слушала. Завопила, запричитала. Мальчик, глядя на мать, тоже разревелся. Слезы застилают ей глаза и не видит она, что ее сын невредим. То она в отчаянии за голову хватается, то начинает целовать ребенка. Я все порываюсь сказать ей, что бешеная собака не успела даже дотронуться до ее сына. Но мои слова проходят мимо нее. Вдруг она спохватилась и начал позванивать по телефону:

— Витя, приезжай немедленно... Бешеная собака... Ребенок испуган... Ужас... Голова кругом идет...

Потом начинает по телефону доктора вызывать.

Через несколько минут прибыл клинтак 2-го ранга. Как тут же выяснилось, это и был Витя, ее муж, человек высокий, представительный. Я вытянулся, руки держу по швам и, как полагается на военной службе, пожираю его породистое лицо глазами. У него белесые густые усы и подстрижены так коротко и ровно, как щетина на зубочистке. Он быстро окидывает всех нас внимательным взглядом и спокойно спрашивает:

— Какая тут у вас трагедия произошла?

Она с воплями бросается к нему:

— Почему доктор так долго не едет?.. Боже мой!.. Ведь Славчик может е ума сойти...

— Перестань, Серафима, волноваться. Сейчас разберемся.

Его слова так подействовали на барыню, как будто ее разбудили от кошмарного сна, и она сразу образумилась.

Капитан берет своего сына на руки, наскоро оглядывает его и определяет — ничего страшного не произошло. Мальчик при отъезде моментально замолк. Я подробно объяснил ему, как все произошло. Няня подтвердила мои слова. Он выслушал и сказал:

— Ну, любезный, спасибо тебе. Я не знаю, как и отблагодарить тебя.

И дает мне две двадцатипятирублевых бумажки.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие. Но только денег мне не надо.

Офицер удивленно приподнял желтоватые брови.

— Как? От денег отказываешься? Может быть, у тебя родители богатые.

Я на момент растерялся. Очень был ulubный случай испытать свое счастье, но в то же время соображаю — а вдруг он рассердится и прогонит меня? Кровь обожгла мое лицо. Я заговорил дрожащим голосом:

— Никак нет, ваше высокоблагородие, родители мои бедные. Но все равно — деньги меня мало интересуют. На военной службе поют, кормят, одевают и квартира бесплатная. А если уж вы так добры ко мне, то помогите мне в одном деле.

— В каком?

— Хочу попасть в школу строевых квартирмейстеров.

Тут же я рассказал ему, как я люблю морское дело и как боцман Кудинов обучал меня разным корабельным премудростям.

— Это, любезный, сделать легче всего, — говорит он и улыбается. — Я как раз служу старшим офицером на учебном парусно-паровом крейсере «Герцог Ольденбургский». Пойдешь со мною в плавание на практику.

Через два дня я уже был на учебном крейсере.

Целый год мы пробыли в плавании. На этот раз долго бороздили Атлантический океан. Побывали на острове Мадера, на Азорских островах. Столько нового я в жизни повидал, что не рассказать об этом за целый день.

Когда я плавал на броненосце, мне много удалось узнать из того, что нужно знать строевым квартирмейстерам. Я на всю жизнь останусь благодарным боцману Кудинову. Через него узнал различные тросы, как и в каких случаях они употребляются и как их нужно хранить. Словом, на броненосце с этими предметами я уже разбирался, как с упряжью у себя на дворе. И это мне потом пригодилось, когда я попал на учебное рангоутное судно. Но пришлось еще очень усилленно заниматься, чтобы освоить все на новом корабле. Это обилие парусов и разных снастей сначала меня просто подавляло. Попробуй-ка запомнить одни названия: грот-гитовы, брам-гитовы, кливер-шпралы, бсм-брамсеял, брам-шкоты. Таких названий сотни. При этом нужно знать, для чего служит каждая снасть и как ею пользоваться. Взаяся я за учебу и все преодолел, точно через высокую и крутую скалу перелез.

Таким учебным судном должен был бы командовать энергичный и подвижной человек. А нас возглавлял совсем одряхлевший капитан 1-го ранга. Лицо у командира сморщилось, толстый нос покрылся слезными прожилками, постоянно слезящиеся глаза помутнели, словно покрылись клейстером. Как только он ими видит? Весь он казался мне таким хилым, что напоминает трухлявую березу в лесу, которая держится только на своей коре, — чуть толкни ее, и она развалится. Словом, от него уже пахло землей. А все-таки

он храбрился и старался показать себя молодым. И смешно было слушать, как такой человек рассердится на какого-нибудь матроса и начинает ему угрожать.

— Я тебе за это такого тумака дам, что голова слетит с твоих плеч, как рукомойник.

Впрочем, наш старик оказался неплохим марсофлотцем, что пережитые годы сказывались на нем — силами ослаб, как обветшалый парус, и память стал терять. Поэтому за него всеми делами воровчал старший офицер Виталий Аркадьевич. Про него можно сказать — морской орел! За время плавания я ни разу не видел его пьяным. Освободится от судовых занятий — сейчас же садится за книги. Человек он хоть и длинный, но сразу не раскусишь его — наполовину в земле скрывается. И провинившегося матроса и отличившегося, — наказать ли кого хочет или наградить, — каждого называет любезным. Но лично мне он нравится. Не только кто из команды, но и офицер у него не забалуется. Очень требовательный по службе и любит точность. Отдаст какое-нибудь приказание спокойно, но так ясно, словно отрубил слова. И уж тут нельзя не выполнить его распоряжения. А как начнет во время парусного учения командовать — радость охватывает душу. Голос у него звучит, как спрена, и слышен по всему судну, на всех мачтах и реях. Это подхлестывает нашего брата, как бичом. Ветром взблеснешь по вантам, а потом на высоте пятиэтажного дома, возбужденный до того, что, кажется, кровь в жилах кипит, работаешь и не думаешь, что можешь сорваться с мачты и превратиться в лешенку. Лишь одно у тебя на уме — скорее и лучше выполнить свои обязанности. Но зато можно было гордиться, что на нашем крейсере все идет так, как хорошо налаженный оркестр, — ни одной фальшивой ноты.

Ко мне старший офицер относился душевно. Если вздумает на берег отпра-виться, то я у него всегда был загребным на вельботе. Иногда, посмеиваясь, он подбавлял меня:

— Вижу, любезный, что из тебя выйдет лихой капрал.

— Ну, и я старался служить на совесть. И только однажды получился у меня проступок. Попалась мне книга Достоевского «Преступление и наказание». Устроился я в плотничком отделении и увлекся чтением. Даже забыл, что нахожусь на военном корабле. А он в это время, немного накрепившись, шел по волнам Атлантики. Налетел шквал. Была команда: «все наверх рифы брать». Но расписанию в таких случаях я должен находиться на грот-бом-брам-рее. Но я ничего не замечал и ничего не слышал. Ведь вот до какого состояния довел меня этот писатель. Спасибо дежурному матросу по палубе. Он толкнул меня и сказал:

— А для тебя особая команда, что ли, будет?

Я спохватился и, как птица, вылетел на верхнюю палубу. Но старшему офицеру уже стало известно, что я на три минуты опоздал. После того как рифы у парусов были взяты, он призвал меня к себе в каюту:

— Почему ты, любезный, не являешься во-время по команде?

Я хотел соврать ему, но он посмотрел прямо в мои глаза таким пронзительным взглядом, что сказал всю правду. И сам не знаю, как это у меня с языком сорвалось. Сказал и напугался. Ну, думаю, пропало все. А тут слышу от него и ушам своим не верю:

— Что ты читаешь Достоевского — это похвально. По обязанности сво-

не должен забывать ни при каких обстоятельствах. Если бы даже океан перевернулся вверх дном, ты все равно по команде должен находиться на своем месте. Пойдешь, любезный, в карцер на четверо суток. Я тебе много обязан за спасение моего Славчика, но долг службы и военная дисциплина — это главное. Соверши на судне какой-нибудь проступок мой собственный сын — я бы и его подверг наказанию. Понятно тебе все это?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Можешь идти, любезный.

Вот это, думаю, настоящий начальник. Молодчина! Побольше бы таких офицеров во флоте. Если бы он посадил меня на две недели, я бы несколько не обиделся на него.

Больше никаких недоразумений у меня не было. На экзамене на все вопросы я отбарабанил, точно прочитал ежедневную молитву. А теперь хожу с двумя лычками на каждом плече.

Слава богу, что ирландский сеттер сбесился. Сам погиб, но мне счастье пришло. Иначе никак не пошла бы мне на учебное судно.

Остается мне дослужиться до звания боцманмата, а может быть, и до боцмана.

Эх, нет у меня возможности пропикнуть в Морской кадетский корпус! В питочку вытянулся бы, а превзошел бы все пауки. Но туда для нашего брата двери закрыты. Может быть, когда-нибудь откроем их...

Мне хотелось еще посидеть и поговорить с Псалтыревым. Каждая встреча с ним была для меня большой радостью. Я люблю таких людей, как он, которые тянутся к знанию, словно растение к солнцу. Их становится все больше и больше этих будущих творцов жизни, поднимающихся из гущи народной. Как древние воины для овладения крепости таранами пробивали каменные стены, так и они своей кипучей энергией и невероятной настойчивостью преодолевают все преграды на своем пути, чтобы достигнуть намеченной цели. Но как ни интересно было беседовать с Псалтыревым, неотложные служебные дела вынуждали меня расстаться с ним.

Мы вышли на верхнюю палубу. С разрешения вахтенного начальника ялик пристал к левому трапу. Я крепко расцеловался с другом. Он быстро спустился по ступенькам трапа вниз и, уловив момент, уверенно прыгнул на качающийся ялик. Волна подхватила отважного моряка и, окропив сверкающими брызгами, понесла его в сторону военной гавани.

* * *

Я не знал тогда, что расстаюсь со своим другом на долгие годы. Шли войны и революции. Смерчем пронеслись события, изменявшие не только людей, но, казалось, и самый облик земли. Как весенние потоки, бурля, несетесь по морским просторам, так и народ из городских окраин и глухих деревень, волнуясь, рвался к свободе, к иной жизни, достойной своего духовного величия. В эти годы я не раз вспоминал своего талантливого друга, расспрашивал о нем у других, но никто не мог дать мне ответа. И все же, я не терял надежды, что когда-нибудь мне удастся с ним встретиться.

Конец первой части

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Рассказ

Мытье посуды, как известно, дело грязное и пагубное. Но в тесном командирском буфете миноносца, о котором идет речь, для этой цели существовал некий сложный агрегат.

Агрегат этот занимал собой весь правый угол буфета, где сверкал медью паровой самовар — маленький, по злой, вечно фыркающий и обжигающий. Цинковый его поддон был загроможден проволочными стеллажами для тарелок, гнездами для стаканов, особой подвесной сеткой для ложек и вилок. Сложная система медных трубок соединялась резиновым шлангом с крапом самовара. Струи кипятку сильно и равномерно били на стеллажи и смывали с посуды застывший жир, липкие следы компота и консервированного молока (которое почему-то любил комиссар миноносца). Сам же хозяин буфета, командирский вестовой Андрей Кротких, презрительно предоставив воде грязную работу, ухаживал в крошечную каюту, гордо именовавшуюся «командирским салоном». И пока, в знак окончания обеда командира и комиссара, он менял там белую скатерть на цветную, автомат исправно делал свое дело. Вернувшись, Кротких намыливал узкую щетку и с тем же презрительным выражением лица протирал ею в стеллажах тарелки, потом, смыв шлангом мыльную пену, закрывал воду и пар. В жарком воздухе тесного буфета посуда обсыхала сама собой, и через час сухие диски тарелок сверкали уже в гнездах, оберегающих их от последствий качки. И только воинственная сталь ножей и вилок требовала полотенца — во избежание ржавчины.

Вся эта сложная автоматика была рождена горечью; жившей в сердце Андрея Кротких, краснофлотца и комсомольца. Грязную посуду он ненавидел, как некий символ незадавшейся жизни. В самом деле, его товарищи по призыву стояли у клапанов в машине, стреляли из орудий, вертели штурвалы. Ему же выпала на долю странная боевая часть: посуда. Причиной тому было то, что Кротких, выросший в далеком колхозе на Алтае, по своим личным соображениям простился с учебниками еще в четвертом классе и поэтому при отборе во флотские школы специалистов остался за флагом.

Правда, по боевой тревоге Андрей Кротких был подносчиком снарядов зенитного автомата номер два. Но вся его боевая работа была ничтожна: он вынимал из ящика острожальные снаряды (которые больше походили на пули гашетской винтовки) и укладывал их на подстеленный возле орудия мат. В дугу обоймы, торчащую из автомата, их вставлял уже другой краснофло-

тец — заряжающий Пинохин, и оставалось только с завистью смотреть на него и запоздало проклинать опрометчивый поступок юности. В первом же бою с шпировщиками Кротких с горечью понял, что на таком посту Героем Советского Союза, пожалуй, не станешь и что комсомольской организации колхоза «Заря Алтая» гордиться им после войны, видимо, не придется.

Орудие помер два и подсказало ему буфетную автоматiku. Перемывая однажды посуду, Кротких неожиданно для себя подумал, что тарелки тоже ведь можно расставить на ребра, вроде как в обойме. Тогда не придется по очереди подносить каждую под струю воды, обжигая при этом руки, а наоборот — можно будет облавать крутым кипятком сразу все. Он перепортил массу проволоки, пока не добился того, что смутно мерещилось ему в мыслях и что, как с огорчением узнал после, было давным-давно выдуманно и применялось в больших столовых и ресторанах. Это сообщил ему военком миноносца, батальонный комиссар Филатов, в первый же вечер, когда, заглянув в буфет в поисках чая, он увидел «автоматiku», построенную Андреем Кротких.

Однако огорчение это неожиданно обернулось удачно: военком разговорился с ним, и Кротких вылил ему всю свою душу, смешая в кучу и посуду, и «Зарю Алтая», и мечты о Герое Советского Союза, и неведомую комиссару Олю Чебыкину, которой никак не напишешь письма о войне, где он моет тарелки, тем более, что и слова-то вылазят на бумагу туго и даже самому невозможна потом прочесть свои же каракули...

Чуть улыбаясь, военком слушал его, вematриваясь в блестящие, смекалнстые глаза и любопытно разглядывая его широкое и скуластое лицо сибиряка с чистой и ровной кожей. Улыбался он потому, что вспоминал, как когда-то, приля комсомольцем во флот, он так же страдал душой, понав вместо грезившегося боевого места на скучную и грязную очистку трюма восстанавливаемого линкора, как мучился он над первым своим письмом к друзьям и как беспощадно врал в нем, эпнсывая дальние походы, штормы и собственные ленточки, развевающиеся на мостике (не иначе, как рядом с командиром). Молодость, далекая и невозвратная, дохнула на него из этих блестящих глаз, и он всей душой понял, что этой самой Оле Чебыкиной о посуде и точно не напишешь: она, конечно, была такая же насмешливая, верткая и опасная на язык, какой была когда-то Валя с текстильной фабрики его родного городка.

И он с таким живым интересом стал расспрашивать Кротких о «Заре Алтая», об Оле, о том, как же так вышло у него со школой, что тому показалось, будто пред ним не пожилой человек, пришедший на корабль из запаса, и не комиссар миноносца, а погодек-комсомолец, которому обязательно нужно выложить все, что волнует душу. А глаза комиссара, внимательные и дружеские, подгоняли и подгоняли слова, и если бы в салоне не появился политрук Козлов, разговор долго бы не закончился. Военком оставил стакан и стал опять таким, каким его привык видеть Кротких: сдержанным и немногим суховатым.

— Кстати пришли, товарищ политрук, — сказал он обычным своим тоном, негромко и раздельно. — Значит, так вы порешили: раз война — люди сами расти будут. Ни учить не надо, ни воспитывать. Война, как говорится, рождает героев. Самосильно. Так, что ли?

— Непонятно, товарищ батальонный комиссар, — ответил Козлов, угадывая неприятность.

— Чего ж тут непонятного?.. Спасибо, товарищ Кротких, можете быть свободны...

Кротких быстро прибрал стакан и банку с молоком (чтобы комиссару не пришлось в голову угощать им Козлова), но, выйдя, затерзался с той стороны двери: речь, видимо, шла о нем. Он не ошибся. Комиссар заинтересовался, известно ли политруку, что у краснофлотца Андрея Кротких слабовато с общим образованием и что ходу ему дальше нет. Он спросил еще, неужели на мшино-посе нет комсомольцев-вузовцев, и сам назвал химиста Сухова, студента педагогического института. Козлов ответил, что Сухов — активист и что он так перегружен и боевым листком, и комсомольским бюро, и докладами, что времени у него нет. Комиссар рассердился. Это Кротких попял по внезапно наступившему молчанию: когда комиссар сердился, он обычно замолкал и медленно скручивал папиросу, поглядывая на собеседника и тотчас отворачиваясь, как бы выжидая, когда уляжется гнев. Молчание затянулось. Потом зажигалка щелкнула, и комиссар негромко сказал:

— Это у вас нет времени подумать, товарищ политрук. Почему все на Сухова навалили? Людей у вас, что ли, нет?.. Не видите вы их, как и этого парейка не увидали. Наладьте ему заплата да зайдите в буфет: поглядите, что у него в голове...

С этого вечера перед Андреем Кротких раскрылись перспективы. Война шла своим чередом: были бои, штормы, походы, ночные стрельбы и дневные атаки пикировщиков, зенитный автомат жадно втягивал снаряды в ненасыт-ную свою дугу, Кротких подтаскивал их на мат и мыл посуду. Но все это приобрело будущее: перед ним стояла весна, когда он пойдет в Школу оружия. Он наловчился не терять и минуты времени. Регулируя свой буфетный авто-мат, он держал в другой руке грамматку. Драя медяшку в салопе, твердил таблицу умножения. Дежуря у снарядов по готовности номер два, решал в блокноте задачи. Блокнот был дан комиссаром. Всё было дано комиссаром — блокнот, учеба и будущее.

И в девятнадцатилетнее сердце краснофлотца плотно и верно вошла лю-бовь к этому пожилому спокойному человеку.

Он радовался, когда видел комиссара веселым, когда тот шутил на палубе или в салоне за обедом. Он мрачнел, видя, что комиссар устал и озабочен. Он ненавидел тех, кто доводил комиссара до молчания и медленной возни с папи-росой. Тогда бешепство подымалось в нем горячей волной, и однажды оно вылилось поступком, от которого комиссар замолчал и закрутил папиросу.

Была тревожная походная почь. Черное море сияло под холодной луной и, хотя ветер был слабый и мшинопосец не качало, на палубе была жестокая стужа. Корабль шел недалеко от врага, и каждую секунду пустое обширное небо могло обрушиться на него бомбы: на лушной дороге мшинопосец был отчет-ливо виден. Весь зенитный расчет проводил ночь у орудий.

Комиссар сошел с мостика и обходил палубу. Видимо, он и сам промерз порядочно: подойдя к корму к автомату номер два, он вдруг раскинул руки и начал делать гимнастику.

— И вам советую, — сказал он краснофлотцам. — Кровь разгоняет.

Кротких подошел к нему и попросился выпз: он согреет чаю и принесет командиру и комиссару на мостик. Филатов улыбнулся.

— Спасибо, Андриюша, — сказал он, пазывая его так, как звал в долгих неофициальных разговорах. — Спасибо, дорогой. Не до чая... И потом — всех не согреешь, они тоже промерзли...

Он повернулся к орудию и стал шутить, привычно проверяя взглядом, на месте ли весь расчет. В велосипедных седлах, откинувшись навзничь и всматриваясь в смутное сияние лунного неба, лежали наводчики. Установщики прицелов сидели на корточках спиной к ветру, готовые вскочить и завертеть свои штурманьки, командир орудия, старшина первой статьи Гущев, стоял в телефонном племе, весь опутанный шлангами, как водолаз. Орудие было готово мгновенной стрельбе.

Но комиссар вдруг перестал шутить и нахмурился:

— А где заряжающий? Товарищ старшина, в чем дело?

Гущев доложил, что Пинохин отпущен им оправиться. Комиссар взглянул на часы и замолчал. Гущев внятогласа приказал Кротких найти Пинохина в галюне и сказать ему, чтоб не расслаживался.

В галюне Пинохина не оказалось. Кротких нашел его там, где подозревал: в кубрике. Пристроившись на рундуке у самого колокола громкого боя, Пинохин спал, очевидно решив, что в случае тревоги успеет выскочить к орудию.

Кротких смотрел на него. Ярость векипала в его сердце. Он вспомнил, как грелся физкультурой комиссар, как отказался он от стакана чаю, как стоит он сейчас там, на холоду, молчит и ждет — и вдруг, стиснув зубы, размахнулся и ударил Пинохина...

Разбор этого поступка происходил в салоне после выполнения мпопосцем задания. Комиссар молчал и крутил папиросу. Крутил из-за него, из-за Кротких, и это было невыносимо. Жизнь казалась конченной: теперь никогда не назовет его комиссар Андриюшей, никогда не спросит, сколько будет девятью девять, никогда не улыбнется и не скажет: «Ну, студент боевого факультета...» Слезы подступали к глазам, и, видимо, комиссар понял, что они готовы брызнуть из-под опущенных век. Он отложил папиросу и заговорил.

Слова его были медленны и казались жестокими. Филатов как-то удивительно все повернул. Он начал с того, что будь на его месте другой комиссар, Кротких не так близко к сердцу принял бы поведение Пинохина. Он сказал, что давно видит, как преданно и верно относится к нему Кротких, но все это не очень правильно. Оказалось, он заметил однажды ночью, как Кротких вошел к нему на цыпочках, прикрыл иллюминатор, поправил одеяло и долго смотрел, улыбаясь, как он спит (тут Кротких покраснел, ибо так было не однажды), и назвал все это мальчишеством, никак не подходящим для краснофлотца. Если бы Кротких ударил Пинохина потому, что тот оставил свой боевой пост, навредил этим всему кораблю и, по существу, изменил родине, то это комиссар мог бы еще как-то понять. Но ведь Кротких полез в драку совсем из других причин, и причины эти высказал сам, крича, что у него, мол, за комиссара сердце горит, такой, мол, человек на палубе мерзнет, а эта гадюка в тепле припухает...

Филатов говорил резко, и Кротких мучился. Комиссар, наверное, заметил это, потому что закурил, наконец, папиросу, и Кротких, изучивший его привычки, понял, что он больше не сердится. Но Филатов выдохнул дым и неожиданно закончил:

— Взыскание — само собой. По комсомолу, надо полагать, тоже вздраят... А вас придется перевести.

У Кротких поплыло в глазах.

— Товарищ батальонный комиссар, мне на другом корабле не жить, — сказал он глухо. И голос комиссара вдруг потеплел.

— Да я не собираюсь вас с миносоца списывать. Где вы такого Сухова найдете, этак вся учеба у вас пропадет... Перейдете вестовым в кают-компанию. Автоматикку свою в тот буфет заберите, пригодится... Так, что ли?

И хотя Кротких внутренне считал, что совсем не так, что комиссар не понял его любви и преданности и что вся жизнь теперь потускнела и уходит в кают-компанию просто тяжело, он все-таки вытянулся и ответил:

— Точно, товарищ батальонный комиссар.

Это было настоящим горем. Кроме того, Кротких не предполагал, что на свете, кроме любви, существует еще и ревность. Он впервые познал это горькое и обидное чувство. Другой заботится теперь о комиссаре, другой, а не он, слышит его шутки за обедом, с другим, а не с ним, ведет комиссар душевный вечерний разговор, прихлебывая чай с консервированным молоком. И уж, конечно, новый вестовой не догадается припрятывать молоко от гостей, не сумеет накормить в шторм...

В этом своем горе, ревности и раскаянии Кротких повзрослел. Это произошло как-то неожиданно для него самого. Он стал сдержаннее, серьезнее и, невольно подражая Филатову, выдерживал паузу, если гнев или обида требовали немедленного поступка. Крутить папиросу ему не приходилось — не везде закурить. Поэтому он приучил себя в этих случаях шевелить по очереди всеми пальцами (что удобно было делать даже держа руки по швам).

Филатова он видел теперь много реже, чем раньше: на официальных собраниях, иногда в кают-компания или в кубрике. На палубе он старался пристать к кучке людей, обступивших комиссара, и Филатов говорил с ним, как со всеми, и в глазах его ни разу не мелькнуло то ласковое тепло и живое любопытство, к которым так привык Кротких и которых ему так теперь не доставало.

И постепенно Филатов, родной и близкий пожилой человек, заменялся в его представлении Филатовым — комиссаром корабля. Но странное дело: именно теперь Филатов окончательно вошел в его сердце.

Это была не та мальчишеская, смешная и трогательная, но глуповатая любовь, которой он горел прежде. Теперь это была новая, глубокая — военная любовь.

Черное море показало свой грозный нрав, миносодец нырял в волны, как подводная лодка, и вся палуба была в ледяной воде и в мокром льду, а в кубриках днем и ночью ждало горячее кофе, глоток вина и сухие ватники. И вахту наверху сменяли через час, — и Кротких понимал, что это подсказано комиссаром. На маленькой базе, куда зашли ремонтировать после шторма, к трапу подъехала подвода, где лежали восемь барашков, зелень, две гитары, мансарны и капуста, и люди в косматых шапках ломаным русским языком спросили, как передать этот маленький подарок храбрым морякам, о которых рассказывал вчера в колхозе комиссар. В каждом большом и малом событии корабельной жизни, в разговорах с другими, в бою и в работе машины и орудий — везде чувствовал Кротких комиссара, его мысль, его волю и заботу.

В один из тех смутных дней странной южной зимы, когда солнце греет, а ветер холоден, все на миноносце с утра ходили молчаливыми и хмурыми: дошло известие, что немцы взяли Ростов-на-Дону. Мысли, тяжелые и тревожные, уходили на Кавказ, к нефти, к прерванной линии железной дороги. Люди не разговаривали друг с другом, дело валялось из рук. Потом головы стали подниматься, глаза блестеть надеждой и ненавистью, руки — работать яростно и быстро: теперь все говорили о Москве, об ударе наших войск, подготовленном Сталиным, о том, что удар этот вот-вот обрушится на врага, и Ростов стал на свое место в гигантской и сложной схеме войны. И Кротких с гордостью подумал, что сделал это комиссар.

Он стал понимать, почему с таким уважением и любовью говорят о комиссаре остальные краснофлотцы, мало знающие его в частной, каютной жизни. Он стал понимать, почему каждый из них готов рискнуть головой, чтобы спасти в бою комиссара, — не просто Филатова, честного и отзывчивого человека, а военного комиссара Филатова, партийную душу и совесть корабля.

Попржежнему стоял Кротких у своего ящика со снарядами, выкладывая их на мат — не дальше. Но мальчишеская зависть к заряжающему (теперь уже не Нинохину, который пошел под суд, а Трофимову) больше не терзала его, как не мучило и сознание, что подвига тут не свершишь. Новое понятие — корабль — значительно и серьезно вошло в него. Он полюбил корабль — его силу и его людей, его сталь и его командиров, его ход и его название. И даже посуда, которую он так ненавидел и презирал недавно, теперь совсем перестала беспокоить его воображение.

Это новое ощущение корабля как живого, сильного и ласкового друга настолько захватило его, что однажды вечером он сел писать свое письмо Оле Чебыкиной.

Но из письма ничего не получилось. Буквы были теперь четкими на загляденье, но передать это удивительное ощущение корабля и любви к нему он никак не смог. Он написал целую страницу затертых невыразительных слов и в ярости разорвал письмо, даже забыв перед этим пошевелить пальцами. Два дня он ходил мрачный, мучаясь, как бы написать о корабле так, чтобы это запало Оле в самое сердце, но корабль сам отвлек его мысли новым событием.

На корабле готовился десант. На комсомольском собрании все объявили себя добровольцами. Но с миноносца требовалось только пятнадцать человек, умеющих хорошо владеть ручными автоматами, штыком и минометом. Кротких под эти требования никак не подходил, и командир боевой части на него даже не взглянул. Кротких пошевелил пальцами и промолчал: в десанте он, несомненно, был бы лишним человеком.

Однако, когда на рассвете миноносец подходил к месту высадки и когда десантники вышли на палубу с оружием и ящик с минами был поставлен на корме, готовый к погрузке на шлюпку, вся душа в нем заняла. Мины лежали в ящике ровным рядом, пузатые, понятные, как снаряды его автомата, поближе кивающиеazole, — и конечно, он лучше всех мог бы вытаскивать их из ящика и подносить к миномету. Он вздохнул, но тут миноносец резко повернул, заверещал свисток командира автомата помер два: налетели самолеты и пришлось отбиваться. Автомат отрывисто залаял, но что-то простучало по палубе, как горох. Трофимов устал, вырвав снаряд, и автомат захлебнулся: шкировщик дал очередь из пулемета. Кротких полкочил к орудию и, быстро пагибаясь к

Спарядам, им же самим приготовленным на мате, накормил голодную обойму. Автомат вновь заработал. И все внимание ушло на то, чтобы успевать брать из ящика новые спаряды и вставлять их в обойму, и совершенно некогда было подумать, что вот, наконец, он, Кротких, сам ведет бой. Рядом с бортом встал огромный столб воды и дыма, что-то провизжало мимо орудия. Вслед за бомбой в ту же вздыбленную воду с воем и ревом врезался самолет. Кротких заметил лишь хвост с черным крестом и понял, что они все-таки сбивают немца, но и этому он не успел ни обрадоваться, ни удивиться, потому что сзади него закричали:— Мины!..

Он обернулся. Ящик с минами горел, сильно дымя. Мины в нем вот-вот должны были начать рваться. Он увидел, как в дыму мелькнула чья-то фигура, как чьи-то руки попыталась приподнять ящик и как потом краснофлотец (кто — он так и не разобрал) отскочил. Гуцнев отчаянно махнул рукой, сорвал телефонный шлем и крикнул:— Все с кормы!

Каждую секунду могли рвануть два десятка мин, из которых и одной хватило бы на весь оружейный расчет. Кротких вдруг подумал, что вслед за минами начнут рваться в пожаре и его спаряды, а за ними — погреба и весь корабль, и шагнул было к ящику. Но тут за кормовой рубкой грохнуло четвертое орудие, и ему показалось, что уже грянула взрывом пылающая в ящике смерть. Это было так страшно, что он ринулся с кормы вслед за остальными. Шаг в сторону ящика оставил его позади всех, и отчаяние охватило его: если он споткнется, ему никто не поможет. Подлое, паническое малодушие подогнуло его колени. Он сделал усилие, чтобы шагнуть, и вдруг далеко впереди, у носового мостика, увидел комиссара.

Филатов, расталкивая встречных, бежал на корму, и Кротких понял — зачем. Догадка эта поразила его. В два прыжка Кротких очутился у ящика и, обжигая ладони, ухватился за дно. Ящик был слишком тяжел для одного человека. Второй бежал на помощь. Но этот второй человек был комиссар корабля, и подпускать его к ящику было нельзя.

Он присел на корточки и схватил раскаленный стабилизатор крайней мины. Ладонь зашипела, острая боль на миг заохлонула сердце, но мина вылетела за борт. Он тотчас схватил вторую.

Может быть, он что-то кричал. Так потом рассказывали ему товарищи: говорили, что он прыгал на корточках у ящика, тащущий какой-то страшный ганец боли и ругаясь во весь голос бессмысленно и жутко. Но мины летели за борт одна за другой, быстро освобождая горящий ящик. Выпрямившись с очередной миной в руках, он увидел комиссара: тот был уже у кормового мостика, рядом со смертью. Тогда Кротких, надеживаясь, позвал на поручни опустошенный наполовину ящик. Пламя лизнуло его лицо. Бушлат загорелся. Он отвернул лицо и сильным толчком сбросил за борт ящик. Потом ударил по бушлату ладонями, уже не чувствуя огня.

Тут кто-то крепко и сильно охватил его плечи. Он повернул голову. Это подбежал комиссар.

— Ничего, товарищ комиссар,— сказал он, думая, что комиссар тушит на нем бушлат. Но, взглянув в глаза комиссара, он понял: это было объятье.

АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР

МЫ — ИЗ ПОЛЯРНОГО

(Отрывки из Североморской хроники)

Лишь вспомню —
и щеки горят:

Июнь,
То солнце,
То ливня разряд —
Обычное здесь явление.
Пустой
Горизонт молчалив,
И в скалы,
Заросшие дымами,
Врезается
Кольский залив
Фиордами неисчислимыми.
Гудит
Оксанский прибор
Конвейером,
С места сорвавшимся,
И светится
Выступ любой
Не мхом глянцевоитым,
А замшею.
Как знамя,
Сияет заря,
Шелками окутав Полярное,
В любом отдалении не зря
Любимое и популярное.
Нет солнца
Щедрей, чем у нас,

Когда, после отпуска зимнего,
Восходит оно, как сейчас,
И светит из сумерка дымного.
Нет радуги нашей ясней,
Когда триумфальной аркою
Взлетает она —
И под ней
Идем мы дорогою аркою.
Так искрится море вдали,
Так светится каждая выемка
И каждая складка земли,
Что кажется:
Все это —
Выдумка!
И все же —
В глаза говорю —
Нет края
Суровее нашего.
Но тот,
кто родную зарю,
Как песню,
у сердца вынашивал,—
Тот справится
С пасмурным льдом,
Хотя часовыми
Приставлены
Метели к нему,
И трудом

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

БРОНЯ

Р а с с к а з

Саввин был пожилым моряком, он служил инженером-электриком на одном нашем черноморском крейсере. В морском сражении его ранило в ногу, и он залечивал теперь рану в тихом далеком тылу.

Он был моряк старший, храбрый и добрый; небольшого роста, он раздался, однако, в ширину — в прочные кости и мускулы, не потратив силы в напрасный рост вверх. Слегка багровое лицо его, точно раз и навсегда заржавленное, постоянно имело угрюмое выражение, сохраняя невидимыми за мрачным лицом доброту его сердца и кроткий нрав. Говорил он хриплым внутренним голосом. Но говорил редко, любя больше слов безмолвие, наблюдение и размышление. Это был обыкновенный моряк, потому что таких людей много среди русских моряков. Я в начале нашего знакомства был равнодушен к нему: «еще один добряк и пьяница», подумал я.

Но я ошибся. Морской инженер Семен Васильевич Саввин лишь изредка выпивал, постоянно пить вино он не любил. Не любил он и моря: «В море грустно, там тоска, — говорил Семен Васильевич, — море само по себе не красивое, оно простое и серьезное: это водоем, где водится рыба для нашего пропитания, а по верху его можно возить грузы, потому что это обходится дешево, а счастья на море нет, на сухой земле лучше — тут хлеб, тут цветы, тут люди живут».

— А почему тогда вы всю жизнь моряк, Семен Васильевич? — спросил я у него.

Саввин помолчал. Мы сидели в траве, на склоне отлогой балки, нисходящей устьем к реке Белой. Пред нами, на той стороне балки, вжились в землю мирные деревянные жилища и от них начинались спускающиеся вниз картофельные огороды. Вдалеке по небу, над синими холмами Урала, плыли облака, столь ослепительно чистые от освещающего их солнца, что они казались святыми видениями. А под теми облаками лежала открытая земля, в труде и терпении непрерывно рождающая благоухающие нивы для жизни людей.

— Я с детства люблю нашу русскую землю, — сказал Саввин, и вдруг умолк. Потом тихо произнес: — Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной. Не может быть, думалось мне, чтобы никто ее не полюбил и

не захотел у нас отпить, захватить. Еще в детстве я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов, и от боли и страха у меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло, мой страх за Россию остался... Потом я вырос, как все растет, меня призвали в армию, а из армии я уже не ушел. Только потом, постепенно, из рядового солдата я стал военным морским инженером; я понял, что умелый, образованный солдат сильнее неумелого. Потом я полюбил корабли. Эти быстрые стальные крепости, казалось мне, должны хорошо оборонять нашу мягкую русскую землю, и она останется навеки нетронутой и цельной...

— Одних кораблей мало, — сказал я моряку. — Нужны еще танки, авиация, артиллерия...

— Мало, — согласился Саввин. — Но все произошло от кораблей: танк это сухопутное судно, а самолет — воздушная лодка. Я понимаю, что корабль не все, но я теперь понимаю, что нужно: нам нужна броня, такая броня, какой не имеют наши враги. В эту броню мы оденем корабли и танки, мы обрядим в нее все военные машины. Этот металл должен быть почти идеальным по стойкости, по прочности — почти вечным, благодаря своему особому и естественному строению. Броня — ведь это мускулы и кости войны.

Саввин воодушевился, что с ним бывало очень редко, вероятно потому, что свое воодушевление он тратил на тайну своего размышления, на работы, и на виду оно не проявлялось.

Я пошел провощать Саввина в госпиталь. Он шел медленно, опираясь на трость. Возле одного деревянного домика, ветхого, глубоко ушедшего в почву, но милого, похожего обликом на дремлющего старика, Саввин остановился. Он долго смотрел на этот домик, думая и вспоминая.

— Сердце у меня слабеет, — произнес он, — по жизни от этой слабости я чувствую как-то лучше...

— Ничего, мы одолеем врага, и на душе опять будет легко, — сказал я спутнику в утешение.

— Ододем! — странно и злобно воскликнул Саввин. — Надо еще уметь, чтоб одолеть, надо сделать победу из работы и боя! — И он добавил своим обычным хриплым и кротким голосом: — Небольшую долю нашей победы я сделал.

Я удивился и не поверил:

— Где же она, ваша победа?

Саввин ответил:

— Она спит в одной избушке в Курской области, там я схоронил в бумаге десять лет работы.

— Что же это такое?

— Да как вам сказать? Это — новая физиология металла, — сказал Саввин. — Но чтобы вам понятно было, это способ производства броневое сверхпрочного металла, чтобы нас никто не одолел, а мы бы сокрушили врага.

— А в Курской области теперь немцы.

— Нукай, — произнес Саввин. — Немцы там, но земля как была, так и будет русской... Подживет нога, пойду туда, возьму все свои расчеты, все опытные данные и приду обратно. Надо строить новый металл: твердый и вязкий, упругий и жесткий, чуткий и вечный, возрождающий сам себя про-

тив усилия его разрушить... Вы со мной не пойдете туда? Я уже не все помню, что я там наработал: это как книга, из которой нельзя убрать ни одного слова и добавить нельзя.

— Я пойду,— сказал я Саввину.

— Спасибо,— ответил Саввин.— В той избе живет мой дядя, мы там погостим.

— А немцы не спалили избу? Где мы там гостить тогда будем?

— Дядя спрятал мои бумаги в попольн, под основание печки,— сказал Саввин.— Он мужик длинный, он думает далеко вперед. Там не только бумаги, там есть небольшой прибор, который перерождает обыкновенную сталь в сверхпрочную, в броневую, но пока только в маленьких изделиях...

Лето 1942 года проходило в грозах, в дождях и в жаре. Крестьяне и рабочие, уезжая на войну, смотрели из вагонов на поля, на обильные хлеба, на действительные пластыща, и душа их болела: неужели отдавать вору и убийце все это счастье и добро жизни, ради чего мы родились на свет? Нет, мы упредим неприятеля; он пошел со смертью в наши мягкие земли, но он огостенет тут от нашей руки и созреет беспамятно вирах: земля наша хороша и для хлеба и для могилы. И было в боях сейчас только твердое, ненавнящее сердце, готовое к бою за разлуку с семьей, за землю с урожаем, остающуюся здесь в спростстве без сильных рабочих рук; но и сердце есть оружие, и его бывает достаточно для победы, когда его одухотворяет благодарная любовь к родной кормящей земле и когда его движет ненависть.

Мы с моряком Саввиним оставили свое временное местожительство и тронулись на запад. Он имел месячный отдых с отпуском на родину, а я — командировку. Мы доехали до Ряжска, оттуда направились в Тулу, а из Тулы вышли к границам Курской области.

— А как же мы пройдем через фронт: на бога? — спросил я у Саввина, когда мы шли с ним по одинокой полевой дороге, обросшей дебрями великих урожайных хлебов.

Саввина, однако, не озадачивала наша дорога к неприятелю.

— Почему на бога? — сказал он.— По России же идем, и тут и там Россия, и мы русские,— так сквозь и пройдем. Чего нам у себя дома пугаться: где схитрим, где спрячемся, а где оцдим, там и с врагом побьемся,— а там и наша деревня близко будет.

К вечеру мы дошли до постов боевого охранения нашей части. Саввин пошел в штаб части, чтобы объявить значение своего путешествия — у него были на то бумаги от своего командования. Я долго ожидал его, потом он вышел из штаба растроганный. Командир части предложил ему возложить всю задачу на своих самых опытных разведчиков, а Саввина и его спутника, то есть меня, он просил обждать на месте до возвращения разведчиков. Саввин, конечно, отказался: для успеха дела разумнее было идти ему самому.

В ночь мы пошли вперед, в тьму, где был наш враг. нас проводили двое красноармейцев, затем мы остались одни и пошли, как нам указали бойцы.

Всю ночь мы осторожно шли в тишине. Мы не слышали ни звука, ни выстрела. На рассвете мы увидели вдали избы деревни и ушли спать в густую, дремучую рожь, радуясь хлебу, укрывающему нас.

Вечером мы обошли полутную деревню и направились далее. Среди ночи мы встретили на дороге неизвестного темного человека. Он шел один, а мы,

притаившись в хлебах, следили за ним, пока он не ушел во тьму. Судя по походке, это был крестьянин; он шел в сторону Москвы, может быть, желая встретить Красную Армию, чтобы остаться в ней бойцом, может быть, чтобы спастись от смерти под властью своего народа. Я поглядел вслед исчезнувшему и заскучал по той стороне, куда побред одинокий крестьянин.

Мы шли еще две ночи. Мы питались сухарями, которые взял Саввин, огородным луком и капустными листьями.

Огороды были не возделаны, по ним пошла поросль бурьяна, и тот овощ, что произрастал, родился самосевом, либо рос еще с прошлого года, став уже жестким перестарком. Видно, что крестьянская душа стала здесь равнодушна к земле или вовсе уже не было хозяина в живых.

На очередной почлег мы расположились в кустарнике, недалеко от проезжей дороги, которая когда-то была людной. Днем я проснулся от света полуденного солнца и посмотрел в пустое русское поле, все такое же обыкновенное и родное, но ставшее здесь для нас чужбиной. Саввин храпел возле меня, и бабочка, захотевшая сесть на его лицо, в ужасе отлетела прочь.

Издали по дороге шли неизвестные люди. Они шли медленно, и я долго ожидал, чтобы они появились ближе. Они шли с московской стороны, и видно — им далеко было еще идти и они не спешили.

Вперед шел немецкий солдат с автоматом; серая пыль, прах нашей земли, покрыва одежда чужестранца. За ним брели молодые крестьянки, одна из них была девочка лет пятнадцати; всею я их сосчитал четырнадцать человек; позади их шагала, торопя пленниц, другой немецкий солдат. Но пленницы не хотели торопиться. Они часто оглядывались назад, на спящие солнцем родные места, пагубались, чтобы поправить обувь, перевьючивали друг на друга котомки с хлебом, а одна девушка отойшла с дороги в сторону и сорвала цветок или булавку, но на нее строго залопотал немец.

Они шли с котомками за спиной, с палками в руках, покрыв головы темными платками, они шли в дальнее безвозвратное странствие. Молодые и юные, еще кроткие сердцем, они брели согнувшись, как в старчестве, потому что их уводили на вечную разлуку, и они стали тихие от горя, как умершие. В детстве я видел, что так шли на богомолье из Сибири в Киев ветхие, умолкшие старухи.

Я разбудил Саввина.

— Погляди, — сказал я ему.

Он посмотрел на шествие.

— Их в рабство гонят, — произнес он. — Их ведут в Германию...

Мы притаились. Одна большая женщина опустилась вдруг на колени и поникла к земле. К ней подошел солдат и, схватив ее сквозь платок за волосы, приподнял, чтоб она шла, но женщина поникла обратно. Тоска ее и любовь к привычной земле, откуда ее уводили, была, видимо, в ней сильнее страха смерти. Она припала лицом к земному праху и заголосила грудным и нежным голосом, вскормленным на больших открытых пространствах ее родины. Мы вслушались в ее голос, в нем не было слов, но было долгое, вечное горе, от которого обмирало ее сердце, и голос ее звучал столь чисто и одухотворенно, что в нем не слышалось никакого телесного усилия, словно это звучала одна ее ноющая душа. Мы забылись и заслушались лесней пленницы, гонимой на смертную работу.

Немецкий солдат еще раз попробовал коснуться обмершей женщины, чтобы заставить ее подняться и идти, но пленница вдруг перестала голосить и сама поднялась навстречу ему. Она сначала поправила котомку за плечами, а потом отвела от себя руку солдата и пошла в обратную сторону, домой, ко двору. Теперь мы снова увидели, что она была крупного роста, солдат же против нее был невелик и слаб.

Пленница уже отошла от своих подруг, но они глядели ей вслед. Она уходила спокойно, точно чувствовала свое право свободы. Тогда немец прижал к себе ложе автомата и выстрелил в женщину несколько раз. Пленница была еще близко от своего врага, и он в нее попал, но она, не оглянувшись, продолжала идти домой. Немец выстрелил еще, однако, женщина не пала мертвой и шла обыкновенно, как прежде. Озадаченный солдат побежал за ней на несколько шагов, остановился и стал для удобства стрельбы на одно колено. Но возле меня раздалось два выстрела, и немец, смирившись навеки, покорно склонился к земле на дороге. Другой немец, что был впереди, вскинул автомат в боевое положение, однако, новые три пули Саввина поразили его, и этот солдат пал к земле со всего роста, и дорожная истертая пыль поднялась в безветрии над его трупом.

Саввин все еще держал свой револьвер, положив его дуло меж двух ветвей, росших рогаткой; он хотел еще убить какого-нибудь врага, но больше их пока не было. Пленницы-женщины сразу исчезли с дороги; они стремились через поле, в дальний лес, по ту сторону дороги, спеша утолить свою тоску по дому и свободе.

Кустарником мы ушли своим направлением и вскоре легли спать на дне оврага в кустах бурьяна.

Мы проснулись под вечер, но еще засветло. По оврагу плыл едкий дым от горящего жилья.

— Что это там? — сказал я Саввину. — Должно быть, деревня горит...

— А что там, — грустно произнес Саввин. — Там обыкновенно что: немцы народ наш казнят. Пойдем туда. Обожди...

Он нашел у себя в кармане листик бумаги и написал на нем карандашом название деревни, куда мы шли, и имя своего дяди; он хотел, чтоб я и один мог найти ту избушку, где хранится тайна вечной несокрушимой брони; он не понимал, что может скончаться от руки врага, и завещал мне спасти свое драгоценное достояние, которое, он верил, может ограить наш народ от смерти и помочь его победе.

Мы вышли на бровку оврага. Недалеке от нас, вверх по земле, тихо догорали деревенские избы; пламя пожара уже угасало, и последние искры восходили к небу. Навстречу нам шла женщина с тяжелой ношей на руках, заплеченной в одеяло. Мы остановили ее.

— Ты куда? — спросил у нее Саввин.

— Теперь хорошишь хожу, потом сама помирать сюда приду, — сказала женщина и приветливо улыбулась нам; на вид эта женщина была уже старухой, а, может быть, она состарилась до времени.

— Кто там в этой деревне? — указал Саввин на пожар.

Женщина не ответила. Она села со своей ношей на землю и отвернула край одеяла.

Из-под одеяла забелело, почти засветилось лицо ребенка, украшенное вокруг локонами младенчества. Мы склонились к этому столь странному сияющему лицу ребенка и увидели, что глаза его тоже смотрят на нас, но взор его равнодушен; он был мертв, и лицо его светилось от пещности обескровленной кожи. Женщина повела на нас рукой, чтобы мы отошли. Мы послушались ее.

Женщина покачала ребенка.

— Сейчас, сейчас, — сказала она ему, — сейчас я тебя в овражке скороною и лопушками укрою, потом братцев и сестриц тебе принесу, потом сама приду, сама с вами лягу и сказку вам расскажу, новую сказку:

Жили-были люди,
Померли все люди.
Нарожались черви,
Стали черви люди.
Черви все подошли,
И остались глина.
А на глине корка,
А на корке травка.
В травке той росистой
Сердце наше дышит,
Сердце наше плачет
Об умерших детях.
Все прошло-пропало.

Одно сердце стало
Жить на свете вечное,
Умереть не может,
Потому что плачет,
Плачет-ожидает,
Мертвых вспоминает.
Мертвые вернуться,
Спящие проснутся,
И тогда, что было,
Сердце позабудет
И любить нас будет
В неразлучной жизни.

Потом женщина закрыла лицо ребенка уголком одеяла и пошла с ним в глубину оврага, улыгнувшись в нашу сторону, но улыбка ее была столь жалкой, что означала лишь терпеливую печаль ее жизни. Мы подождали ее. Она вернулась с пустым одеялом и пошла обратно в деревню. Мы тронулись за ней; она, оглянувшись на нас, вдруг запела веселую женскую песню.

— Ты что? — спросил ее Саввин.

— А я хмельная, — весело сказала женщина.

— А кто же тебя водкой здесь поит, немцы, что ль? — удивился Саввин.

— Они, а кто же, — ответила женщина. — Я детей из яслей хоронить таскаю, их там печным чадом поморили...

— Кто их поморил? — спокойно спросил Саввин.

— Они, — сказала женщина, — а мужиков и баб всех прочь угнали, оставили самую малость, да и тех побьют, — деревня-то каждую ночь горит, они ее сами жгут, а на нас серчают и казнь нам дают.

Саввин взял женщину за руку.

— Где сейчас немцы? Только не ври! Много выпила-то?

— Чуть-чуть, — произнесла крестьянка. — Обещали еще потом угостить и закуску, сказывали, дадут. Они теперь в школе, воп на том краю. Там помещенные каменное, там и ясли были с детьми, а теперь детей поморили и от них дух пошел, а немцам наш дух не нравится, вот я и пошу ребят на покой... Сама плачу над ними, сама отпеваю их, — кто ж будет горевать-то по ним? — одна я женщина и осталась на деревне, всем я теперь мать, да еще две старухи помирают лежат, а четырех мужиков остаточных они при себе на черной работе держат, коли не побили уже: вчерашний-то день наших шестеро было в живых, двоих они убили...

Крестьянка ушла от нас, стало сумрачно и темно, пожар давно потух. Мы легли в траву на околице этой сожженной, разоренной, нелюдимой деревни, куда ушла крестьянка, веселая от хмеля и печальная от судьбы. Вскоре она снова появилась и прошла мимо нас к оврагу с маленьким покойником, завернутым в одеяло. Потом она пошла обратно. Мы глядели на ее темное тело, бредущее ночью по траве, и ожидали, когда она опять пойдет мимо нас. Она опять пришла с очередной ношей в одеяле и скрылась во мраке оврага. Затем возвратилась и снова прошла в деревню к мертвым детям.

Мы следили за ее работой и молча терпели нашу горе. Но сколько его можно терпеть,— и не за то ли, что мы тершим нашу горе, мы погибаем? Не означает ли такое терпение только нашу любовь к собственному существу, только наше желание жить какими угодно средствами, забывая погибших и любимых, прощая убийцу, сдерживая свою душу против врагов, лишь бы нам можно было дышать хоть в полсердца и есть нищу, какую дадут, лишь бы нам позволили жить, хотя бы в вечной муке? И я подумал: «Как бы мне хотелось увидеть человека, послушного лишь мгновенному решению своего разума и сердца и не подчиненного томительной привязанности к жизни! И жизнь — где она одухотвореннее и сладостнее, как не в таком мгновенном движении сердца и в осуществлении его решения?..»

Крестьянка в очередной раз прошла со своей ношей в овраг и вот уже снова возвращалась обратно. Саввин поднялся, положил руку за пояс, где у него хранился короткий и мощный палаш-клинок, и направился во след женщине.

— Обожди меня тут,— сказал он мне тихо.— Я скоро буду.

— А броя? — спросил я.— Тебя убить могут, надо сначала дойти до твоей деревни, я один заблужусь.

— Найдешь,— часто дыша, ответил Саввин.— И меня убить не могут, потому что я сам убью их!..

Я остался один. Всюду была темная почва, в деревне была тишина. Я ожидал Саввина, радуясь, что у него оказалось то человеческое внезапное сердце, которое я так любил всегда и ожидал везде.

В деревне раздался выстрел, но глухой и робкий. Я больше не мог оставаться неподвижным, потому что я тоже был человеком, и побежал во тьму, куда ушел Саввин. Долгое время я искал школу, это каменное помещение, где лежали наши мертвые дети. Там были немцы. Я блуждал в огородах, в каком-то инвентаре и среди избяных печей, оставшихся после пожара, затем я убежал на пустошь. Там шел куда-то одинокий человек, и я сразу напал на него, но, почувствовав беззащитную мягкость тела, я оставил это существо. Оно оказалось плачущей женщиной, и по голосу я узнал крестьянку, которая таскала мертвых детей в овраг.

Она повела меня, и я пошел.

— Не бойся, их теперь нету,— сказала она.

— Чего ты плачешь? — спросил я у женщины.

— Он их всех побил... он их клинком заколол... сперва одного на часах, потом прочих, коп уж на отдых легли в помещении,— говорила женщина.— Он их сразу, он им и вспомнить про себя ничего не дал, семь душ — все лежат...

— А чего ты плачешь?

— А он и сам тоже лежит, помирает... Один-то немец не враз помер, и в него успел стрелкнуть и попал ему в грудь писквоть... Я побежала кликнуть бабку-повитуху, а она тоже померла без присмотра.

У входа в школу лежал навзничь мертвый часовой. Крестьянка взяла его за ноги и поволокла, чтобы тут его не было. Внутри помещения горел фонарь «летучая мышь» и смутно освещал чужих покойников; двое из них лежали на детских кроватках, которые немцы приспособили для сна, поставив для удлинения их табуретки; прочие кровати были пусты, и четверо мертвецов валялись на полу — они, должно быть, пытались одолеть Саввина; один немец лежал в черной шинели, а остальные были в белье, разобравшись на ночь по-домашнему.

Саввин лежал в углу, в отдалении, отдельно от поверженных им врагов. Я склонился к его лицу и подложил ему под голову детскую подушку.

— Тебе плохо? — спросил я у него.

— Почему плохо? Нормально, — трудно дыша, сказал Саввин. — Я умираю полезно.

— Тебе больно?

— Нет. Больно живым, а я кончаюсь, — прошептал Саввин.

— Как же ты их всех один осилил? — спрашивал я, расстегивая ему пуговицу на воротнике рубашки.

Саввину стало тяжело, но он произнес мне в ответ:

— Не в силе дело — в решимости, и в любви, твердой, как зло...

Он начал забываться; потом прошептал свое имя, может быть, вспомнил, как его когда-то называла мать, и, утратив память о жизни, закрыл глаза на смерть.

Я поцеловал его, я попрощался с ним навеки и пошел выполнять его завещание о нескрушимой броне. Но самое прочное вещество, оберегающее Россию, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в сердце этого человека.

А. ТВАРДОВСКИЙ
ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

Книга про бойца

(Окончание)¹

IX. О ПОТЕРЕ

Потерял боец кيسет,
Запскался,— нет и нет.

Говорит боец:— Досадно.
Столько вдруг свалилось бед.
Потерял семью. Пу, ладно.
Нет, так на тебе — кисет!

Запропастился куда-то,
Хвать-похватъ, пропал и след.
Потерял и двор и хату.
Хорошо. И вот — кисет!

Кабы годы молодые,
А не целых сорок лет...
Потерял края родные,
Все на свете — и кисет.—

Посмотрел с тоской вокруг:
— Без кисета, как без рук.—

В неприятном школьном доме —
Мужики — го детвора.
Не за партой, на соломе,
Перетертой, как костра,

Спят бойцы, кому досуг.
Бородач горюет велух:

— Без кисета у махорки
Вкус не тот уже. Слаба!
Вот судьба, товарищ Теркин.—
Теркин:— Что там за судьба.

Так случиться может с каждым,—
Возразил бородачу.—
Не такой со мной однажды
Случай был. И то молчу.

И молчит, сонит сурово,
Кое-где привстал народ.
Из мешка из вещевого
Теркин шапку достает.

Просто шаяку меховую,
Той подругу боевую,
Что сидит на голове.
Есть едма. Откуда две?..

— Привезли меня на танке,—
Начал Теркин.— Сдали с рук.
Только нет моей ушанки,
Непорядок чую вдруг.

И не то, чтоб стало зябко,
Просто, гордость у меня.
Потому боец без шапки —
Не боец. Как без ремня.
А девчонка перевязку
Нежно делает, с опаской.

¹ См. «Знамя» № 9 зл. 1942 г.

И, видать, сама она
В этом деле зелена.

— Шашку, шашку мне, иначе
Не поеду.— Вот дела.
Так кричу, почти что плачу,—
Рана трудная была.

А она, девчонка эта,
Словно «башки-баю»,
— Шашки вашей,— молвит,— нету,
Я вам шашку дам свою.—

Наклонилась и надела.
— Не волнуйтесь,— говорит,
П своей ручонкой белой
Обкололась: был небрит.

Сколько в жизни всяких шапок
Я носил уже — не счесть.
Но у этой даже запах
Не такой какой-то есть...

— Ишь ты, выдумал примету.
— Слышал звон издалека.
— А зачем ты шашку эту
Сохраняешь?
— Дорога.

Дорога бойцу как память,
А еще сказать могу —
По секрету, между нами —
Шашку с целью берегу.

И в один прекрасный вечер
Вдруг случится разговор:
«Разрешите вам при встрече
Главной вручить убор».—

Сам привстал Василий с места
И под смех бойцов густой,
Как на сцене, с важным жестом
Обратился будто к той,

Что пять слов ему сказала,
Что таких ребят, как он,
За войну перевязала,
Может, целый батальон.

— И какие знает речи,
Из каких полыхтбесед!
«Разрешите вам при встрече...»
Вон тут что. А ты — кисет...

— Что ж, понятно, холостому
Много лучше на войне:
Нет тоски такой по дому,
По детишкам, по жене.

— Холостому? Это точно.
Это ты как угадал.
Но поверь, что я нарочно
Не женился. Я, брат, знал.

— Что ты знал! Кому другому
Знать бы лучше наперед,
Что уйдет солдат из дому,
А война домой придет.

Что пройдет она потоком
По лицу земли живой.
И заставит рыть окопы
Перед самой Москвой.
Что ты знал!..

— А ты постой-ка,
Не гляди, что с виду мал,
Я не столько,
Не полстолько —
Четверть столько
Только знал.

Ничего, что я в колхозе,
Не в столице, курс прошел.
Жаль, гармонь моя в обозе,
Я бы лекцию прочел.

Разрени одно отметить,
Мой товарищ и сосед:
Сколько лет живем на свете?
Двадцать пять! А ты — кисет!—

Бородач под смех и гомон
Рост вновь труху-солжому,
Пережужал все вокруг:
— Без кисета, как без рук...—

— Без кисета, несомненно,
Ты боец уже не тот,

Раз кюсет — предмет военный.
Ну-ка, мой не подойдет?

Иринимай, я добрый парель,
Мне не жалко отдавать.
Мне еще пять штук подарят
Вместо ордена опять. —

Тот берет кюсет потертый,
Как дитя, обновке рад...
И тогда Василий Теркин
Словно вспомнил:
— Слушай, брат.

Потерять семью не стыдно —
Не твоя была вина.
Потерять башку — обидно,
Только, что ж, на то война;

Потерять кюсет с махоркой,
Если некому пошпль,
Я не спорю, тоже горько,
Тяжело, но можно жить,

Пережить беду-проруху,
В кулаке держать табак, —
Но Россию, мать-старуху,
Нам терять нельзя никак.

Папи деда, наши дети,
Наши внуки не велят.
Сколько лет живем на свете?
Тыщу? Больше! То-то, брат.

Сколько жить еще на свете?
Год или два, или тыщи лет?
Мы с тобой за все в ответе.
То-то, брат. А ты — кюсет!

Х. ПОЕДИНОК

Ночь. Идут в разведку двое.
Светит снег, а все ж темно.
Охраненье боевое
Позади уже давно.

На пожарищах деревни,
На земле торчат пичьей

Обгорелые деревья
У обрушенных печей.

За пустынным, странным тыном,
За какой-нибудь стеной —
Ни собаки, ни скотины,
Ни одной души живой.

Хлопнул выстрел близко где-то,
Поднялась, пошла ракета,
Освещая все вокруг.
Пулемет!
— Ползком, Савчук... —

Снова снег мерцает синий.
Стихло все.
— Ты что, Савчук?
— Теркин, друг, лежу на спине...
Вася милый, мне — каюк!

Теркин — к другу. Сам встревожен.
— Эх, товарищ боевой,
Что со смерти слезть не может,
А лежит на ней живой.

Отвались тихонько набок.
Слышишь, что ли? Дай помочь.
Что, ты думал — это баба,
Прогреть решил всю ночь? —

И с мальчишечьей отвагой
Руку — в снег:
— Позволь-ка я... —
Будто рака под корягой
Достает: а вдруг змея.

Откопал, глядит на свет.
Капсюль — воп. И мины нет.

Подползли к кустам, к оврагу,
Вот уж проволока видна.
Стали будто бы на тягу,
И ни шагу до видна.

Просидели ночь в овраге,
Ночь не жаркая была.
Раза два из общей фляги
Потянули для тепла.

Втихомолку закусили,
Закурить бы,—так побудь.
Ночь прошла. Вдохнул Василий,
И ни с чем в обратный путь.

Не с великою отвагой
Подползал Савчук к оврагу,
Но зато в обратный путь
Ее пришлось его тянуть.

Как то вовсе и не страшно
Но следам ползти вчерашним,
Где, казалось, каждый шаг,
Вдох и выдох слышит враг.

Да, товарищи родные,
Правду молвить долг велит:
Кто в разведку шел впервые,
Испытал и страх и стыд.

Испытал тоску и жалость
По себе. И песью дрожь.
Так вот прямо ты, казалось,
В клешни, тепленький, идешь.

А бывалые ребята
Не боятся тех клешней.
Пусть тебе и страшновато,
Да врагу сто раз страшней.

Ты врагу за каждой веткой
Ночью мнишься невпопад.
Ты один не спишь в разведке,
А зато там все не спят.

И не зря, свой выдав трепет,
В небо враг ракеты лепит,
Гонит нули в белый свет.
Ты здесь был. Тебя тут нет.

Ты ушел, богат удачей,
Не найти в ночи следа.
Правда, может и иначе
Получиться. Как всегда...

На знакомые задворки
Вышли Теркин и Савчук,
Вскинув разом автоматы,
В снег ребята пали вдруг.

Немец шел, пригнувшись низко,
Белый, шел навстречу сам.
Видно, тоже ночью рыскал,—
Мы к нему, он в гости к нам.

Под бойцами — снег горячий:
Взять «язык» была задача.
Вот язык! Да хоть хорош,
Только вряд ли доведешь,

Вряд ли целого оспишь.
Вот он мимо них шагнул.
И товарища Василий
Тихо под локоть толкнул.

Ни стрельбы нельзя, ни крика —
Обхватить, свалить назад.
Силы был Савчук великой,
Для того и в дело взят.

Смотрит Теркин: что ж он, Валя?
Покачнулся, сбит, повален,
Кувырнулся, как мешок,
Лишь вспорхнул за ним снежок.

И лежит Иван, как мертвый,
В снег уткнулась голова.
И один вцепился Теркин
Немцу в оба рукава.

Двое дальних, неизвестных,
Порознь выросших людей,
Незнакомых, бессловесных,
Каждый с жизнью всей своей —

На пустынном том задворке,
На утоптанном снегу
Были — да! — и тот, и Теркин —
Зверю — зверь и враг — врагу.

Немец был силен и ловок.
Ладно скроен, крепко шит,
Он стоял, как на подковах,—
Но пугай, не побежит.

Сытый, бритый, береженный,
Даровым добром кормленный,
На войне в чужой земле

Отоспавшийся в тепле,—
Он ударил, не страшая,
Бил, чтоб сбить наверняка.
И была, как кость, большая
В русской vareжке рука...

Но играл со смертью в прятки:
Взялся — бейся и молчи!
Теркин знал, что в этой схватке
Он слабей. Не те харчи.

Есть войны закон не новый:
В отступленьи ешь ты вдоволь,
В обороне — так ли, сляк,
В наступленьи — натощак...

Немец стукнул так, что челюсть
Будто вправо подалась.
И тогда, боец, не целясь,
Хряснул немца промеж глаз.

И еще на снег не сплюнул
Первой крови злую соль,
Немец снова в санки сунул
С той же силой, в ту же боль.

Так сошлись, сцепились близко,
Что уже обоймы, диски,
Автоматы — к чорту, прочь!
Только б нож и мог помочь.

Бьются двое в клубках пара,
Об ином уже не речь,—
Ладит Теркин от удара
Хоть бы зубы заберечь.

Но откуда Теркин санки,
Сколько мог,
В бою берег,
Двинул немец, точно штангой,
Да не в санки —
Вдруг шод вздох...

Охнул Теркин. «Плохо дело,
Плохо,— думает боец.—
Хорошо, что легок телом —
Отлетел. А то б — конец!»

Устоял и сам с испугу
Теркин немцу дал леща,
Так, что собственную рубку
Чуть не вынес из плеча.

Чорт с ней! Рад, что не промазал.
Хоть зубам не полож счет,
Но и немец правым глазом
Наблюдепья по ведет.

Драка — драка, не итруска;
Хоть огнем горит лицо,
Но и немец красной юшкой
Разукрашен, как яйцо.

Вот он, в полвернике, противник,
Посом к посу. Теспота.
До чего же он противный —
Дух у немца изо рта.

Злобно Теркин сплюнул кровью.
Ну и запах, валит с ног.
Ах ты, сволочь, для здоровья,
Не иначе, жрешь чеснок.

Ах ты, племя нелюдское,
Ну, чеснок — куда ни шло;
Нет, так мясо жрешь сырое,
Чтоб до баб тебя звало.

Ты куда спешил — к хозяйке?
«Матка, млеко? Матка, яйки?»
Оказать решил нам честь?
Подайвай? А кто ты есть?

Кто ты есть, что к нашей бабуе
Заявился на порог,
Не спросясь, не снявши шапки
И не вытерши сапог?

Со старухой сланить в силе?
Подайвай? Нет, кто ты есть,
Что должны тебе в России
Подавать мы пить и есть?

Не калека ли убогий?
Или добрый человек?
Заблудился

По дороге?
Попросился
На полет?

Добрым людям люди рады.
Нет, ты сам себе силен.
Ты наводишь
Свой порядок.
Ты приходишь —
Твой закон.

Кто ж ты есть? Мне толку нету,
Чей ты сын и чей отец?
Человек по всем приметам —
Человек ты? Нет. Ползун.

Двое топчутся по кругу,
Словно пара на кругу,
И глядят в глаза друг другу:
Зверю — зверь
И враг — врагу.

Как на древнем поле боя —
Грудь на грудь, что щит на щит, —
Вместо тысяч бьются двое,
Словно схватка все решит.

А вблизи от деревушки,
Где застал их свет дневной, —
Самолеты, танки, пушки
У обоих за спиной.

Но до боя нет им леда,
И ни звука с тех сторон.
В одиночку, грудью, телом
Бьется Теркин, держит фронт.

На печальном том задворке,
У покинутых дворов
Держит фронт Василий Теркин,
В забытых глотая кровь.

Бьется насмерть парень бравый,
Так, что дым стоит сырой.
Словно вся страна-держава
Видит Теркина: — Герой!

Что страна! Хотя бы рота
Видеть издали могла,
Какова его работа
И какие тут дела.

Только Теркин не в обиде.
Не затем на смерть идешь,
Чтобы кто-нибудь увидел:
Хорошо б! А нет — ну что ж!..

Бьется насмерть парень бравый,
Так, как бьются на войне.
И уже рукою правой
Он владеет не вполне.

Кость гудит от раны старой,
И ему, чтоб крепче бить,
Чтобы слова класть удары,
Хорошо б левою быть.

Бьется Теркин,
В драке зоркий,
Утирает кровь и пот.
Изнемог, убится Теркин,
Но и враг уже не тот.

Далеко не та заправка,
И побита морда вся,
Словно яблоко-попаялка,
Что иначе есть нельзя.

Кровь — сосульками. Однако
В самый жар вступает драка.
Немец горд —
И Теркин горд.

— Раз ты пес, так я — собака.
Раз ты чорт,
Так сам я — чорт!
Ты не знал мою натуру,

А натура — первый сорт!
В ключья шкуру,
Теркин чуру
Не попросит, вот где чорт!

Кто одной боится смерти, —
Кто плевал на сто смертей.

Пусть ты чорт. Да наши черти
Всех чертей
В сто раз чертей!

Бей, не мплуй. Зубы стисну.
А убьешь, так и потом
На тебе, как клец, повиспу,
Мертвый буду на живом.

Отоспнсь на мне, будь ласков,
Да свали меня вперед.
Ах, ты вон как! Дратсья каской?
Ну, не подлый ли народ!
Хорошо же...—

И тогда-то,
Злость и боль забрав в кулак,
Незаряженной грапатою.
Теркин немца с левой — шмяк!

Немец охнул и обмяк...

Теркин ворот нараспашку,
Теркин сел, глотает снег.
Смотрит грустно, дышит тяжело,—
Поработал человек.

Только видит, немец ожил
И пополз к себе домой.
Видит, видит, а не может
Встать хотя бы Теркин мой.

Вот он, немец, оглянулся.
Ни души иной вокруг.
Уползет! По тут очнулся
На снегу Иван Савчук.

Поглядел — ллетень, деревня,
И кругом натоптан снег...
Не поймет, как та царевна,
Что проспала целый век,—
В чем тут дело, что такое?

— Теркин, где мы?
— Тут пока.—
Теркин левою рукою
Показал на след врата:

— Упустил живую силу,
— Ах ты пропасть...
— Изва с ним!
А зато какой красивый
Он зайвится к своим.—

Сам чуть жив, кровавой боркой
Щеки, губы, нос покрыт,
Через боль хохочет Теркин,
Что у немца тот же вид.

А Савчук:
— Однако жалко.
Упустили. Вот дела!
И опять же — зажигалка
У него, небось, была! —

Видит Теркин, в норме парень.
Говорит:
— Прошу учесть,
У него часов по паре,
Да каких! Вот здесь и здесь.

Тут Савчук насупил брови
И на звезды свежей крови
Покосился, хмурый, злой...
Раз!— и валенки долой.

Напрямик как даст вдогонку!
Может, сплпал, может, нет:
— Только бей, Савчук, тихопоько,—
Крикнул слабо Теркин вслед.

Вот минута, две минуты,
Три минуты, пять минут,—
Разувался не для шуток,—
Шесть минут —
И парень тут...

Боспком — добро, закалка.
— Ну Савчук, не так ты прост,
Если вместе с зажигалкой
Немца заживо припнес...

Хорошо, друзья, приятно,
Сделав дело, ко двору —
В батальон птти обратно
Из разведки поутру.

Подполковник Н. ДЕНИСОВ

НА ЮГЕ

1

...Идем бреющим по Волге. То справа, то слева, вровень с вытянувшимся в сторону крылом моноплана, проплывают берега великой русской реки. Возникают и остаются за хвостом самолета колесные пароходы, буксиры и огромные, уставленные березняком плоты. Идет обычный, по-мирному, сплав леса.

Фронт — справа. Он ощущается здесь только по колоннам автомашин и пехоты, спускающимся на юг, по правобережью Волги, к Сталинграду.

В кабине жарко. Мой спутник, Владимир Земляной, мирно подремывает, удобно расположившись на своем сидении. Мы не спим вторые сутки. Бортовые часы спокойно отсчитывают время, августовское солнце поднимается все выше и выше и скоро встает в знойной дымке прямо перед носом самолета. За ним с торжественной медлительностью возникают дымы. Под правой плоскостью на рассеченной нитями дорог серой земле видны ровные ряды танков. Мы пролетаем Сталинградский танковый завод. Раньше здесь делали тракторы. Теперь, в кустах, едва заметные даже на наметанного глаза, стоят «чайки» и МИГи. Эти истребительные эскадрильи охраняют завод от непрошенных воздушных гостей.

Широкий круг над тарелкой аэродрома, сплошь уставленной самолетами, — и мы мягко приземляемся. Сталинград!

Сходим на потрескавшуюся от жары землю и несколько минут спу-

стя на юркой фронтальной машине едем в штаб. Короткий разговор с командующим, занятым картой и срочными телеграммами. Потом в город... на несколько минут в город. Памятник Хользунову над голубой рекой, набережная, похожая на Одессу. Дома, утопающие в зелени. Роскошная, по-европейски просторная и широкая площадь. Город по-военному шумен. Вереницы фронтальных автомашин. Пересекая главную улицу, шагает полк красноармейцев — в скатках, каски в руках, на желтых ремнях винтовки и автоматы. Как бы крепляя бойцов в единое целое, лежат на плечах длинные стволы противотанковых ружей. За шумом города не слышна зенитная пальба. Мы видим только, как на чистом небе вдруг появляются серые и белые комки разрывов. Где-то на огромной высоте бродит немецкий разведчик — Дальше некуда, — говорит Земляной.

Мы смотрим на Волгу. Это край нашего отступления. Дальше — вода. За нами степи. Дальше уходить нельзя.

Машина, наконец, вырывается из потока транспортов, трамваев, подвод и деловитой городской толпы. По пыльной дороге, обгоняя женщин, подростков с лопатами в руках, едем на ближайший аэродром. Там, в уютных землянках-бастиончиках, стоят приземистые Якн. Коки винтов и верх хвостового оперения тронуты яркой киноварью. Это знаменитый полк первых советских ассов. Горячий ветер раздувает зеленые маскировочные сети, кружит маленькими смерчками стелющую пыль. Спу-

кается в землянку. В прохладном сумраке находим склонившегося над картой командира полка.

— Майор Клещев, — знакомится он, чуть сощурился веселые, полные молодого задора глаза. Ему 23 года. На счету у него 16 сбитых лично и 33 сбитых вместе с товарищами немецких самолетов, 48 воздушных побед, звезда героя и три ордена на выцветшей и пропыленной гимнастерке.

В соседнем отсеке землянки — радиостанция. Радиост включается репродуктор, и мы слышим необычный разговор. Слова перемежаются с легкими хлопками выстрелов, каким-то хрипом и непонятным шумом. Прием идет от раппи, находящейся от нас за сто с лишним километров на 7 тысячах метров над землей.

— ...Вот он, справа. Видишь?.. Давай за ним... Это «Юнкерс»... Заходи сверху... Подожди, сначала я дам очередь... Вот так... Давай огня, давай!.. Круче, круче, а то уйдет... Ага! Задымился... Горит, как свечка... Разворачивайся, идем на юг!..

Клещев смотрит на часы. Потом резко говорит радисту:

— Передайте: слышал бой. Молодцы, что свалили «Юнкерса». Через десять минут взять курс на восток. Посадка на своем аэродроме обычным порядком.

Полк каждый день производит по пять-семь вылетов. Только что парный патруль сбил одного фашиста. Радио на самолете — любимый конек командира полка. Он влюблен в это средство связи. Находясь за сотню километров от очага воздушного боя, он слышит, как ведут себя его летчики, если нужно, вмешивается в бой сам, подскажет решение или правильный маневр. Немцы побаиваются «красноносых» Яков Клещева. Особенно о тех пор, как от них крепко досталось в недавнем бою фашистам из школы берлинских воздушных снайперов. Их прислали на этот участок фронта, чтобы завладеть преимуществом в воздухе. Не вышло. К городу они не прошли. А «клещевцы» за вчерашний день сбили 34 немецких машины.

Взвизывая остатки выжженной солнцем травы, в воздух срываются истребители очередного патруля. Сняв пилотку и приложив ее к сощуренным глазам, Клещев следит за

взлетом. Справа стоит его машина, на ее гладком, зализанном фюзеляже алеют два ряда десятисантиметровых звездочек. Каждая из них означает сбитый немецкий самолет. Таких машин в полку много. Ассы зорко и умело охраняют сталинградский воздух.

2

Степь пуста. Палищее солнце иссушило горьковатые травы. Полевая дорога пыльной змеей извивается между ними, то спускаясь в неглубокий овражек, то снова поднимаясь на ровную, как на аэродроме, землю.

— Здесь будут бои, — озираясь вокруг, говорит Земляной.

Куда ни кинь взглядом — пусто. Только где-то в синеве знакомым, противно ноющим звуком проползает «Юнкерс». Вдали, скользя над землей, идут Илы. Их курс на запад, за Дон, на рвущиеся к переправам танковые колонны немцев.

Еще полчася пути. Опять пустота и ровная сухая степь. Трудная местность для обороны, легкая для движения танков. Слева вдали виднеются светлые точки. Подъезжаем ближе. Тысячи женщин и подростков роют широкий ров с круто обрезанными краями. Желтый сырой песок вперемешку с глиной тяжело поднимать из рва лопатами. Никто не смотрит на нас — торопятся. Надо спешить и спешить. Дон недалеко, и за Доном — немцы. Ров длинен — его конец скрывается за холмом, с другой стороны упирается в неожиданный для степи крутой овраг.

В полукилометре и дальше от рва — окопчики. Их деловито оборудуют бойцы, по-маневренному составив винтовки в козлы. Резервный полк тренируется в отрывке окопов. Командир нарочно выбрал место здесь, — может быть пригодятся. Полк пока нужен здесь. Нельзя оставлять степь пустой. Что стоит немцам опустить сюда парашютный десант? Полк оборудует на всякий случай дополнительные к рву позиции, да и поглядывает за воздухом. А придет очередь — задерживаться не станет и, расчленившись, походным порядком двинет выполнять новый боевой приказ.

Снова пустая степь. По дороге навстречу вереницы автомашин. Бен-

вовозки, грузовики, санитарки. За горючим, за боеприпасами, за медикаментами. На закате подъезжаем к Дону. За высокий западный берег медленно уползает багряное солнце. Там, где оно, идет бой. Сюда, в прибрежное село, доносятся глухие раскаты орудийной стрельбы. Огонь ведут тяжелые литерные батареи. По селу, поднимая клубы пыли, медленно оседающей в папылающих сумерках, идут Т-34. Лучшие наши средние танки. Лица танкистов запылены, как и массивная броня с выставленной вперед пушкой. Грохот моторов и ляг гусениц заполняет собой все село. Танки, скидывая с себя маскировку, выползают из самых неожиданных мест. Весь день они простояли здесь, притаившись от немецких воздушных разведчиков. В ночь они уйдут за десятки километров отсюда и на рассвете ударят немцам во фланг.

За селом, на аэродроме, вспыхивает зеленая ракета. Неслышный в шуме танков, проплывает низко над домами связной У-2. До полной темноты летчику надо успеть на передовые командные пункты. Благополучной посадки, товарищ!

У костра и врытых в землю больших котлов — люди: ужины для бойцов вторых эшелонов стрелковой дивизии, сдерживающей натиск врага на этом участке фронта. Часть красноармейцев — с перевязанными руками или головой. Но раненые не уходят на восток.

— Подержимся на Дону, — говорят они твердо, неулыбчиво. Их беспокоит юг. Они слышали от возвращавшегося пешком из боевого полета летчика-разведчика кое-что. Того сбили зенитками немцы, и он пробрался к своим без машины. Беседуя с бойцами за котелком борща, он рассказал, что немцы тянут вниз, к южной излучине Дона, крупные силы.

— Вот бы им во фланг двинуть! — мечтательно говорит низкорослый, с большим упрямым лбом пехотинец.

— Во фланг... — так же задумчиво отвечает ему кто-то из соседей.

В этих словах сказывается многое. Эти люди отступали с боями многие сотни километров. Они помнят Днепр, Оскол, Донец. Теперь они пришли на Дон. В их словах и движениях — горечь и затаенное желание

взять реванш за все: за свой отход, за сожженные немцами украинские села и города, за тысячи убитых товарищей и безвестных замученных фашистами женщин и детей. Сейчас они хотят ударить немцам во фланг. Отвлечь на себя вражеские колонны, спускающиеся на юг, к Морозовской и Цымлянской — этим крупным казначейм станциям на южной излучине реки. Законное и правильное желание.

Ночью вся восточная часть пета полна высоко поднятыми вверх красноватыми вспышками. Стрельбы не слышно. Но мы все видим, как яростно бьют зенитки. Они ставят стену заградительного огня перед Сталинградом.

— Началось, — говорим мы.

«Юнкерсы» одиночками проходят над нашими головами. Город вошел в войну.

3

Командный пункт командира штурмовой группы полковника Горлаченко вынесен на аэродром. Под стогом сена расположился полковник со своим штабом. Жарко. Над головой то и дело рассекают воздух короткие очереди пробуремых перед вылетом пулеметов. Через ровные промежутки времени тяжело нагруженные боеприпасами ИЛы, долго разбежась по степи, идут на взлет. Вслед за ними быстро срываются со своих мест короткие ЛАГГи и ЯКи. В несколько минут построившись в боевой порядок, они уходят на запад и скрываются в просвете между холмами и низкими кучевыми облаками.

В тени второго стога, расстеленную ворот выцветшей гимнастерки и устало приклонив голову к смену, сидит невысокий сильно загорелый человек с выразительным похудевшим лицом.

— Капитан Лыткин, — представляется он мне.

Мы садимся и беседуем о только что совершенном капитаном штурмовом налете на немецкий аэродром. Капитан водил группу ИЛов. Под ожесточенным зенитным огнем он вывел ее к станции и, перестроив в пеленг, зашел на цель.

Полузакрыв глаза, капитан рассказывает, как это было:

— Внизу стояли «Мессершмитты». Я их узнал сразу по размерам и

очертанию крыльев. Чуть севернее на заправке находилось несколько «Юнкерсов». Куда надо было бить сначала? «Мессершмитты», пожалуй, по количеству стояло больше. Потом, они могли начать взлетать, и тогда нам пришлось бы туго... Но ведь главное — бомбардировщики? Я считаю их основной ударной силой немцев. И мы сделали первый заход по «Юнкерсам». Бомбы легли хорошо... В самую гущу. А пока разворачивались, «Мессеры» стали взлетать. Ну, тут я прибавил газку и прошелся еще над их стоянкой. Ребята шли за мной. Скорость-то у нас большая — боеприпасы еще остались. А в воздухе уже пять немцев. Набирают высоту, чтобы атаковать. Ну, думаю, была не была — еще разик зайду. Зашли. Словом, пожгли мы у них там штук двадцать пять... Да еще одного свалили в воздухе. Вернулись все.

— А зенитки, капитан, стреляли?

— Еще как!.. Пришли с пробоями. У меня двадцать три, у ребят по десять — пятнадцать. У меня больше потому, что ведущий. Они всегда норовят бить по головному.

Потом мы едим кулеш и вкусную гречневую кашу. Разговариваем о методах бомбометания с Илов. Капитан — старый авиационный служака. Мы вспоминаем с ним деревянные боевые самолеты, известные под горделивой маркой Р-1. Они у нас были, что называется, на самой заре советского воздушного флота.

Прощаясь, я говорю капитану:

— Счастливой войны, Лыткин! Еще встретимся на военной дороге...

— Вряд ли, — перебивая меня, говорит летчик. — Меня, наверное, скоро убьют.

— Почему?

— Я с этого аэродрома не уйду. Хватит! Либо остановим немцев, либо лучше погибнуть... Врежусь машиной в танки, хоть со славой умру... Мне жена из дому пишет: когда вы их остановите? Стыдно! Я перестал ей отвечать. Вот перейдем в наступление, тогда и напишу, а сейчас — нет... Ну, прощайте!..

Чуть ссутулившись, Лыткин пошел к своей горбатой машине. Техники заканчивали ее ремонт и подготовку к очередному вылету. Через двадцать минут капитан должен был взлететь и повести группу Илов для

повторного удара по немецкому аэродрому.

4

Только что прошел дождь. Воздух посвежел, и на серебристом небе особенно отчетливо вырисовывались контуры «Харрикейнов», барражировавших над переправой. От передового аэродрома до нее буквально податься рукой. С командного пункта командира полка видны и дупище по понтонному мосту войска. Идет пехота, артиллерия, танки. Больше всего танков. В пяти километрах от реки — бон. Немцы насаждают с северо-востока. «Харрикейны» майора Панова охраняют наши войска, которые с хода перестраиваются в боевые порядки и вступают в сражение с немецкой группировкой. Панова зовут Алексей. Комиссара полка Горшкова — тоже Алексей. Они обращаются друг к другу с интимной близостью:

— Леша, дай мне бинокль...

— Леша, ты распорядимся со взлетом во второй эскадрилье?

Полк дерется здесь давно. За последние дни он свалил 65 немецких самолетов. Свои потери — 11 машин. Особенно переживает полк вчерашнюю потерю. Погиб старший лейтенант Кукушкин. Майор Панов скупно, отрывисто рассказывает об этом, не переставая следить в бинокль за горизонтом. Старший лейтенант вдвоем с сержантом Смирновым патрулировал над железной дорогой, где шла в это время выгрузка наших танковых частей. Сюда пришли «Юнкеры» и «Мессершмитты». Немцев было 21. Два русских истребителя врезались в фашистскую эскадру. Бой был яростным. Кукушкин и Смирнов сбили пять немецких самолетов и не пустили их к станции. На последней атаке три «Мессершмитта» зажгли «Харрикейн» Кукушкина, и он упал. Смирнов, израненный, буквально держась на нервах, еще пропатрулировал десяток минут над станцией, в точности выполняя приказ, а затем приземлил свой простреленный самолет на этом аэродроме. Летчик героически, как и подобает советскому истребителю, дрался между Доном и Волгой, защищая Сталинград.

Над переправой возникает серьезная дымка разрывов. Стрельба все учащается. Это идут немцы. Панов приказывает дать сигнал общего выле-

та. Со всех сторон площадки, гулко бурля моторами, срываются в воздух «Харрикейны». Вслед за ними к переправе идут ЛАГГи соседнего полка. Завидев несущихся на них истребителей, немецкие бомбардировщики разворачиваются и, торопливо набирая высоту, скрываются за посеребренным закатом большим облаком.

Мимо аэродрома тянутся вереницы полевод. На длинных телегах, запряженных волами, — различный домашний скarb. Гудят тракторы, увозя на восток похожие на корабельные надстройки комбайны. Идет скот. Молчаливые коровы, тяжело ступая по песку и низко нагнув морды, отмахиваются от ос и комаров. Над дорогой стоит неумолчный шум. Нисеющие придонских степей уходят на Волгу. От Волги к Дону идут танки, орудия, пехота.

— Знаешь, Леша, что мне вчера Кукушкин сказал перед вылетом? — обращается к другу Горшков. — Вижу, говорит, товарищ комиссар, дальше некуда. Я и раньше дрался как будто бы смело, но теперь сердце у меня так ноет, что ни минуты бы на земле не сидел. Один могу койти на всех немцев, кельзя их дальше пускать, нельзя...

— А он их и не пустил, Леша, — помолчав, заключает Панов.

Низко нахлобучив фуражку, он спускается с холмика и, широко шагая, идет к садящимся самолетам. Еще есть время до захода солнца. Можно успеть слетать на штурмовку немецкой колонны. Ее нельзя пускать сюда, за Дон, к Сталинграду. Нельзя!

5

ТБ-3, преодолевая сильную болтанку, идет над степью. Уже четыре часа длится полет. Огибая фронт, мы подходим к Армавиру и приземляемся на его аэродроме с юга. Здесь Кубань. Вторая казачья река, которой в днях придется принимать в свои воды трупы немецких солдат. Через город идут беженцы. Навстречу медленно едут на хороших, сытых конях казаки. Это кубанцы. Лихо налетые набекрень фуражки. Автоматы. Клинки. Они поют протяжную казачью песню. Люди стоят на улицах города и смотрят на казаков.

Люди пришли сюда из Ростова и Батайска. Они проходили пыльными дорогами, мимо плачущих станиц на Маныче. Казаки едут туда. Люди молча провожают их глазами, и каждый знает: на Кубани немцев встретят гостеприимно, по-казачьи — клинком и автоматом.

Воздушная тревога. Предвестником немецких колонн, катящихся по хлеботородным кубанским степям, появляется «Юнкерс».

Он проходит на огромной высоте, оставляя за собой на синем небе клубящийся след инверсии.

— Они бросали на Ростов рельсы и бочки, — говорит женщина, нежно глядя по голове жмушующая к ней девочку. У девочки испуганные глаза, она нервно перебирает загорелыми плечиками. Она была в Ростове, и на всю жизнь у нее остались в памяти звуки тревожной сирены и свист падающих с неба бомб.

Мы ночуем в черкесской семье возле вокзала. Вещи собраны. В доме все приготовлено к переселению. Но люди не хотят уходить из города. Их отцы и матери жили здесь. Этот двор с абрикосовыми деревьями и мирно расхаживающими по потрескавшейся земле курами — их родной дом. Убеждаем отца — старика-рабочего — надо уезжать. Его сыновья в армии.

— Если бы они были здесь! — горестно говорит он.

Старик верит в черкесскую кровь своих сыновей. Он считает, что если бы сыны его были под Ростовом и Новочеркасском, не стучалась бы сейчас беда в ворота дома. Немцы не пришли бы сюда никогда.

Утром прилетают «Юнкерсы». Они заходят на город с трех сторон. Навстречу поднимаются наши истребители. Воздух наполняется шумом моторов, всплесками пулеметных очередей. Свистят бомбы. Армавир принимает первый удар с воздуха ЯКв, в полную силу ревя моторами, мешают немцам бомбить вокзал и мост через Кубань.

Вот один из истребителей гонится за «Юнкерсом». Очередь. Еще очередь. Патроны вышли все. Тогда летчик бросает машину на самолет врага. Наш летчик, курсант здешней школы пилотов, вылетев по тревоге, быстро расстрелял по неопытности

весь свой боевой запас. Горячее сердце русского парня не позволяло ему уйти из боя. Он сделал все, что только было в его силах. Сбил «Юнкерса» ударом винта по хвосту самолета, отмеченного черной, противной свастикой. Три немца взяты в плен. У них испуганные физиономии. Как их зовут? Э, да не все ли равно! С них снимут допрос где полагается. Сейчас их ведут по улицам города, и люди молча смотрят на их сжавшиеся, блудливые фигуры. Их проводят мимо того дома, в который угодила вражеская бомба. Рядом с развалинами — еще неостывшие тела убитых. Старик с запрокинутой назад седой головой. Мать, охватившая руками ребенка. Осолоб пришелся ей в грудь. Она убита во время кормления грудного малютки. Еще жертвы. Немцев оставили на краю воронки. Смотрите, что вы наделали! Они прячут глаза, вбирают головы в плечи. Им страшен молчаливый гнев окружающих.

6

Пышная кубанская станица. Сады полны абрикосов, яблок и вишен. Еще в садах — автомашины, повозги, орудия и зенитные пулеметы. Часть маскируется. На утро за станицей будет бой. Немцы близко. Они идут с севера, захватили Ставрополь и спускаются сюда. Часть прикрывает отход большой группы наших войск к виднеющемуся на юге высотам. Ночью она займет боевые позиции и встретит немцев огнем. Пойдет в контратаку. Остаповит, задержит фашистов, даст возможность своим закрепиться в предгорьях.

На широкой станичной улице людно. Двигаются подводы с нехитрым имуществом. Казачьи семьи уходят в горы. Казаки едут вперед. По трое в ряд, серьезные, нахмуренные лица.

— Такне, — говорю я Земляному, — весной, под Керчью, обвешивали себя галатами и на полном скаку налетали на немецкие танки. Казак сам погибал, но не пускал танки вперед.

Здесь уже шумит слава о новых героических подвигах кубанцев. Их ведет генерал Кириченко. Люди рассказывают о смелом бое под Кушевской, на берегах Еи и в других местах Краснодарского направления.

Немцы подвигаются вперед, но они устилают свой путь трупами.

Удали — клубы черного едкого дыма. Он поднимается столбом и недвижно висит в знойном воздухе. Это горят хлеба. Столько пота пролито в нынешний военный год, чтобы земля уродила такие хлеба. Высокие, полновесные... Но лучше жечь, чем отдавать немцам. Лучше жечь хлеб, угонять скот, резать птицу, обрывать фрукты, уходить старикам, женщинам и детям. Только не оставаться самим, только не оставлять ничего немцам. Пусть придут в пустые станицы. Пусть топчут землю, покрытую золой.

Тяжело жечь хлеб. Тяжело уходить на юг.

7

Безветрие. Пыль стоит стеной над широким шоссе, пересекающим село со странным названием — Просковей. Вечером над Прасковеей прошел двуххвостый «Фокке-Вульф». Ночью немцы разрушили мост на железнодорожной ветке, идущей отсюда к главной магистрали. Ночью немцы выбросили в двенадцати-пятнадцати километрах отсюда десант. Ночью немцы бомбили Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск. Ночью по шоссе прошли войска. Опять на юг. Шагают по шоссе бойцы. Запыленные. Усталые. Идет пехота. Идут танкисты. Идут летчики. Мы стоим у дороги, ведущей на юг, к горам. Пыль оседает на наших лицах. Мы смотрим, как идут летчики. Гвардейский истребительный полк. Парни в синих пилютках, в кожаных шлемах. Они идут, блестя орденами на зеленых гимнастерках. Они приехали сюда, чтобы получить новые самолеты. Не успели. Рядом немецкий десант. С ним справятся пехотинцы, а летчикам надо уходить в другое место. Там их уже ждут новые самолеты. Но дорога разбита, ехать не на чем. Командир не хочет терять время — он ведет их пешком.

— Нет, — убежденно говорит Земляной, — весь этот поток остановится. Дальше Кавказ, а за ним море. Найдутся люди, которые будут ядром, поведут за собой всех. Может быть, это будут вот эти самые летчики-гвардейцы. Они славно дрались в воздухе. С меньшей славой они

станут драться на земле. Может быть, это будут другие люди... Но немцы еще узнают горечь отступления. И у них оно будет другим... Кровавым...

Вечером улетаем из Прасковен и мы. Самолет берет курс на юг. К маячащим на горизонте горам.

8

На грозненском аэродроме, расположенном между гор, как в тарелке, дальние бомбардировщики. Каждую ночь они берут курс отсюда на север и бьют по немецким коммуникациям.

Утром, после боевых вылетов, мы идем в город. Пахнет нефтью, бензином, маслами. Немцы пока не трогают город с воздуха. Часто прилетают их разведчики. Встретив на своем маршруте МИГи и зенитный огонь, уходят.

Весь день мы в обкоме. В штабе обороны города. Грозный — ближайшая цель немецкого стратегического плана. Немцы еще далеко, но здесь готовятся к их достойной встрече, если только им удастся прорваться сюда. Главное — противопожарные средства. Здесь все может гореть. Даже земля. Немецким зажигательным бомбам надо противопоставить свое уменье и стойкость. Всем этим занимается одна группа людей. Другие — на оборонительных работах. Тысячи людей оборудуют укрепления. Так же как и под Сталинградом. Только там степи, а здесь горы. Здесь лучше можно построить оборону. Еще крепче и надежнее, чем в приволжской степи.

Ночью мы в доме у рабочего-нефтяника. Ему 76 лет. Он пропитан нефтью с ног до головы. Черные волосы, черные глаза, черное лицо.

— Тулу отстояли рабочие, — гордо говорит он, потрясая крепкой стариковской рукой, — в Грозном тоже рабочие!

Он лезет в бумажник и достает бережно хранимый и, видимо, в эти дни вынутый откуда-нибудь из потайного места старый, пожелтевший листок бумаги. Это удостоверение из партизанского отряда времен гражданской войны. Любовно складывая

его, старик вспоминает Орджоникидзе и Кирова. Вместе с их именами он называет имена своих приятелей по промыслам и отряду.

— Помни, — говорит он, — мы, грозненцы — грозные рабочие. Сгорим, но не пустим сюда немцев.

9

Небольшой прикаспийский городок. Герой севастьяпольской обороны генерал Петров принял нас ночью. Полутемная комната, походный столик, карта. Генерал не молод. У него слезка подергивается голова — след контузии.

Служебный наш разговор недолог. Генерал любит четкость и краткость. Прощаясь, он подводит нас к карте. Широкий фронт. Горы, реки, море.

— Мы держали Севастополь долго, — говорит генерал, — здесь мне поручили держать оборону важного пути. Офицеры германского генерального штаба обязательно пойдут здесь. Вот так и вот так...

Генерал проводит карандашом несколько линий на карте. Каждая из них упирается в красное полукружье. Этим отмечены части армии генерала, уже занявшие свои боевые позиции.

— А если они пойдут так? — спрашиваю я генерала, проводя линии самым неожиданным способом. Генерал хитро ухмыляется в рыжеватые усы:

— Тогда будет вот что... Видите?

Под красным карандашом генерала оживает карта. Я вижу все те места, над которыми мы пролетали этими днями. Вот лощина — она будет простреливаться вдоль и поперек. Вот мост — он взорвется. Вот гора — ее не возьмешь ни обходом, ни в лоб. Вот маневренные группы, устремляющиеся в обход врага. Вот... Многое показал генерал на карте. Прощаясь, он сказал:

— Если начну воевать здесь, — приезжайте. А лучше бы не начинать. Немца надо остановить и раньше. Ну, да об этом вы и сами знаете.

*Дон—Кубань—Терек
Август, 1942*

БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ

НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ

1

В поезде женщины с корзинами грибов и ягод и автоматчики с дисками, набитыми патронами. На станциях дачники в белых панамках и маршевые роты с полной выкладкой.

По дорогам огромные американские машины с длинными авиационными бомбами, которые везут в клетках, как куриц. Куродам на обед. И, будто комбайны, выходят в поле тачки.

Небо гудит день и ночь. И народ так привык к этому гудению, будто оно так и было со времени возникновения земли и неба.

Это железные пояса Москвы, пояса огня, созданные народом вокруг своей столицы, вокруг Кремля. Озаренный светом солнца, золотой, он все так же высится на холмах своих в лето 1942 года, как во все века русской истории, — символ бессмертия русской земли.

Я еду через города, от которых остались одни трубы, сквозь леса, где только пни и небо, по степи, где взорванные шахты, как след гигантского коня, через балки, где меловые карьеры белые, как вечный снег, все еще от крови красные, точно кремнезём, через реки, где до сих пор ловят шук с пуговицами в брюхе. Здесь был немец.

2

Я проезжал здесь в мае.

Леса были точно после бурелома или пожара. Столетние дубы стояли, расщепленные молниями, без ветвей, березы черные, сосны, как обгоре-

лые свечи. Где прошли танки — просеки, лес виден был насквозь; где била артиллерия — срезала, как бритвой: пустота — пни да небо.

Но прошли дожди, прогремели грозы, разбудили жизнь земли. И полились соки. Задрожал, затрепетал истерзанный лес под напором этой силы. И, точно огонь, вспыхнула жизнь в искалеченных, иссохших, ожогенных черных деревьях. С треском лопнула кора полусожженного дуба, и пустил он во все стороны новые ветви, точно руки, шипающие вновь обретенный мир. Листья пошли прямо от стволов, и молодые дубы стоят с верхушек до корней, завернутое в листья, словно в пеленки, согревающие жизнь. Расщепленная надвое ява пустила длинную ветвь над озером. И лишь одна осина стоит на поляне голая, не зеленеет, не расцветает — она была виселицей.

Деревья как бы раскрываются, и из них вылетают птицы, родившиеся здесь, и славит родину свою.

Тучами плывет семья. Наступила пора оплодотворения земли, когда засеваются леса, когда каждое дерево посылает тысячи детей своих в полет на все четыре стороны света, по всем четырем ветрам. И семья падает на опустевшую землю, горячую и влажную, вокруг разрушенных и сожженных городов и сел.

Далеко отсюда, на юге, немецкие полчища снова жгут и топчут нашу землю. Выстоим! Отбросим! И снова придет великий месяц возникновения лесов.

Снова покроется русская земля лесами, на вершинах, как свечи, за-

жгутся под солнцем сосны, загудят на дорогах дубы, засветится березовый лес.

Бессмертна Русь, пока жив русский народ, железной грудью отстаивающий ее.

3

Узнаю равнину, изрытую окопами. Вот эти группы деревьев в открытом поле, одинокие будки на переездах. Здесь в декабре мы били и гнали немчуру, как стаю бродячих псов. Здесь навеки похоронен друг моего детства, земляки мои. По курганам-могилам синие васильки. И кажется мне — это их глаза разглядывают мир, которым они не успели насытиться, ветер колышет цветы, и будто они разговаривают, качают головами, о чем-то рассказывают мне.

На могильном холме — красный тюльпан. Из сердца моего товарища вырос этот цветок. Если на этом месте срезать стебель и сделать дудку, во флейте запоет, заговорит товарищ мой бессмертный.

Степь! Степь!

Равнина утихшей битвы. Великая тишина от неба до земли.

В этой земле столько огня и пороха, столько немецких плевков, что, казалось, должны были вырасти черные цветы и деревья с огненными яблоками.

Но очистили бойцы разные поля от немецкой скверны, и вспыхнули цветы русской земли, и полились золотые и голубые реки по полям, через холмы. И даже черные воронки, трещины земли, и те заросли бурьяном и колючками, растениями военного времени, и запах пороха и льма обожженной горевшей земли еле слышно пробиваются сквозь запах миты и трав.

Освобожденная земля! Снова возвращена ты русскому человеку, и снова разведет он сады и построит города. И жаждет душа моя, чтобы вся великая и обильная земля наша была освобождена от немецкой саранчи, как эти подмосковные поля и холмы, стоящие под солнцем во всей красоте лета и цветенья.

Мы едем и едем. Велико поле немецкого разгрома под Москвой. Брошенные зарядные ящики и мины, лотки, колеса, отскочившие во время бегства, борта машин, оторванные

снарядами и ветрами, проросли зеленью, словно вспомнили среди великолетия природы, что и они из дерева.

И зарядные ящики, и лотки с хвостатыми минами, будто убитыми птицами, и брошенные задки (передки удрали!), и стволы сломанных немецких пушек, черных от пороха, и колеса, отскочившие от колесниц войны, и скелеты сожженных танков, остовы бешеных мамонтов, топтавших поля, и черные немецкие машины без колес, лежащие на брюхе, точно гробы, выброшенные землей, рычащие гробы, пронесшиеся по всей Европе, — все потонуло в высокой траве. И когда ветер промчится по синим лугам, они кажутся морем после гигантского кораблекрушения.

Из старых черных касок, точно из черепов, вылезают мыши. Для мышей их и принесли на головах своих чужеземцы. Немецкие каски, засеявшие русские равнины! Отстоим Россию, закопаем чужеземца в землю, на которую он пришел, — и многие поколения будут показывать их внукам, как старые негодные горшки, на русских огородах, воздетые на песты, они будут чучелами отгонять хищных птиц, в русских домах будут посудой для помоев и нечистот, и над каской будет чавкать похлебкой свинья.

На всем пути почерневшие немецкие кресты, поваленные ветрами и прохожими крестьянами, ненавидящими мертвых немцев, как и живых; могильные холмы, над которыми никто не поплачет, каждый плюнет, поросли крапивой, чортовыми цветами — собачьим мылом, вороньим глазом. И лишь грачи каркают над ними. Сайте, сайте, бойцы, по русским равнинам черные немецкие кресты! Прогоним немца — сотрем и кресты с лица земли, и памяти о псах не останется.

Из травы торчат башни — дракон с заржавевшей пастью, гадока с жабыми глазами, ослепшая от дождей, летучая мышь с тигриной мордой; заржавело и в землю зарылось бешеное стадо, не пущенное в Москву.

Как бешеное стадо на водопой, рвутся на юг немецкие танки. Из высокой ржи поднимаются черные бални, драконы с раскрытыми пастьями — снова драконы хотят пить;

псы с бешеными языками — снова псы хотят жарга. На русской равнине горят города и села, и снова тысячи русских семей, потерявшие кров, бредут на восток.

Миллионы дерутся, чтобы судьба немцев под Москвой повторилась на юге.

И сын, и внук, и далекие потомки донского и кубанского казака, засевавшая поле, будут много веков откапывать черные каски, черные немецкие дружки, черное немецкое железо с изображениями драконов, подавившихся русской землей.

4

Прифронтовая деревня.

Голубятня в синем небе, как из сказки, вылетают голуби и воркуют в блеске солнца о мире и любви. А на голубятне, артиллерийский наблюдатель с биноклем. И видит он: как на картинке, в лесу под обрывом стадо белых свиной высыпало на озеро. Фрицы бутыхаются, пускают фонтаны, хороводят, трут спину друг другу, ныряют и тянут друг друга за ноги, кохочут, отдуваются. Вскипело сердце красноармейца. Он здешний, он мальчиком купался на этом озере, катался на лодочке, рыбу удил, видел первые сны. И кричит в телефон: «Огонь!» И вот уж где-то за холмами ухаает, и в небе воют снаряды, вскрикивают голуби, и наблюдатель, глядя в бинокль, шепчет: «Не терли, Фриц, силы, иди на дно!»

Народ привык здесь к войне. И, слыша гром пушек и рогот самолетов, продолжает жить и трудиться.

Я видел у полусожженного домика клумбы с яркими пионами и настурциями. Старик, чей дом сгорел, все сыны и внуки ушли на войну, продолжал украшать землю.

На окраине села в огороде женщины на грядках окатывали картофель, а за огородом в балке, где минное заграждение, перебегали саперы и тоже ухаживали за своими железными кочанами.

Курицы-наседки важно гуляют за околицей, глядя в чистое поле. Петух кричит на воротах, бросая в сторону передовой боевые кличи.

В полях тишина позднего лета.

Лишь слабый ветерок прошумит в высокой неолошенной траве, да сусляк выльнет из норки, интересуясь, что нового на фронте.

Где-то высоко-высоко в небе, еле видный, звенел жаворонок. Вдруг, точно тени, скользнули «Мессершмитты», а над ними появились серебристые «Яки», а над «Яками» — снова черные осы, но их над ними где-то высоко, лишь по туденно, угадывались «Яки». В синем небе гремит гром и сверкает молния. Завертелась воздушная карусель в четыре этажа. Несутся по кругу, друг за другом, самолеты с огненными клювами и дымящимися хвостами.

И внезапно все так же исчезло, как и появилось. Рассеялись пороховые тучи, и снова светит солнце над лугами, лесами и озерами.

И снова в небе, и кажется, на том же самом месте, тот же жаворонок трепетал и залетывал, ликуя и славя природу, открывающуюся ему с высоты.

5

В небе кружатся вороны, отмечая линию фронта. С утра тихо, и они в небе кричат: кар! кар!, точно спрашивают: «Скоро ли?»

В ответ воют немецкие мины, то тут то там поднимаются черные столбы, все ближе и ближе на гигантских ногах двигается черное чудовище войны. Огневой налет кончился. И снова тихо.

Высокой рожью ползет вдоль берега озера к передовой. Стрижи брейкином полетом несутся над водой, шкрякает за мухой стрекоза, на берегу гудит жук-бомбардир. Вот и все боевые действия. По всему полю непрерывно, день и ночь, стрекочут кузнечики, как бы выполняя заказы военного времени.

Все насторожено. Еле слышно шумит рожь, как бы понимая, что она на передовой.

Даже шмелы, безумные в это время года, и то летают здесь тише и, встречаясь в полете, будто спрашивают друг друга: «Скажите, пожалуйста, не минирован ли тот желтый цветок?»

Откуда-то из-за леса льются сумерки. Зажигаются звезды на небе.

мигают, вызывая огоньки, чтобы, как бывало в летнюю ночь, перемигиваться до рассвета. Но не зажигаются веселые летние огоньки по селам и городам. Льетя ночь темной рекой по притихшим улицам прифронтовых городов, по лугам и полям, на которых не слышно вечерней песни, по берегам, где лишь вспыхнет птица, по рекам, где лишь плещет рыба.

И в эту тихую ночь хочется крикнуть мне: Огонь! Огонь! Пусть стреляют все орудия. Убивайте немцев. Убивайте скорее! И скорее придет время, когда снова вся земля покроется веселыми огоньками. По улицам городов и сел, как по рекам, поплывет веселая толпа. Зажгутся огоньки у колыбели и у очага семейства. А человек, погрузивший земной шар в темноту, будет гнить в земле. Черви заведутся в его костях, мыши соьют гнездо в его черепе. Немцам припомнят бессонные ночи земли.

Сидим в окопах. На поле заглялись фонарики Иван-да-Марьи. И вдруг сразу, со всех сторон, заиграли сверчки на своих скрипках, затанцевали светляки свой огненный балет, — прямо, Большой театр между нашими и немецкими окопами.

А в поле перекрела сонными голосами кричат: «Спать пора! Спать пора!»

В свете звезд двинулся куст можжевельника, и вдруг чихнул, и другой по соседству отделился: «На здоровье, Вася!» За нами вниз к озеру пошел весь кустарник, а затем и лес, из которого появились огромные хоботы, точно готовились выйти слоны.

На небе появились новые звезды. Задвигалось, загудело звездное небо, направляясь в сторону немца. В лесу шум водопада — это идут танки. Проснулись птицы и кричат недовольными голосами, почему их разбудили. Прыгают белки с ветки на ветку и разглядывают возникающих из земли людей в железных касках. Слышен лязг железа. Бегут пулеметы, как стая охотничьих псов.

А перепела кричат: «Спать пора! Спать пора!»

А орудия: «Бум! Бум!»

Во имя жизни идут бойцы на смертный бой.

Красноармеец! Бей немца, убивай дупегуба всегда и везде, днем и ночью, при любой погоде, на всех фронтах. В самый затихший день убей немца! Развеселится русское поле.

Немец, похороненный на севере, не появится на юге, не появится нигде на земле.

*Западный фронт
Август, 1942*

В. СТАМБУЛОВ

ГИТЛЕРОВСКАЯ ВАЛГАЛЛА

Десять лет тому назад, выступая в Берлине на совещании представителей национал-социалистических заводских ячеек, Геббельс хвастливо говорил: «В настоящее время мы могли бы быть министрами, нам были бы предоставлены высшие должности и чины. Для этого достаточно было бы только отказаться от нашей социалистическо-революционной программы».

«Социалистическо-революционная» программа гитлеровцев была самым циничным фарсом, самым колоссальным надувательством, которое когда-либо знала история. С самого начала своего возникновения гитлеровское движение было создано немецкой плутократией, развивалось на ее деньги, было призвано служить ее целям. Но до прихода Гитлера ко власти одним из главных орудий его борьбы была самая безудержная, самая разнузданная социальная демагогия. Только с ее помощью он надеялся повести за собою на штурм агонизирующей Веймарской республики массы разоренной мелкой буржуазии, темного, запутанного в паутинах ростовщичества крестьянства, отсталых рабочих.

Германия страдала от страшных ран, нанесенных ей кровавой авантюрой кайзера. Но Версальский мир был далеко не главной причиной бедствий немецкого народа. Он служил лишь удобным козлом отпущения, чтобы валить на него все несчастья, которые переживало население. Германия давно уже прекратила всякие репарационные платежи и поставки. Более того, она организовала

настоящее злостное банкротство, перестав погашать частные миллиардные займы, предоставленные ей на основе планов Дауэса и Юнга для оздоровления немецкой экономики. Но с населения попрежнему выколачивали сверхналоги, которые преспокойно шли в карманы жадной своры банкиров, королей промышленности, владельцев латифундий. Страна нищала и голодала. Немецкие заправилы клялись, что разоренная Германия не в состоянии более кормить население. Но сотни миллионов марок выплачивались в виде компенсации членам свергнутых династий, субсидий разорившимся на преступных спекуляциях концернам и залезшим в долги помещикам.

Гитлеровцы были хорошо осведомлены о том возмущении, которое зрело в немецком народе при виде этой вакханалии грабежа, и спешили использовать настроение масс в своих целях.

В своих выступлениях и в своей печати они всячески симулировали ожесточенную борьбу с плутократией. Они повсюду кричали, что только их приход к власти положит предел господству капитала. Они обещали национализировать концерны, тресты и картели, уничтожить «процентное рабство», то есть ограничить ростовщические прибыли кредитных банков, экспроприровать крупную помещичью собственность. Параграф 12 программы национал-социалистической партии «включил «беспощадная конфискация военных прибылей» и квалифицировал государственным преступлением наживу

на войне. Гитлеровцы метали громы и молнии против королей угля и стали и называли «шайкой обанкротившихся ростовщиков», «ожидательными реакционерами и кртыгинами» восточно-эльбских помещиков, прожившихся на государственных субсидиях.

Но дематогия гитлеровцев несколько не пугала верхушку германской плутократии. Тиссены, Круппы, Шахты, на чьи деньги было создано и приведено ко власти национал-социалистское движение, хорошо знали, что Гитлер и его шайка являются самыми преданными их слугами.

И, действительно, стоило гитлеровской клике захватить власть, как она немедленно сбросила свою лицемерную маску.

Те самые концерны, грабительскому существованию которых прощали положить конец гитлеровцы, не только не были ликвидированы или национализированы, но получили невиданную до того власть, силу, свободу действий. Мало того, на них полился обильный золотой дождь из государственной казны в виде субсидий, кредитов, дотаций, монопольных заказов и поставок. Их руководители, вроде пресловутого Тиссена, получили крупнейшие официальные посты и сделались настоящими диктаторами целых хозяйственных областей. «Наши крупные предприниматели,— заявил Гитлер,— в силу своих талантов добрались до вершины. На основании этого отбора, который показывает их принадлежность к высшей расе, они имеют право управлять». В свою очередь и концерны не остались в долгу. Не один видный деятель национал-социализма получил теплое местечко в их правлениях, директорах, наблюдательных советах. Субсидии восточно-эльбским юнкерам, вызывавшие еще недавно бешеную ярость гитлеровцев, потекли вновь обильным потоком в карманы этой ненасытной своры. Если до прихода к власти гитлеровцы иногда потоваривали об экспроприации помещичьей земли свыше 100 гектаров, то вскоре после установления национал-социалистского режима министр земледелия — ныне опальный Вальтер Дарре — реши-

тельно заявил: «Я не трону ни одного поместья, каким бы крупным оно ни было, если оно в хозяйственном отношении здорово и может самостоятельно существовать. Я знаю, что говорю это в полном согласии с рейхсканцлером. Я также не буду трогать ни одного обремененного задолженностью крупного хозяйства».

Гитлер быстро выбрасывал за борт, как ненужный более балласт, свою прежнюю социальную демоггию. Вскоре ни для кого не оставалось каких-либо сомнений, что «борец с плутократией» является в действительности ее самым верным защитником и надежной опорой.

Только в истории древних восточных деспотий можно найти примеры той полноты власти, которой обладает Гитлер. Он поистине самодержец. Его слово — закон. Он сам объявил себя «верховным судьей немецкого народа». Перед ним трепещет вся Германия. Он властен над жизнью и смертью, честью и достоинством любого немца. Его имя окружено мистическим ореолом. Ему воздают почти божеские почести. Здороваясь друг с другом, его рабы говорят: «Хайль Гитлер!». Он верховный командующий армией. В его руках страшная политическая полиция — гестапо, держащая в вечном страхе немецкий народ. И все же он не является настоящим владыкой Германии. Он сам лишь слепое орудие в руках тех, чьей волей он поставлен и держится у власти, для кого он является верным цепным псом.

Люди, чье тайное, незримое господство стоит над видимым самодержавным могуществом Гитлера, за редким исключением, не занимают руководящих государственных постов, не носят гресских званий, не облечены официальной властью. Они избегают выступать перед массами, равнодушны к овациям, презирают пышную триумфы. Их подписи не фигурируют под важнейшими государственными актами. Они царят в тени, правят из-за кулис. Их числого — всего несколько десятков человек. Но капиталы, которыми они владеют или которые они контролируют, превышают достояние многих миллионов немецкого народа. Им принадлежат фабри-

ки и поместья, заводы и леса, недра земли и воздушные трассы, суда, порты, железные дороги, склады товаров, запасы сырья, золото в банках, zahraniчные инвестиции. Чудовищные щупальцы их концернов, синдикатов, трестов, картелей опутали и душат всю Германию, протянулись далеко за ее пределами. Власть и могущество их поистине беспредельны. Именно они являются настоящими властелинами Германии, всемогущими богами Третьего рейха.

В старинных германских сказаниях о Нибелунгах повествуется о сумерках и гибели богов. Всемогущий Вotan, бог викингов-завоевателей, томимый мрачными предчувствиями опасности со стороны еще покорных его воле, но глухо ропщущих и готовых восстать великанов и гномов, повелевает братьям исполним Фafнеру и Фазольту возвыгнать на отвесной скале грозный замок — царствениую Вaлгаллу. За ее неприступными стенами надеются укрыться боги от неумолимой судьбы.

Созданный Гитлером Третий рейх — это Вaлгалла современных германских богов: тевтонских Вotanов, русских Нибелунгов, прусских Дoнeров. В диком терроре и кровавых авантюрах фашистского государства нинут они последнее средство увековечить свое господство, спастись от надвигающейся на них неизбежной гибели.

Как свирепый дракон сказания, стережет Гитлер их несметные сокровища — «золото Рейна». По их властному велению вверх он мир в страшную кровопролитную войну, двинулся в поход на покорение мира, принес в жертву миллионы человеческих существований, превратил в развалины цветущую Европу. Ради их ненасытной алчности сама Германия стала обширным кладбищем, и никакого сома валькирий нехватит, чтобы умчать на Вaлгаллу погибших на бескрайних просторах Советского Союза германских захватчиков. Но что им до этого. Каждая капля пролитой крови превращается для них в золото, увеличивающее их баснословные богатства.

Кто же эти всемогущие таинствен-

ные боги гитлеровской Вaлгаллы, обрушившие на человечество столь страшные бедствия?

Последыши меченосцев — германское юнкерство

Латифундии в пять, десять, тридцать тысяч гектаров. Поместья, сохранившие уклад средневековых ленов. Усадьбы-замки, усадьбы — дворцы с высеченными на камне фронтонов готальдическими гербами и горделивыми девизами. Их можно встретить по всей Германии, от зеленых берегов Рейна до мерзлых болот Мазурии. Повсюду они красноречиво повествуют о силе и власти немецких помещиков. Но основная их масса сосредоточена к востоку от Эльбы: в Шлезвиге, Мекленбурге, Бранденбурге, Померании, Восточной Пруссии. Здесь помещики, составляющие немногим более 1% всех землевладельческих хозяйств, владеют 40% всей пахотной земли. Именно здесь находится исконная цитадель немецкого юнкерства.

Это юнкерство неоднородно. Среди него есть и члены бывших династий, владетельные князья, старинное дворянство, ведущее свой род от тевтонских рыцарей, и помещики-грюндеры, помещики-капиталисты, скупившие землю у разорившихся фонов и баронов, наконец, мелкопоместное дворянство. Но ведущая роль принадлежит немногочисленным родовитым владельцам огромных латифундий — замкнутой касте, властной и надменной, считающей себя цветом Германии и с невыразимым презрением смотрящей на все остальное человечество.

Немецкий крупный помещик прежде всего феодал, безраздельно властвующий над округой. Ряд старинных феодальных повинностей и поныне существуют в Германии. Маркс и Энгельс писали в 1848 году: «4 августа 1789 года, через три недели после штурма Бастилии французский народ в один день покончил с феодальными повинностями. 11 июля 1848 года, четыре месяца спустя после мартовских баррикад, феодальные повинности покончили с германским народом». В самом деле, отмена большинства фео-

дальних повинностей была использована немецкими помещиками, чтобы захватить лучшие земли и закабалить крестьян на доброе столетие.

Помещики оставили крестьянам карикатурные наделы, с которых они не в состоянии пропитаться. И в то же время крошечный участок приковывает крестьянина к округе, мешает ему уйти в город на заработки. Волей неволей он должен наематься к помещику за дешевую плату на сезонные работы либо стать его кабальным арендатором или исполнителем. И помещик становится для него всемогущим господином, навлекая немилость которого равносильно гибели.

Гуманизм, век просвещения, социальная цивилизация прошли бесследно для немецких юнкеров. В них попрежнему течет кровь хищных рейтеров, свирепых меченосцев, алчущих захвата чужих земель, покорения и истребления огнем и мечом других народов. Они навсегда остались воинствующей кастой, господствующей в германской армии. Их сынки, как правило, идут в кадетские корпуса, в военные училища, составляют офицерство аристократических полков, благодаря связям, родству, знатности быстро продвигаются вверх по служебной лестнице. Война для крупных помещиков источник огромных выгод и средство поправить пошатнувшееся состояние. Они поставляют армии фураж и продовольствие, сбывают по спекулятивному ценам сельскохозяйственные продукты. Если они служат в армии, они получают высокие военные ордена, чины, ордена и награды, привозят в свои имения награбленное добро. Военнопленные из лагерей в первую очередь посылаются на работу к богатым помещикам и являются для них даровой рабочей силой.

Юнкер самый реакционный элемент Германии. Он никогда не стоит в стороне от политики и готов в любой момент выступить с оружием в руках против любого прогрессивного движения в Германии.

С расцветом эры империализма помещики вместе с финансовой олигархией возглавляли движение пангерманизма, играли руководящую

роль во всех реакционных и милитаристических организациях вроде пресловутого «Клуба господ», «Союза военного флота» и т. п. Они шли в первых рядах колонизаторов, провозглашавших знаменитый лозунг «Дранг нах Остен». Им давно уже не давали спокойно спать плодородные черноземные поля Украины, Дона, Кубани, Поволжья. В конце XIX столетия они скупали там не мало земли, основывая обширные поместья. Одним из таких крупных помещиков был Гинденбург, владевший на Волге имением в несколько тысяч гектаров. Они толкали кайзера на агрессивную политику против России, надеясь захватить ее наиболее богатые сельскохозяйственные области.

Притихнув ненадолго после революции 1918 года, немецкие помещики вновь обрели всю свою самоуверенность и заносчивость, лишь только убедившись, что веймарская Германия, во имя неприкосновенности частной собственности, не собирается посягать на их имения и хозяйство. Они оплатили ей за этот «великодушный жест» смертельную ненависть. Они организовывали кружки, сплачивали и финансировали силы реакции, участвовали в террористических организациях, прятали в своих имениях враждебное режиму офицерство, подготовляли восстановление на престолах Гогенцоллернов и других свергнутых династий. В конце концов, с избранием президентом Гинденбурга они вновь стали из кормила правления в лице «Третьего полка гвардии», т. е. камильды дряхлого маршала. При помощи своего ставленника, крупного помещика фон Папена, выдвинутого ими совместно с королями Рура на пост рейхсканцлера, они подготовили и расчистили путь гитлеровской банде.

Нанося предательские удары веймарской республике, они не брезговали принимать ее щедрые милости и подаяния. Они добились возвращенных членам бывших династий их огромных поместий, замков, дворцов. В тридцатых годах, когда в Германии значилось шесть миллионов безработных, они сумели получить от правительства огромные, в несколько сот миллионов,

субсидии восточно-эльбским помещикам («ост-хильфе»). «Ост-хильфе» завершилось страшным скандалом, т. е. львиная доля субсидий была получена самим главой государства — Гинденбургом, его семьей и родственниками, а также друзьями и соседями. В благодарность за все щедроты юнкеры, совместно с магнатами Рура, удушили руками Гитлера Германскую республику.

Третий рейх воплотил в себе настоящее золотое царство верхушки германского юнкерства. Никогда еще она не имела такой силы, власти и могущества, как при гитлеровском режиме. Минували те времена, когда юнкерам все же приходилось считаться с наличием левых партий в рейхстаге, нападениями демократической прессы и т. п. Владельцы латифундий являлись в гитлеровской Германии священным «табу». С самого начала режима между нами и немецкими юнкерами установились самые трогательные отношения. Трудовая повинность и концентрационные лагеря стали неиссякаемым источником поставки помещикам бесплатной рабочей силы для осушки болот, расчистки участков, полевых работ. Правительство не жалеет средств на субсидии и кредит помещикам. Юнкеры заняли господствующее положение в армии, в правительственном аппарате, в фашистских организациях. Значительная часть высшего генералитета состоит из крупных помещиков. Юнкеры по-прежнему владеют своими огромными латифундиями.

Одним Гогенцоллернам, ряд представителей которых сделались ярыми нацистами, принадлежат около 100.000 гектаров земли. Князь Гогенлое-Эринген владеет 48.000 га, князь Гогенлое-Зигмаринген — 46.000 га, князь фон-Зельм — Барут — 38.000 га, граф фон Штальберг — Вершигороде — 36.000 га и т. д. Вожди национал-социализма, провозгласившие десять лет тому назад уничтожить крупное землевладение, сами стали сейчас богатейшими помещиками. Геринг владеет рядом роскошных замков с огромной земельной площадью. Гитлер, Дарре, Риббентроп, Лей и др. обзавелись великолепными поместьями.

Верхушка немецкой земельной ари-

стократии давно преодолела свои сословные предрассудки. Она не только породнилась с баронами угля и доменных печей, но и участвует в промышленных концернах, банковских предприятиях, биржевых аферах, крупной торговле. Она тесно спаяна с финансово-промышленной олигархией.

Вместе с этой олигархией она правит Германией под именем Гитлера и ведет политику агрессий, войн, международного грабежа, борьбы за мировую гегемонию.

Немецкое юнкерство сыграло первостепенную роль в деле разжигания нынешней мировой войны и, особенно, в деле разбойничьего нападения на Советский Союз.

Уже с момента своего возникновения советские республики явились объектом самой бешеной злобы, самой лютой ненависти со стороны германского юнкерства. Помню того, что после Октябрьской революции в советских республиках были национализированы имения немецких помещиков, юнкеры прерасно понимали, что новый советский режим раз навсегда закрывает «восточное пространство», как они назвали именovali тысячеклетное русское государство, для их хищнической экспансии.

Именно юнкеры возглавляли германскую интервенцию на Украине, на Дону и на Северном Кавказе в 1918 году. Многие из них сочувствовали германским войскам и руководили их карательными отрядами; отряжаемыми для восстановления немецких помещичьих экономий и для жестокой расправы с окрестными крестьянами.

Позже, в двадцатых годах, все проекты «крестового похода» против советского государства исходили, главным образом, от юнкерских организаций, вроде «Клуба господ» и т. д. или же рьяно поддерживались ими.

«Расовая теория», объявлявшая «полноценных арийцев» господами над «низшими расами», как нельзя больше соответствовала мировоззрению и хищничеству немецких юнкеров. Она обосновывала их притязания на земли советских народов и стремление превратить советское

крестьянство в рабов, бесплатно обрабатывающих их поместья.

Но, чтобы захватить советские земли, надо было бросить германские армии на Советский Союз, уничтожить советское государство и советскую армию. И в тесном единении со своим холопом Гитлером, германское юнкерство лихорадочно готовило эту чудовищную авантюру.

Уже с начала вторжения на советские территории немецкие помещики поспешили хлынуть на захваченные земли, чтобы немедленно поглотить свою добычу. Многие из них тут же «вступили во владение», без особых юридических процедур присвоив себе столько земли, сколько им хотелось. Они ввели жесточайший террор среди окрестного крестьянства, чтобы сломить в нем всякую попытку к сопротивлению и подготовить его полное порабощение. Грабительские они присвоили себе инвентарь совхозов и колхозов и ввели барщину среди населения окрестных деревень. Они не забывали и свои имения в Фатерланде. По требованию немецких юнкеров гитлеровцы насильно увозят в Германию сотни тысяч украинских и белорусских крестьян для крепостной работы в имениях помещиков. То же самое происходит и в порабощенной Польше.

По захват советских земель и передача их немецким помещикам встречается ожесточенное сопротивление со стороны советского крестьянства. Германские юнкеры недовольны. Они требуют от Гитлера такой обстановки, при которой они могут безопасно эксплуатировать свою новую «собственность». И вот уже в органе германского обзора палача Гимлера «Дас шварце кор» выдвигается чудовищный проект «германизации Востока». Проект этот заключается в истреблении значительной части порабощенного населения и передаче его земель немецким колонистам.

«Наша задача, — объясняет газета, — заключается в германизации Востока не в старом смысле, т. е. не в простом насаждении немецких законов и языка. Мы должны позаботиться, чтобы на Востоке жили лю-

ди только действительно немецкой, германской крови».

Гитлер ревностно выполняет волю своих господ — немецких юнкеров, но их заветные мечты далеки еще от осуществления. Война против Советского Союза принесла Германии много разочарований. Просчитались и господа немецкие помещики. Те из них, которые уже прибыли в «свои» новые имения в огромном большинстве случаев дорого заплатились за это посягательство. Не один десяток из них приобрели себе в вечную собственность три аршина земли в результате меткой пули советского партизана или доведения до отчаяния крестьянина. И недалек тот день, когда вся советская земля будет освобождена от этой нечисти, и захватчикам придется держать суровый ответ за свои грабежи и насилия.

Нибелунги Рура и Лейны

Злобный Нибелунг Альберих, обманом похитивший золото Рейна, сковал из него кольцо, дающее ему страшную власть над миром. Он безжалостно покорил, превратил в рабов свободное племя гномов. В подземном жилище Нибелунгов — мрачном Нибельгейме трудятся они без отдыха день и ночь, выковыная для обладателя волшебного талисмана несметные богатства.

Так гласит старинная сага.

Но в современной Германии жуткое видение народного эпоса приняло реальные очертания, воплотилось в жизнь. Зловещая картина фантастического Нибельгейма кажется точным воспроизведением знаменитого Рура с бесконечными лабиринтами его шахт, с его огнедышащими горами и плавильнями, озаряющими ночи своим багряным пламенем, с сотнями тысяч людей, занятых непосильным каторжным трудом в недрах земли, в адекой жаре литеен и кузниц, с его владыками, не знающими границ своей власти и своему могуществу.

Рур — маленькая территория в долине Рейна близ бельгийско-голландской границы. Не более 80 километров вдоль и столько же поперек. Но это индустриальное сердце Германии. Промышленные центры

здесь так сплунены, что трудно отличить, где кончается один город и где начинается другой. Весь Рур кажется одним сплошным предприятием. На небольшом пространстве, почти сливаясь друг с другом, теснятся города Дортмунд, Бохум, Гельзенкирхен с их лесом вышек над каменнотопольными шахтами, цитадель военной промышленности, феодальный лен пушечного короля Круппа, город-завод Эссен, крупнейший речной порт в мире — Дуйсбург, города: Золинген, Дюссельдорф, Мюнхен-Гладбах, Кельн, один имена которых вызывают в воображении гигантские железодельательные, сталелитейные, трубопрокатные, орудиные, машиностроительные заводы, испанские домны, чудовищные мартены, колоссальные коксовальные установки. Вся область покрыта густой сетью железных и асфальтовых дорог, подъездных путей, каналов. Повсюду высятся трубы, stacks, подъемные краны, мачты высоковольтных передач. День и ночь прохочут машины, выбрасывается на поверхность уголь, текут реки расплавленного металла, спуют поезда и грузовики.

Миллионы людей трудятся до изнеможения в забоях, у станков, в адской жаре котеларок. Но все богатства Рура, его недра и заводы, порты и дороги, дворцы и лачуги принадлежат маленькой кучке людей, властно правящих над всем этим царством и над самой Германией. Их не трудно перечислить. Это Крупп фон Болен унд Гальбах, Феглер, Пенген, Рехлинг, Рехберг, Клейнер, Борзиг Флик, Маннесман, Цанген, Сименс и еще десяток другой с менее промкыми именами.

Им принадлежит не только Рур. В Берлине, в Тюрингии, в Карлсруэ, Мадлебурге, Франкфурте, Фридрихсхафене, Гамбурге, Бремене, Киле, Ганновере сотни заводов, мировые судостроительные верфи, портовое оборудование являются их собственностью, либо контролируются ими. Они владеют железнодорожными магистралями, силовыми установками, торговыми флотилиями, банками. Их власть распространяется и далеко за пределы Германии. В их портфелях хранятся пакеты акций самых крупных пред-

приятий мира. Такая, например, мировая фирма как орудиные заводы Бофроса в Швеции, является лишь филиалом Круппа.

До войны особым блеском в со-звездии немецкой плутократии сиял Тиссен, деньгам которого гитлеровцы обязаны своим приходом к власти. Но он благоразумно поспешил отужковаться от Третьего рейха и оставить его пределы, почувствовал, повидимому, своим тонким чутьем, что гитлерада не может не закончиться для Германии и ее властителей небывалой катастрофой. Зато на германском финансово-промышленном небосклоне возшло и ярко загорелось новое светило первой величины, уже начинающее затмевать многие другие. — Герман Геринг. Даже среди выдавшей виды, помнящей покойного Стайнесса немецкой плутократии быстрота обогащения этого болдо-тера от финансов является беспри-мерной.

Искуснее, чем кто-либо из наци-стских вождей, Геринг сумел использовать свою власть и полномочия для сказочного личного обогащения. Непрязкий в долгах офицер — купил и морфинном, он накачале войны, совмещая десятки постов, довел своей годовой доход до 1,8 млн. марок. Он предоставлял пошатнувшимся предприятиям огромные государственные дотации и получал за это мзду в виде пакетов акций стоимостью в десятки миллионов. Став руководителем всей немецкой военной промышленности, он сделался крупнейшим капитали-стом Германии.

В июле 1937 года он создал свой собственный концерн для разработки бедных рудных месторождений, конечно, с помощью огромных государственных дотаций. Капитал концерна «Герман Геринг» достигал тогда всего 5 миллионов марок, но уже в апреле 1938 года был увеличен до 400 млн. и реорганизован в грандиозное предприятие.

С присоединением Австрии к этому концерну перешли важнейшие австрийские металлургические и машиностроительные предприятия, в том числе военные заводы Паужера, а также судходные компании на Дунае. Грабеж Чехословакии дал

Герингу еще более богатую добычу: военные заводы Шкода в Пильзене, оружейные заводы в Брно и пр. После оккупации Польши к нему отошли огромные каменноугольные и металлургические предприятия Верхней Силезии. Пожившись он и продолжает жить за счет Франции и Бельгии, где он прибрал к рукам богатейшие рудные и металлургические предприятия.

Сейчас «Герман Геринг» самый мощный концерн в Германии, а следовательно и в Европе. Его номинальный капитал по всем группам предприятий достигает 700 миллионов марок, а портфель акций чужих предприятий составляет приблизительно такую же сумму. На всех предприятиях концерна, уже к концу 1940 года работало свыше 600.000 рабочих.

Понятно, присвоив себе Герингом львиную долю военного грабежа не вызывает особого удовольствия остальных небожителей гитлеровской Валгаллы. Против слишком жадного высочайше ведется глухая борьба, тщательно скрываемая от взоров простых смертных за глухими дверями Дюссельдорфских концернов. Но военная добыча столь обильна, что и остальные боги также не остались в накладе.

Уже в предвоенные годы, в результате гигантских военных приготвлений Германии, прибыли стальных и угольных королей Рура быстро «набирали высоту». С начала военных действий они начали повышаться гигантскими скачками. Так, чистая прибыль «Стального треста», вырастая в 1933 году в 8,6 млн. марок возросла в 1940 году до 27,6 млн. Крупн показал в 1934 году чистую прибыль в 6,7 млн. марок, а в 1939 году — в 22,7 млн. Цифры эти составляют вряд ли даже половину действительных доходов, так как крупные концерны неизменно фальсифицируют свои балансы, чтобы скрыть обложившие.

Не лишню упомянуть, что налог на чрезмерные (т. е. связанные с войной) доходы дал в 1940 году в Германии смехотворную сумму в 26 млн., и гитлеровцы поспешили его отменить «во избежание соблазна». Сейчас, когда в Германии глухо-

ропщут по поводу баснословных дивидендов, выплачиваемых акционерными обществами, последние нашли гениальный способ избежать «нежелательных толков». Они просто удвоили свои номинальные капиталы. Таким образом выплаченная крупная сумма, представляющая ранее, скажем, десятипроцентный дивиденд, стала скромным «законным» пятипроцентным.

Эрнст Пенген носит менее звучное и не столь историческое имя. Как Крупн, но в плетде германских плутократов он занимает одно из первых мест. Он ни более, ни менее, как председатель знаменитого «Ферейнigte Штаальверке» — «Объединенного стального треста», с капиталом почти в миллиард марок, чудовищного спрута, опутавшего своими смертельными щупальцами всю Европу. Недавно, на праздновании семидесятилетнего юбилея Пенгена германский министр экономики Функ кадит ему firmam в следующих выражениях: «В его создании нашли свое наиболее полное воплощение политико-экономические принципы национал-социалистического государства».

Действительно, правительские принципы Третьего рейха положены в основу всей деятельности Пенгена. Как только была присоединена Австрия, он поспешил проглотить знаменитую «Альпийскую горную компанию», владевшую итирийской железной рудой, за которую годами шла эпическая борьба между Стиннесом, Тиссеном и Фоглером с одной стороны и королем итальянской ломбардской промышленности Тепллицем с другой. Эта схватка гигантов стоила жизни австрийскому капитлеру Дольфусу, но Гитлер и его хозяева потерпели в той поражение. Муссолини поддержал тогда Теплица, направив свои войска к Брегенцу, и заставил немцев отступит. Теперь Пенген взял реванш. Более того, он и другие владыки Рура давно уже вторглись в самое королевство Теплица и поскушали там по дешевке важнейшие итальянские предприятия.

Не звал Пенген и после разгрома Франции. Он и ряд других королей Рура поделил между собой

всю лотарингскую руду и все металлургические предприятия восточной Франции, в то время как тягловая промышленность северной Франции и Бельгии с ее громадными каменноугольными предприятиями досталась в удел Реклину.

Другим столпом «Стального треста» является Фридрих Флик, владелец «Среднегерманских стальных заводов» и других предприятий. Это настоящий шибер, военный мародер, наживающий сотни миллионов на поставках армии, грабеже государственной казны. Нацисты справляли недавно и его юбилей, при чем оркестр Геббельса «Дас Рейх» пел ему особенно хвалебные гимны. Флик также один из «фюреров» военной промышленности.

В 1932 году Флик был на краю банкротства. Но на выручку ему пришло государство. В руках Флика было огромное количество акций «Стального треста», и его крах означал бы катастрофу для этого гиганта немецкой промышленности. Чтобы помочь ему вывернуться из затруднений, фон Папен, бывший тогда главой правительства, скупил у Флика за счет государственной казны его гельзенкирхенские акции на сумму 110 млн. марок. Но акции эти стояли на бирже от 35 до 40% номинала, а государство приобрело их по 90% их номинальной стоимости, что позволило Флику «санитаровать» свои главные предприятия и положить огромные барыши в свой собственный карман. Придя ко власти, Гитлер вернул гельзенкирхенские акции «Стальному тресту» и, таким образом, государством потеряло там то влияние, которое приобрело в качестве главного акционера.

Феглер, Флик, Маннесман (второй по величине концерн военной промышленности Германии), Кирдорф и другие «фюреры» немецкого военного хозяйства» получили каждый свою долю добычи. Грабеж продолжается, пока остается, что грабить. Рурские владыки не довольствуются захватом предприятий в поработенных странах, они заставляют закрывать там всю не работающую на них промышленность, уничтожают всякую возможную конкуренцию, превращают индустриальные страны в аграрный придаток Германии, вы-

возят к себе промышленное оборудование и рабочую силу.

По мере того, как длится и ширится война, все баснословнее становятся их доходы. Весной этого года, по требованию королей промышленности Гитлер произвел реорганизацию управления германской промышленности. Смысл этой реорганизации заключается в том, чтобы монополизировать за крупнейшими концернами поставки на войну. Германии не хватает рабочих рук и сырья. Это ведет к ограничению доходов промышленности. И если в первые годы войны остатки добычи щедро предоставлялись менее крупным промышленникам, то сейчас король Рура не желает более с ними делиться. На полном ходу работают все их предприятия как в самой Германии, так и в захваченных странах. Война ненасытно требует металлов, угля, танков, самолетов, пушек, снарядов, станков. Гитлеровская банда, не считая, выдает им миллиарды, выжатые из населения Германии и из поработенных народов. Нибелунги Рура находятся в апогее своего могущества.

Но война принесла сказочное обогащение и другим группам германских владык, и в первую очередь магнатам химической промышленности знаменитой «И. Г. Фарбениндустри».

Наряду с рурскими концернами химический трест является крупнейшей капиталистической группой Германии. Его заводы в Лейне (близ Лейпцига), Оппау, Галло представляют из себя действительно гигантские предприятия, вырабатывающие химикалии, синтетический азот, синтетическую нефть, синтетический каучук, искусственный текстиль, взрывчатые вещества, краски, фармацевтические и фотографические продукты и т. п.

После Версальского мира «Фарбениндустри» вела ожесточенную борьбу с концерном Рура, державшим в руках необходимое ей сырье. Кроме того, Рур работал главным образом на внутренний рынок и мог позволить себе воинственную политику, осложнявшую отношения Германии с другими странами. «Фарбениндустри» работала на экспорт,

была тесно связана с заграничными рынками и политиками «соглашателей». Поэтому еще в 1932 году она поддерживала «левых» и в частности противилась избранию Гитлера рейхспрезидентом. Затем наступил период соглашения с Руром относительно снабжения сырьем. Глава химического треста — Дуисбург разом перешел в лагерь гитлеровцев и в знак доверия к новому правительству инвестировал только в 1933 году 142 млн. марок в новые заводы.

Однако уже в следующем году отношения «Фарбениндустрии» с гитлеровцами испортились. Приступая к массовому вооружению Германии, Гитлер в первую очередь стал благоприятствовать тяжелой промышленности. С другой стороны, его военные приготовления сказались на экспортных операциях химической промышленности.

В результате «Фарбениндустрия» завязало тайные связи с врагами Гитлера — бывшим рейхсканцлером фон Шлейхером и Ремом. Уже на следующий день после кровавых событий 30 июня 1934 года нацистская печать угрожающе намекала, что движение Рема субсидировалось «последней группой капиталистов», т. е. «Фарбениндустрии». Но тронуть Дуисбурга и его всемогущий трест Гитлер не посмел. Позже, когда в процессе подготовки войны Гитлер начал создавать гигантскую индустрию синтетических эрзацев и давать огромные дотации химическому тресту, вся вражда была быстро забыта. Война принесла химическому тресту огромнейшие прибыли и широко комбинировала его за утерю иностранных рынков. Его чистая прибыль с 47 млн. марок в 1932 г. возросла уже в 1939 году до 56,1 млн. (по преуменьшенным официальным данным самого треста). Он располагал в 1941 году капиталом в 773 млн. марок, увеличив выпуск своих акций на 43 млн. марок.

Лишь недавно один из главных воротил химического треста — Пич приобрел 51% акций трех крупнейших химических концернов Франции, в том числе и знаменитого

концерна Кюльмана, и стал полновластным хозяином всей французской химической промышленности. Поживилась «Фарбениндустрия» и во всех остальных оживляемых странах, прибавив к рукам нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по выработке химикалий, фабрики искусственного шелка и т. п. Ее заводы работают день и ночь, не успевая удовлетворить всех гигантских нужд гитлеровской армии. Льющаяся на войне кровь и для нее превратилась в обильный золотой дождь.

Латифундисты Гогенлоэ и Шулепбурги, пушечные короли Крупны и Маннесманы, воротилы «Стального треста» Пенсены, бароны электричества Симменсы, владыки химикалий Дуисбурги, диктаторы банков и биржи Шахты — всемогущая олигархия Третьего рейха, вот кто является истинным властелином гитлеровской Германии.

Когда Гитлер обращает в рабство немецкий народ, когда он разжигает страшную мировую войну, когда он гонит на убой миллионы немцев, когда он истребляет население целых областей, когда он грабит и порабощает народы, — он лишь творит волю тех, кто возвел его на вершину власти и кто правит его руками.

Власть этой олигархии огромна, но она не вечна. Война, приведшая германскую plutократию к апогею ее богатства и могущества, будет и причиной ее гибели. Гитлер и его хозяева жестоко просчитались. Они думали, что им легко удастся покорить весь мир, но они столкнулись с несокрушимой мощью великого советского народа. Стойкое сопротивление Красной Армии дает возможность закончить гигантские приготовления западных демократий, чтобы всеми силами коалиции обрушиться на общего врага. Германия не сможет выдержать этого удара. Война закончится ее страшным поражением.

Это поражение повлечет падение и гибель гитлеровской Валгаллы.

Н. ЛАЗАРЕВ

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ В ВОЗДУХЕ

Советская военная доктрина давно дала уничтожающую принципиальную критику «теории» исключительно воздушной войны, развивавшейся покойным итальянским генералом Дуэ. Модернизированный американский вариант этой «теории» тем меньше убедителен теперь, когда «оружие критики» заменилось «критикой оружием», проводящейся в гигантских масштабах. В «битве за Англию», в многочисленных ожесточенных бомбардировках Германии, в ходе нашей великой отечественной войны с германским фашизмом и его вассалами от Баренцова моря до Черного с исчерпывающей полнотой обнаружилась невозможность достичь решительных результатов в духе «молниеносной» стратегии с помощью одного лишь военно-воздушного флота. Тем менее, очевидно, возможно добиться решения войны с помощью только тяжелой бомбардировочной авиации, так называемых «стратегических бомбардировщиков» дальнего радиуса действия. Это обстоятельство, однако, отнюдь не уменьшает существенной роли, которую выполняла и будет выполнять воздушная бомбардировка глубоких тыловых баз и коммуникаций, промышленных и политических центров противника в штырях нанесения ущерба его военному потенциалу, а также подрыва моральной устойчивости населения и армий.

Кроме того, из опыта современной войны известно, что при подавляющем превосходстве возможно успешное проведение отдельных крупных операций с помощью военно-воздушных сил, как показал захват немцами о. Крит в Средиземном море. Однако лишь отсутствие у англичан достаточного количества средних и тяжелых танков позволило германским парашютистам и авиадесантным частям захватить аэродромы и закрепиться на о. Крит до того момента, когда было сломлено сопротивление английского флота.

Лишенные поддержки военно-морского флота и авиации, при отсутствии бронетанковых частей, небольшие британские наземные силы, к тому же утомленные предшествовавшими боями в Греции, оказались не в состоянии продолжать дальнейшее сопротивление. Уход английского флота позволил немцам переброшить новые массы войск и вооружения на о. Крит, которые решили исход борьбы. Несмотря на выдающуюся роль пикирующих бомбардировщиков и транспортной авиации в борьбе за о. Крит, остается фактом, что ни один танк не был перебросен воздушным путем. Черчилль был совершенно прав, когда отметил, отвечая на вопрос, не представляет ли захват о. Крит репетиции вторжения на Британские острова, что это такая репетиция,

после которой пьеса не будет разыграна.

Последовавшие события подтвердили этот вывод Черчилля. Немцы, как известно, не предприняли серьезной попытки вторжения на Британские острова. Даже совместные воздушные силы Германии и Италии оказались не в состоянии обеспечить захват небольшого и близко расположенного о. Мальта, на котором находятся английский гарнизон и база. Равным образом неожиданное нападение японских военно-воздушных сил на Пирл Харбор или потопление ими «Рипалса» и «Принца Уэльского», представляя отдельные тяжелые удары, не вызвало, да и не могло предсказать окончательного исхода всей войны.

С своей стороны, меняя тактические приемы, до настоящего момента немцы используют свою авиацию по преимуществу в качестве острия тех «клиньев», с помощью которых они стремятся взломать систему обороны противника. Массированное применение авиации немцами как бы прокладывает путь их «бронированным дивизиям» (танкам) и моторизованной пехоте. Использование немцами авиации в качестве самостоятельного рода оружия, обанкротившегося в «битве за Англию», оказалось совершенно неприменимым на Советско-германском фронте, где враг столкнулся с мощным и успешным сопротивлением советских военно-воздушных сил.

Даже на Тихоокеанском театре войны японская авиация, нанося отдельные удары, в основном прикрывала и обеспечивала действия своих наземных вооруженных сил и военно-морского флота.

Права, военно-воздушные силы объединенных наций, технически более совершенные, чем у Японии, но уступающие противнику в количественном отношении, стесненные в аэродромном маневре, на первых этапах войны оказались не в состоянии предотвратить японских захватов в Тихом океане от западной части Алеутских островов на севере до Соломоновых островов на юге, а в широтном направлении от о. Уэйк и от о. Макэе в группе Гальбертовых островов до Филиппин, Малаккского полуострова и Нидерландской Ин-

дии. В бассейне Индийского океана японской авиации приходится действовать в настоящий момент от северо-западной части Новой Гвинеи, о. Тимор, о-вов Кей, Ару и Танимбар, о. Рождества до границ Бирмы с Индией и Китаем.

Один из крупнейших недостатков в действиях объединенных стран в войне с Японией заключался в отсутствии определенных стратегических планов и координации между различными видами вооруженных сил. Наоборот, операции всех японских вооруженных сил отличались четким, хорошо разработанным взаимодействием всех родов оружия.

Располагая количественным превосходством, используя преимущества более коротких и лучше обеспеченных коммуникаций, японская авиация облегчала операции армии и военно-морского флота. В свою очередь, наземные силы и военно-морской флот расширяли сферу действия японской авиации, захватывая новые базы.

Для американцев и англичан удары со стороны японской авиации были тем неожиданнее и болезненнее, что материальная часть последней в техническом отношении, как правило, уступала новейшим британским и американским моделям, а методы действия японских военно-воздушных сил успешно имитировали то, что впервые было разработано в США и Великобритании.

Военно-морской флот США был инициатором, например, применения истребителей и пикирующих бомбардировщиков, базирующихся на авианосцах. В английском военно-морском флоте зародились самолето-торпедоносцы. По производственной мощности и потенциалу, по качеству и размерам продукции авиационная промышленность США и Британской империи значительно превосходили Японию. И все же в первой фазе войны на Тихом океане Японии удалось провести ряд операций, в которых видную роль сыграли ее военно-воздушные силы. Эти силы нередко не играли решающей роли, но они были использованы умело, и эффективность превосходила ожидания, связанные с предшествующей недооценкой.

В подобных условиях создавалась благоприятная почва для возникновения столь же парадоксальных, как и мало основательных взглядов, что примененные авиации является важнейшим фактором военных успехов Японии. Не только в широкой прессе (американской и английской), но и в специальных органах появились статьи, в которых усиленно подчеркивались и популяризировались соответствующие идеи. Лозунг «Помните о Перл Харбор» в американской прессе, особенно в тихоокеанских штатах, весьма часто начал сопровождаться другим: «Покупайте бомбардировщики — укрепляйте национальную оборону, защищайте Америку». В США стала усиливаться кампания за выделение авиации в единую самостоятельную вооруженную силу, призванную нанести сокрушающие удары врагам.

Ряд обстоятельств содействует тому, что вплоть до настоящего времени в США продолжают еще широко поддерживаться «теории», разрываемые всякого рода экспертами и политиками, согласно которым в современной войне решающую роль должна сыграть авиация, чтобы не допустить новой «бесконечной войны на истощение», чтобы «не проиграть войны, действуя старыми методами» и пр.

Далеко не всегда ясны подлинные мотивы этих мнимых сторонников прогресса, якобы ведущих борьбу с «генералами, которые никогда ничему не учатся», со «стратегами, заседающими в мягких креслах», с косностью американских и английских правительственных кругов и т. д. Иногда эти мотивы связаны со стремлением получить правительственные заказы. В других случаях подлинные мотивы «новаторов» и «прогрессистов» обнаруживаются в их связях с реакционерами и с теми, кто тормозит создание второго фронта в Европе, кто делает ставку на выступление США в качестве суперарбитра, когда воюющие страны будут истощены, а великая заатлантическая республика развернет свой военный потенциал на полную мощь.

Исключительный упор на американские военно-воздушные силы играет крупную роль в аргументации

этих кругов, широко использующих ряд традиций в американской политической жизни.

Иллюзии пацифизма, влияние изоляционистов, всякого рода профашистских элементов и «умиротворителей» еще далеко не изжиты в США. Развороту военной промышленности еще не соответствует такой же рост вооруженных сил. Сказывается отсутствие военных традиций в массах и в руководящих кругах. Поэтому в США находят благодарную почву разного рода «новые идеи», которые давно обнаружили свою несостоятельность на тяжелом опыте войны в Старом свете.

К этим дискредитированным и далеко не новым идеям относится все, что связано с теорией нанесения решающего удара с помощью одной лишь тяжелой бомбардировочной авиации. За внешней «прогрессивностью» этой теории скрывается ее глубокая реакционная сущность. Крупная роль, выполняемая «стратегическими бомбардировщиками», находится в зависимости от действий тактической авиации и истребителей, оперирующих против врага на фронте и ближайшем тылу. Равным образом, выдающиеся стратегические значение авиации в целом в современной войне возможно лишь благодаря взаимодействию и тесной координации с другими родами оружия. Нет и не может быть одного средства и пути достижения победы, годного для всех времен, для всех народов и при всех обстоятельствах.

Между тем даже в американской прессе, рассчитанной на распространение среди квалифицированных читателей, появилась, например, ряд статей, в которых решительная неудача германского военно-воздушного флота в «битве за Англию» интерпретировалась лишь в том смысле, что причины этих неудач лежали в органических дефектах материальной части и тактике гитлеровской авиации, а не в использовании ее в качестве самостоятельного рода оружия.

Следует признать, однако, что, при общей ошибочности и порочности этих «теорий» самостоятельного применения бомбардировочной авиации дальнего радиуса действия,

сообщалось немало новых сведений и мыслей, заслуживающих серьезного внимания. Кроме того, ознакомление с аргументацией этих американских кругов, имеющих известное политическое влияние, представляет для нас не только теоретический, но и практический интерес.

Правда, в решающих американских правительственных и военных кругах, а также в специальной прессе, не было столь упрощенных, односторонних и мосуших большую опасность представлений о задачах национальной обороны США. 8 сентября 1942 г. Рузвельт, выступая по радио с обращением к американскому народу по поводу своего последнего послания конгрессу, категорически заявил:

«Нынешняя война будет окончательно выиграна в результате координированных действий всех армий, военно-морских флотов и военно-воздушных сил объединенных наций, действующих в унисон против наших врагов».

Тем не менее в США все еще существуют влиятельные группы, в интересах которых затянуть войну, вести ее не на решающих военных театрах в Европе, а против Японии и Азии или на подступах к Австралии. Среди этих групп находятся не только прежние откровенные изоляционисты, «умиротворители» и прямые агенты Гитлера, вроде прославленного полковника Ч. Липдберга, но все, кто по различным мотивам не понимает или не хочет понять непосредственности и масштаба угрозы гитлеризма для всего мира и, в частности, для США.

Лишь в самое последнее время в этом отношении намечается известный перелом. В многочисленных выступлениях широких общественных кругов США — от союзов моряков до петитий ученых — все более настойчиво выдвигается требование немедленного открытия второго фронта и проведение широких наступательных операций отнюдь не только с помощью одних военно-воздушных сил, выделенных в самостоятельный род оружия.

В частности, в самой американской прессе уже обратили внимание на ошибочность «теорий» и популярных мнений, что с помощью исклю-

чительно воздушного наступления, проведенного в широких масштабах, возможно отсрочить необходимость создания второго фронта в Европе или нанести сокрушительный удар врагу. 8 августа 1942 г. в «Нью-Йорк Пост» американский публицист Грэфтон писал: «Этот тезис является опасным, поскольку он побуждает откладывать эффективные действия. Даже самые широкие наступательные операции в воздухе не заставили бы Гитлера отозвать свои войска с Восточного фронта». Газета «Морнинг Ньюс», выходящая в Далласе, в начале сентября 1942 г., заявила еще более категорически: «Если мы хотим избежать очень длительной и разрушительной войны, то мы должны предпринять именно такую операцию, которая отвлекла бы немцев из России. Развитие событий в последнее время указывает на то, что война может затянуться надолго, если мы в ближайшие месяцы не будем наносить Германии более серьезные удары, нежели налеты нашей бомбардировочной авиации».

II

Отвергая самостоятельное применение военно-воздушных сил и решающую роль так называемых «стратегических бомбардировщиков», советская военная доктрина учитывает, однако, то новое, что вносит примененно авиации в ведение современной войны. Например, ход и исход сражения у о. Мидуэй в первой декаде июня 1942 г. был решен авиацией, базировавшейся на авианосцах. Тяжелые потери японского военно-морского флота в сражении у о. Мидуэй и проведение операций в районе Алеутских островов, а еще ранее во время боев в Коралловом море вновь изменили соотношение сил в Тихом океане в пользу США и Британской империи. Следует признать, что авиация объединенных стран была при этом главной силой, наносившей удары, а военно-морской флот в крупных масштабах в бой не вступал.

Режеко повысившаяся роль авиации в войне на военно-морских театрах нашла, в частности, соответствующее отражение в новой программе воен-

но-морского строительства США, в которой центр тяжести теперь переместился с линкоров на авианосцы, имеющие больший радиус действия, снабженные мощной артиллерией и броневой защитой, обладающие большой скоростью.

С другой стороны, установившееся к настоящему моменту превосходство союзников в области авиации задержало японское продвижение на подступах к Австралии. Английская авиация, а не японская, теперь действует наиболее активно и на подступах к Индии со стороны Бирмы. В результате превосходства в авиации американские бомбардировщики и мощные летающие лодки пересекают Тихий океан от Сан-Франциско до Гонолулу на Гавайских островах, Окленда в Новой Зеландии, Порта Дарвин и Сидней в Австралии.

В Атлантическом океане американские бомбардировщики дальнего радиуса действия, пересекая его по воздуху, отправляются летом через Центральную Африку, достигая воздушным путем военных театров в Египте, на всем Среднем Востоке, в Индии и даже в Китае. В свою очередь бомбардировка американской авиацией Токио, Иокогамы, Нагоя, Осака и ряда других важнейших центров Японии, проведенная 18 апреля 1942 г., усилившиеся в 1942 г. массированные удары английских военно-воздушных сил против Кельна, Бремена, Эмдена, Гамбурга, Любека, Ростка, Саарбрюгена, Парижского промышленного района и Рура, Аугсбурга и Мангейма и т. д. раскрывают исключительные новые возможности поражения жизненных центров врага, благодаря сильно увеличившимся размерам общего бомбового запла и разрушительной силы (веса) бомб, ювысившейся точности бомбометания, дальности действия и огневой мощи бомбардировщиков союзников, их не только качественного, но и количественного превосходства над авиацией держав «оси». Например, во время налетов на Германию в июне и июле 1942 г. Королевский воздушный флот сбросил 13 000 000 килограммов взрывчатых веществ.

12 июня 1942 г. главнокомандующий английской бомбардировочной

авиации, маршал Гаррис, заявил, что «Любек, Росток, Кельн — это только начало. В прошлом бомбардировочная авиация использовалась в сравнительно небольших масштабах, бомбардируя цели, которые диктовала день за днем военная ситуация. Это было нечто вроде стратегической обороны. Теперь мы больше и больше переходим к стратегическому наступлению».

На страницах № 2 «Британского союзника» от 23 августа 1942 г. маршал авиации А. Гаррис раскрыл более полно содержание, вкладываемое англичанами в понятие «стратегических бомбардировок»: «Стратегические бомбардировки Королевского воздушного флота, то есть бомбардировки промышленных объектов и путей сообщения врага, в отличие от тактических бомбардировок кораблей, войск и аэродромов, неизменно планируются в точном соответствии с положением на фронтах. Взвесив обстановку, мы принимаем решение, где можно нанести врагу наиболее тяжелый удар и принести наибольшую пользу нам и нашим союзникам».

Хотя к середине сентября 1942 г. мы можем констатировать, что английской и американской авиации не удалось разvernуть полностью обещанного гигантского «наступления в воздухе» против Германии, тем не менее не следует сбрасывать со счетов значительного увеличения активности бомбардировочной авиации объединенных стран летом 1942 г. по сравнению с соответствующим периодом 1941 г. Это усиление активности английской и американской бомбардировочной и истребительной авиации вселяет уверенность в осуществлении обывающего выступления маршала авиации А. Гарриса на страницах «Британского союзника»: «Я заверяю советский народ и его армию, что сделанное до сих пор британской авиацией — только начало. Это первый показ нашей силы; скоро американцы присоединятся к нам, и прежде чем лето придет к концу, гитлеровская Германия и гитлеровская армия по-настоящему почувствуют всю силу наших бомбардировок». («Британский союзник» № 2, 23 августа 1942 г.)

В этой связи следует подчеркнуть, что к настоящему времени объединенные страны обладают необходимыми и достаточными предпосылками для развертывания мощных совместных наступательных операций на решающих театрах войны.

Силы врага — гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе — попрежнему скованы на советско-германском фронте. В странах Британской империи и в США уже создано вооружение и кадры, которые прошли обучение и пригодны к ведению боевых операций.

В объединенных странах особый размах получило развитие военно-воздушных сил. В одних лишь США в 1942 г. выпуск самолетов держится на уровне 60 тысяч машин в год, из них 45 тысяч боевых машин всех типов. По данным английского военного журнала «Файтинг Форсез», опубликованным в феврале с. г., это превышает все количество самолетов, имевшееся в составе германской авиации к началу 1942 г.

При этом выпуск самолетов в США продолжает увеличиваться в нарастающих темпах. Если к июню 1942 г. ежемесячный выпуск самолетов в США достиг 5 тысяч, то к августу производство поднялось к уровню 6½ тысяч самолетов всех типов. Это подтверждают данные Ф. Дрейка, американского эксперта по вопросам авиации, что производственная мощность авиационной промышленности США уже в настоящее время превосходит гигантскую автомобильную индустрию этой страны. Вместе с СССР, Великобританией, Канадой и другими союзниками объединенные страны теперь выпускают более чем вдвое самолетов больше по сравнению с державами «оси», ежемесячная продукция которых составляет около 5 тысяч самолетов (включая Японию).

При этом следует учесть, что за время военных действий державы «оси» имели более крупные потери в летном составе и материальной части, чем объединенные страны.

Данные о потерях авиации в бассейне Тихого океана заслуживают особого выделения в силу их несрав-

нимости и противоречивости. Главнокомандующий американской авиацией генерал Арнольд заявил, например, что потери американских самолетов в четыре раза меньше японских. По официальным японским сведениям, за период 5½ месяцев войны на Тихом океане японцы в пять раз больше уничтожили или нанесли тяжелые повреждения самолетам объединенных стран по сравнению с потерями их авиации (общие потери авиации объединенных стран за период с 8 декабря 1941 г. по 20 мая 1942 г. императорская главная ставка оценивает в 4074 самолета против менее 500 со стороны Японии).

Более близки к действительности данные о потерях военно-воздушных сил той части «оси», которая находится в Европе.

Потери германской и итальянской авиации в столкновениях с английской с начала сентября 1939 г. по конец 1941 г. составляли, по подсчетам, опубликованным в журнале «Аэронотикс» в апреле 1942 г., 8 514 самолетов.

По военно-географическим театрам эти потери распределялись следующим образом:

Авиация стран «оси» (Германия и Италия)	Английская авиация
«Битва за Англию»	
3692	887
Европа	
940	1875
Средний Восток	
2875	711
Западный фронт	
957	379
Скандинавия	
56	55
Над морем	
39	54

Кроме того, силами британского военно-морского флота за тот же период было:

Сбито	Вероятно уничтожено (самолетов противника)	Повреждено
405	176	239
94	42	96
В результате действий военно-морской авиации		
243	22	95

По последним данным, опубликованным в начале сентября 1942 г. английским министерством авиации, за 3 года войны Германия и Италия потеряли 8984 самолета, тогда как английская авиация потеряла 6231 машину. В первый год войны Германия и Италия потеряли в боях над Англией 1540 самолетов, английская авиация 383 самолета, во второй год обе державы «оси» потеряли 2 080 против 501 самолета английской авиации. В третий год войны, когда лишь небольшие отряды германских самолетов появлялись над побережьем Англии, соответствующие цифры составляют 236 и 7. Потери над Германией и оккупированными ею территориями выражались в следующем: в течение первого года войны — 1 082 самолета противника и 671 английский самолет, во второй год — 662 самолета противника и 1173 самолета английской авиации, а в третий год — 743 машины держав «оси» и 1 993 — английских.

На Ближнем Востоке в первый год войны было сбито 125 самолетов держав «оси», тогда как английская авиация потеряла только 29 машин. Во втором году державы «оси» потеряли 1 040 самолетов, а английская авиация 360; в третьем году державы «оси» потеряли 1 417 самолетов против 1 114 самолетов, потерянных английской авиацией.

Основная масса германской авиации после 22 июня 1941 г. по настоящее время занята на Восточном фронте. По данным Совинформбюро о политических и военных итогах года отечественной войны, Германия потеряла свыше 20 тысяч самолетов против 9 тысяч со стороны советской авиации.

По последним данным, за период напряженных трехмесячных боев на Советско-германском фронте с 15 мая по 15 августа 1942 г. немцы потеряли не менее 4 тысяч самолетов, а советская авиация — 2 198 самолетов.

Самые тяжелые и невосстановимые потери понесли, однако, летные кадры авиации врага. В одной из своих недавних статей в журнале «Знамя» подполковник Н. Денисов сообщил, что лишь на Советско-германском фронте за первый год войны убыль летного состава врага достигла около 40 тысяч человек.

При этом в битве за Англию, в операциях против о. Крит, о. Мальта, в Ливии и особенно в журналах Советского Союза были выбиты лучшие, наиболее опытные летные кадры германской авиации.

К тому же потенциальные возможности к восполнению потерь летного состава у Германии и ее союзников по «оси» значительно меньше, чем у объединенных стран.

IV

В отношении возмещения потерь материальной части авиации Германия находится несколько в лучшем положении. Отказавшись от перехода к выпуску более совершенных новых типов самолетов и лишь улучшая давно принятые на вооружение конструкции самолетов и моторы, используя промышленные возможности оккупированных стран, Германия еще в состоянии поддерживать массовый, количественно весьма значительный, выпуск бомбардировщиков, истребителей, транспортных самолетов. Общее количество самолетов всех типов, выпускаемых Германией и ее союзниками

в Европе, а также в пределах оккупированных территорий, оценивалось к августу 1942 г. в 3 500—4 000 машин.

Изучая «некоторые уроки воздушных боев», подполковник А. Васильев отметил, что за год войны с СССР «немцам удалось модернизировать кое-какие образцы машин за счет усиления вооружения, установки брони для защиты экипажа и, частично, путем замены моторов более мощными, что дало увеличение скорости самолетов на 20—30 километров. В общем улучшения эти незначительны, и при встречах с нашими истребителями вражеские бомбардировщики несут большие потери».

Равным образом немцы улучшили свои истребители. С осени 1941 года появился новый тип германского истребителя — «Мессершмитт-109-ф», который по своим скоростям и маневренности значительно превосходит «Мессершмитт-109».

В настоящее время на Советском фронте появились еще более модернизированные германские истребители типа «Ме-109-Г».

«Ме-109-ф» и «Мессершмитт 109-Г» были созданы специально для борьбы с советскими истребителями, которые по своим качествам превосходят вражеские самолеты», — отмечал генерал-майор авиации Н. Журавлев в статье «Советская авиация и отечественная война» («Известия сов. деп. труд. СССР», 18 августа 1941 г.).

Однако даже «Мессершмитт-109-ф», ставший основным типом истребителя противника, не имеет высотного мотора и обладает максимумом боевых качеств на средних высотах порядка 3—4 тысяч метров.

Как правило, немцы создают моторы, рассчитанные на горючее с октановым числом 87—90, и широко используют авиационные дизель-моторы.

При остром недостатке в высокооктановом бензине и смазочных маслах германская авиация и авиация ее союзников в Европе к настоящему моменту испытывает одинаково наибольшие трудности не в снабжении горючим и не в попол-

нении материальной части, а в квалифицированных кадрах летчиков и обслуживающего персонала.

Несмотря на крупные размеры выплавки алюминия и магния, Германия и ее союзники по «оси» уступают объединенным странам, особенно в отношении производственных потенциалов. В одних лишь США производственная мощность заводов по выплавке алюминия в 1943 г. должна подняться до 1 миллиона тонн, а по выплавке магния превысить 100 тысяч тонн.

Учитывая, что не менее 100 тысяч тонн алюминия, выплаваемого в Германии и оккупированных ею странах, используется в качестве заменителя меди и других дефицитных стратегических металлов, общие итоги выплавки алюминия и магния державами «оси» все же таковы, что обеспечивают массовый выпуск самолетов. Вместе с тем динамика выплавки алюминия и магния показывает возрастающее превосходство объединенных стран в отношении выплавки этих металлов, играющих решающую роль в самолетостроении.

V

Военно-воздушным силам объединенных стран принадлежит весьма крупная роль не только на военных театрах, в действиях против жизненных центров врага, расположенных в глубоком тылу, но также в борьбе за кратчайшие мировые морские и океанские пути. Повсюду предпосылка к успеху — господство в воздухе. В целом Германия и ее союзники по «оси» в Европе потеряли стратегическое превосходство в воздухе. К настоящему моменту объединенные страны обладают необходимым качественным и количественным превосходством в силах, в том числе и в авиации, для открытия второго фронта.

Как известно, после начала войны с СССР Германия отказалась от наступления в воздухе на запад, перейдя к стратегической обороне. Последний рейд в районе Дьеппа показал, насколько слабое прикрытие оставила Германия на атлантиче-

ском побережье в результате переброски основной части своей авиации для действий против СССР. Потеряв 180 самолетов при отражении рейда в районе Дьешпа, германская авиация оказалась не в состоянии в течение последовавших нескольких дней противодействовать налетам английских бомбардировщиков на города Центральной Германии. В конце августа и первой половины сентября 1942 г. мощные соединения советской бомбардировочной авиации не встречали атак германских истребителей при неоднократных налетах на Кенигсберг, Дамциг, Штеттин, Берлин, Варшаву, военные объекты Верхней Силезии, Будапешт и др.

Даже на советском Юге, где немцы сосредоточили основную массу своих военно-воздушных сил, они вынуждены прибегать к новой тактике. Прошли времена, как было в начале войны на Советско-германском фронте, когда немецкая авиация бомбардировала глубокий тыл, стремясь подорвать моральное сопротивление. Германская авиация уже не действует с прежней активностью на всем протяжении Советско-германского фронта. «Если в 1941 г. вражеская авиация, нападая на наши войска и тыловые объекты, действовала мелкими группами и одиночными самолетами, то теперь она принуждена летать крупными группами, численностью в два-три и более десятков самолетов, и обязательно в сопровождении», — констатировал генерал-майор авиации Н. Журавлев в одной из своих последних статей.

Лишь на Дону, на Северном Кавказе, на подступах к Волге германское командование стремится применять массированные удары против советских войск и ближних тылов, чтобы дезорганизовать оборону, разрушить средства управления и связи, парализовать маневр нашей техники, сорвать переброску резервов, снабжение боеприпасами, поколебать устойчивость.

На отдельных участках военно-воздушные силы врага еще имеют возможность добиваться количественного превосходства. Вместе с тем на советском Юге в действиях авиации врага обнаруживаются и

некоторые особенности. Попрямеему враг сосредоточивает крупные воздушные силы на главных направлениях. Однако в наступательных операциях противника участвуют по преимуществу бомбардировщики, хотя весьма значительна также роль вражеских истребителей. При этом вражеские истребители ведут охранение своих войск на марше или на поле боя.

В одной из последних корреспонденций из действующей армии подполковник Н. Денисов отмечал, что «самолетный парк вражеской бомбардировочной авиации состоит главным образом из «Ю-88», «Ю-87» и «Хе-111». Никаких новых машин бомбардировочная авиация врага не применяет. Эти бомбардировщики используются немцами как ударная сила, рассчитанная на поражение средств обороны, могущих помешать продвижению наступающих наземных войск. Бомбардировщики, по существу, применяются как артиллерия — для воздействия на объекты, находящиеся на поле боя, в ближнем и более глубоком тылу наших войск. В некоторых операциях бомбардировщики врага прокладывают дорогу его танкам.

Из опыта боевых действий на Юге видно, что немецкие бомбардировщики воздействуют на две группы целей: в первую группу входят боевые порядки наших войск и их ближние тылы, особенно переправы через водные преграды; вторая группа — это прифронтовые крупные населенные пункты и железнодорожные станции, ведущие из тыла к фронту»¹.

VI

В этой «новизне» современной тактики германской авиации на советском Юге не в малой мере нам слышится старинка. Германское командование, обанкротившееся в «молниеносном сокрушении» советской авиации, разбросав силы от всего побережья Атлантики и Северной

¹ Подполковник Н. Денисов. «Воздушная тактика немцев на Юге», «Красная звезда», 13 августа 1942 г.

Африки до предгорий Кавказа и окраин Сталинграда, перешло к преимущественному использованию своих военно-воздушных сил для поддержки наземных частей, что в эмбриональном состоянии было известно еще по опыту итало-абиссинской войны и войны в Испании.

На советском Юге германская авиация пытается в гигантских масштабах сыграть роль тарана для облегчения действия своих наземных сил. Но, встречая ожесточенное и мощное сопротивление советской авиации, немецкие военно-воздушные силы не смогут рассчитывать даже на те сомнительные успехи, которые имели итальянские и германские интервенты в Испании.

Равным образом, не переходя к новым типам боевых машин, а лишь широко применяя модернизированные старые типы самолетов, германская авиация находится и теперь в положении, аналогичном тому, которое создалось во время «битвы за Англию». В то время количественно более слабая английская авиация обладала значительным качественным преимуществом. Последнее решило исход борьбы за воздух над Англией. «Как мы теперь видим,— отмечал английский авиационный эксперт Дж. Спайт в своем исследовании «The Sky's — the Limit» (1941 г. стр. 60—61),— мы начали как раз во-время свое перевооружение, проводившееся в крупных масштабах. В результате этого к осени 1939 г. в нашем распоряжении оказались самолеты с наилучшими боевыми показателями. Мы обладаем в настоящее время военно-воздушными силами, которые в наибольшей мере отвечают современным требованиям».

Как известно, аналогичное положение имело место и после нападения гитлеровской Германии на СССР. «Особенно трудны и тяжелы были для нашей авиации первые дни и месяцы войны. Германский воздушный флот в это время не только превосходил нашу авиацию численно, но он имел некоторые преимущества в отношении качества моторов»,— отмечал генерал-майор Н. Журавлев в статье «Советская авиация и отечественная война».

Советская авиапромышленность в ходе войны оказалась в состоянии быстро перестроиться и полностью обновить материальную часть, перейдя к наиболее совершенным типам боевых самолетов. Многократно «уничтоженная» в сводках германского командования и с помощью всех средств германской пропаганды, советская авиация стала более грозной силой, чем была в начале войны. Еще сильнее, чем во времена «битвы за Англию», теперь обнаружилось качественное превосходство советской авиации над германской, несмотря на то, что до настоящего момента немцам удалось на ряде участков создавать известный количественный перевес в силах. Но, как справедливо замечает по аналогичному поводу известный американский авиаконструктор А. Северский, «количество без адекватного качества совершенно бесполезно против решительного, надлежащим образом вооруженного противника».

Не отличается большой новизной и лихорадочное изменение тактики воздушных операций со стороны немцев, когда перестают действовать их прежние приемы, связанные с авантюристической стратегией «молниеносного» подавления и устрашения. Как известно, в «битве за Англию» немцы меняли тактические приемы один за другим, переходя от воздушной подготовки широких десантных операций к попыткам уничтожить английскую авиацию в воздухе и на земле, затем бросая все силы на осуществление самостоятельного сокрушающего удара с воздуха, и, наконец, перейдя к бомбардировкам отдельных жизненно важных центров страны. Столкнувшись с решительным противником, имевшим первоклассное вооружение, немцы потерпели поражение. Тем более тяжелые поражения немцы понесли и еще будут иметь в результате действия советской авиации, которая абсолютно и относительно сильнее, чем английская авиация в 1940—1941 гг.

Исключительная концентрация военно-воздушных сил Германии, которая имеется в настоящее время на

советском Юге, также не представляет принципиально нового в действиях германского командования.

Во времена «битвы за Англию» имела место аналогичная концентрация германских военно-воздушных сил, и, как известно, не последовало ни сокрушения английской авиации, ни вторжения в Англию.

В сентябре 1941 г. против Ленинграда было сосредоточено около тысячи германских самолетов, но авиационная подготовка штурма героического города окончилась крахом.

В октябрьские — ноябрьские дни 1941 г. массирование германской авиации на подступах к Москве не привело к победе. Наоборот, «битва за Москву» была решительно проиграна Гитлером к началу декабря 1941 г. благодаря героическому сопротивлению советских вооруженных сил, в том числе и советской авиации.

Нет ничего исключительного и в том, что в конце августа и первой половине сентября 1942 г. немцы сосредоточили до 1000 самолетов на подступах к Сталинграду. Немцы неоднократно пытались и в прошлом развивать отдельные тактические успехи и превращать их в стратегическое решение.

Сознавая угрозу, которая нависла над советским Югом и всей нашей страной, и отнюдь не недооценивая, в частности, сил германской авиации, мы можем смело смотреть в будущее, опираясь на опыт борьбы в прошлом.

Бросаясь от одной авантюры к другой, не завершив одну кампанию, начиная новую, противник обнаруживает не силу, а слабость.

Так было и до наступления гитлеровских орд летом 1942 г. Этому германскому наступлению на советском Юге предшествовало наступ-

ление «Африканского корпуса» генерала Роммеля в Северной Африке. После поражения англичан в Ливии Роммель был остановлен в Египте на дальних подступах к долине Нила. Часть военно-воздушных сил Германии и Италии, однако, была переброшена на советский Юг, но дожидаясь завершения кампании в Египте. Приняв на себя новый удар гитлеровской военной машины, Советский Союз облегчил перегруппировку английских сил, защищавших долину Нила, Суэцкий канал, важные экономические и политические интересы объединенных стран на всем Среднем Востоке.

В свою очередь, в настоящему времени, когда, по авторитетному заявлению Черчилля, англичане приняли решение оборонять свои позиции в Египте так, как если бы это была английская территория, у немцев и здесь меньше шансов на успех, чем было до последнего наступления на Ливию, потому что у них отсутствует прежняя поддержка со стороны германской авиации, занятой на Восточном фронте.

В этом отношении весьма актуален вывод, который сделал А. Северский при анализе «битвы за Англию». Имеется большое основание предполагать, по мнению А. Северского, «что если бы массированный и интенсивный штурм британской столицы с воздуха продолжался еще несколько недель, то он мог бы в конечном счете привести к успеху... Однако маршал Геринг видел, что его воздушная армада и кадры сходят почти на-нет, в то время как он не имел средства установить потери противника, который представлялся несокрушимым».

Советская страна, ее вооруженные силы, ее авиация в этой войне уже показали, что у нас выдержки и возможностей для сопротивления отнюдь не меньше, чем было у англичан во времена «битвы за Англию».

ЮРИЙ ВЕБЕР

СЛАВА РУССКОЙ ГВАРДИИ

Гвардия в Европе

В новогоднюю лунную ночь 1 января 1813 года русская гвардия перешла по искристому льду Немана и двинулась на запад Европы. Твердая поступь ее полков раздавалась по всем германским землям: в Восточной Пруссии и Бранденбурге, где сражались еще русские grenadiers, в лесистых горах Богемии, и в мягких долинах рейнских провинций. Через все крупнейшие реки Европы лежал путь русских гвардейцев в этом походе — Вислу, Одер, Эльбу, Рейн. Немало столиц и важнейших городов видели в тот год гвардейские знамена — Кенигсберг, Гамбург, Варшава, Дрезден, Лейпциг, Эрфурт, Франкфурт-на-Майне... А трубачи Кексгольмского полка еще раз проигрвали сигнал победы под стенами германской столицы, — на этот раз в свои почтные серебряные трубы с надписью: «За взятие Берлина 1760 года».

Не впервые пришлось русской гвардии вступать на завоеванную территорию и принимать на себя ответственную миссию победителя перед лицом других народов. Много раз после кровопролитных боев и штурмов, ожесточающих сердце солдата, брали русские гвардейцы вражеские крепости, города и селения, полные мирных жителей, богатств и ценностей культуры. Но никогда русская гвардия не превращалась в скопище грабителей, мародеров или

насилльников. Никогда она не теряла гордого сознания своего превосходства над врагом не только физической, но и моральной силой.

Этот дух высокого достоинства воспитывался в русской гвардии всеми ее величайшими учителями и полководцами. И беспощадное наказание ждало всякого, кто осмеливался нарушить эту издавную традицию. Еще Иван Грозный, узнав о том, что несколько дружинников его отборного полка отлучились из стана для грабежа литовских селений, велел всенародно бить виновников кнутом, не посмотрев на их боярское родовитое происхождение. При взятии Нарвы в 1704 году Петр строго следил, чтобы его войска не грабили и не разрушали города. Как только сопротивление шведов прекратилось, он приказал трубить отбой по всем улицам и выставить для охраны жителей караулы от наиболее дисциплинированных, гвардейских полков. Войдя в дом шведской семьи и указывая на свою окровавленную шпагу, Петр сказал:

— Не бойтесь! Это не шведская, а русская кровь. Я сам заколол солдата, который захотел набить свои карманы чужим добром.

Во время морского похода преображенцев и семеновцев в Данию их флотилия остановилась у города Данцига. Жители, не вылавившие никогда русских, до того перепугались, что закрыли все лавки и даже заперли город. Но за короткое время гвардейцы успели так очаровать поляков, что те провожали их как дорогих гостей, отсалютовав из береговых пушек тремя прощальными выстрелами.

¹ Окончание. Начало см. «Знамя», № 5-6, 1942 г.

В Семилетнюю войну русские гренадеры исходили вдоль и поперек многие прусские области, но никто не мог бросить им обвинения в массовом грабеже или бесчинствах. Русское командование не раз рассыла-ло по войскам приказы-ордеры о необходимости сохранять собствен-ность жителей в занятых областях, а также строго запрещенно отби-рать у пленных личные вещи и деньги. Виновные наказывались плетью, а краденое имущество воз-вращалось владельцам. Фельдмар-шал Салтыков так и приказывал: «Кто в том пойман будет, таковых, кто б какого звания ни был, прика-зать брату под караул и проводить в гаупт-квартиру, где обер- и унтер-офицеры без суда написаны будут в солдаты и жестоко штрафованы быть имеют».

Накануне битвы при Пальциге Фридрих II приказал «не щадить ни одного русского», и пруссаки обра-щались с русскими ранеными с не-слыханной жестокостью. Но в той же битве при Пальциге русские гре-надеры проявили не только чудеса храбрости, но и величайшее благо-родство по отношению к побежден-ным. Генерал Панин в частном пись-ме к своему брату так писал об этом: «К особенному удивлению сами мы видели, что многие наши легко раненные неприятельских тя-желю раненных на себе из опасности выносили; солдаты наши своим хле-бом и водой, в коей сами великую нужду тогда имели, их снабжали».

Пример дисциплины и порядка показали русские гренадеры и при взятии Берлина в 1760 году. Нача-ла в городе расположились на квар-тирование австрийские и саксонские войска. Они занялись таким без-удержным ограблением богатых до-мов, магазинов, конюшен, что по просьбе самих прусских граждан-ских властей в Берлин были введе-ны русские гренадеры, которые лишь одни смогли водворить поряд-ок и охладить пыл мародеров.

И вот теперь, в 1813 году, рус-ская гвардия вновь проходила по-бедительницей по главнейшим госу-дарствам Европы. Она значительно выросла в своем числе, ее полки всех родов оружия составляли уже целый гвардейский корпус. Но вся

эта масса попрежнему оставалась единым, хорошо обученным органи-змом, проникнутым тем же духом во-инского достоинства и благородства.

Во время длительного похода гвар-дейцы часто ощущали недостаток в продовольствии и фуражке, но пред-почитали лучше потуже затянуть пояса, нежели опуститься до маро-дерства. Они ночевали в холодных сених, но не позволяли себе вры-ваться в чужой дом. После утоми-тельного марша они нередко помо-гали крестьянам.

В местечке Бунцлау лейб-казаки тушат большой пожар, грозивший спалить всю деревню. То же делают и лейб-гусары в Герлице. В город-ке Фрауштадт гвардейцы собирают между собой крупную сумму на поддержание местного театра. В сак-сонской столице Дрездене гвардей-ские офицеры вступают в тишину всемирно известной картинной гал-лерей,— и не как разрушители, а как истинные ценители и знатоки сокровищ искусства.

Но не только мирными делами оставила память о себе в Европе русская гвардия. Торжественные марши сменялись кровопролитными боями, парады и празднества — крупнейшими сражениями. И тут русские гвардейцы совершали под-виги на изумление всех народов. Так было под Кульмом 17 августа 1813 года.

В этот день гвардия заплатила кровью своей за спасение всей ар-мии. После неудачного сражения при Дрездене главные силы союз-ной армии с огромными трудностя-ми пробрались из Саксонии в Бо-гемию — по узким горным дорогам, почти гуськом, с бесконечными обф-зами, запрудившими все проходы. Сзади наседали войска Наполеона. « по боковому пути спешил в обход целый корпус Вандамма, чтобы пре-градить выход из гор союзной ар-мии и закупорить ее в тесных ущ-льях меж двух огней. Надо было во-что бы то ни стало предупредить Вандамма. И вот небольшой отряд русских под командованием Остер-мана-Толстого идет наперерез фран-цузскому корпусу. Боевой костюм

этого отряда составляет гвардейская дивизия Ермолова. Гвардейцев всего семь тысяч. У Вандамма — в пять раз больше.

Но это не смущает гвардейцев. Перед лицом сильнейшего неприятеля они совершают по головокругим тропинкам фланговое движение и вступают в неравную борьбу. Сначала нужно пробиться сквозь Цемистенскую теснину, над которой господствуют высоты, уже занятые неприятелем. Измайловцы и лейб-егеря устремляются на штурм этих высот, сбрасывают с них французов, открывая отряду путь к заветной цели. Французы кидаются вдогонку и, пользуясь горными проходами, окружают все время гвардейцев. Преображенцы и семеновцы, идущие в авангарде, штыками расчищают дорогу. Каждый поворот дороги, каждое ущелье, каждый овраг сулил новый бой с засадами неприятеля. Гвардейцы шли, не имея ни минуты отдыха, ни возможности пресечь. Шли перекатными колоннами: одна часть сменяла другую, отстреливаясь и отбиваясь штыками. А ночью гвардейцы видели вокруг себя множество костров, которые огненным поясом охватывали их со всех сторон.

Наконец утром 17 августа отряд Толстого спустился в небольшую долину подле городка Кульм. Здесь у подножья Рудных гор ему предстояло принять решительное сражение со всем корпусом Вандамма. Позиция у Кульма была слабой, но она была последней: всего лишь в семи верстах за ней находилось ущелье, из которого должна была выйти вся союзная армия. От главного командования ординарец на взмыленной лошади привез записку Толстому: «Все колонны находятся еще в горах. Просим вас держаться возможно долее. От твердости вашей зависит участь армии». Перед боем Толстой и Ермолов объезжали гвардейские полки и объявляли им, что решено не отступать более ни шагу и что надо или победить, или умереть. Громкое «ура» было ответом на этот призыв.

Сознание чрезвычайной ответственности воодушевило войска. Каждый хотел постоять за спасение армии, за честь гвардии. Никого не

приходилось поощрять. На самом опасном месте — с левого фланга — был поставлен полк лейб-егерей, которые уже под Ломиттене, у Смоленска, Бородина стяжали себе славу стойких и непоколебимых воинов. И те с гордостью заняли почетное место. Гвардейцы Измайловского полка с завистью смотрели на них и громко просились идти первыми в огонь. Никто не хотел оставаться позади. Музыканты, барабанщики, писаря требовали себе ружей и патронов и шли в застрельщики.

В течение целого дня отбивали гвардейские полки огромные силы неприятеля, которые все прибывали и прибывали свежими колоннами, бросаясь в яростные атаки. Егеря выдерживали отчаянные схватки с французскими батальонами, сражаясь с ними мелкими группами то на склонах гор, то в кустарниках, то на горящих улицах ближайшей деревушки. А если не оставалось в руках оружия, егеря прямо прыгали на своих противников и, сбив их с ног, скатывались в глубокий овраг, не выпуская из рук свою жертву. И враг отступал каждый раз в ужасе перед непомерной храбростью гвардейцев.

Героизм охватывал не только отдельные люди, но и целые войсковые части. Всего лишь два полка лейб-гусар и кирасир сдерживали непрерывными и стремительными атаками всю французскую кавалерию, которая так и не смогла по этому ударить во фланг русской пехоте. Атаки эти были столь часты, что лошади падали в изнеможении. Моряки гвардейского экипажа дрались, как лучшая пехота, идя в рукопашный бой своим особо выработанным шагом под свистки корабельных дудок. Батальон Семеновского полка предпринимает блестящую атаку, о которой очевидец Н. Муравьев говорит: «Никогда не видел я чего-либо подобного тому, как батальон этот пошел на неприятеля. Небольшая колонна эта хладнокровно двинулась скорым шагом и в ногу. Они отбили орудия, перекололи французов, но лишились всех своих офицеров, кроме одного прапорщика, который взял на себя командование батальоном». Этот прапорщик был Чаадаев — крупный во-

следствии философ-публицист, друг Пушкина и декабристов, автор знаменитого «Философического письма».

В самый разгар боя Толстому оторвало ядром руку. Преображенцы сняли его с лошади и положили на землю.

— Вот как я заплатил за честь командовать гвардией! — сказал он. — Я доволен, — и впал в обморочное состояние.

Командование над войсками принял на себя Ермолов. Он обратился к окружающим гвардейцам, указывая на Толстого:

— Товарищи! Взгляните на храброго израненного начальника вашего. Вспомните о славе прошедших битв, о величии имени русского. На вас смотрит родина — с колыбелью ваших детей, с могилами ваших отцов. Докажите врагам, что вы — русские!

Эти горячие слова влили новые силы в ряды гвардейцев, и бой разгорелся снова. Но сколько можно было противостоять впятеро сильнейшему врагу! Сражение длилось уже восьмой час, а гвардия сопротивлялась все так же твердо, как и в самом начале. Уже все войска были введены в бой. Гвардия потеряла половину своего состава — убитыми и ранеными. В резерве оставались лишь две роты преображенцев. Иссякал запас патронов. Люди шатались от усталости. Ермолов уже несколько раз с надеждой оглядывался назад, на высоты Рудных гор — не покажутся ли там колонны главных сил. Но в горах все было безмолвно и пустынно. А к французам подходили все новые и новые подкрепления. Они готовились к решительной атаке. Казалось, наступал конец...

И вдруг в ущельи что-то блеснуло. Еще и еще. Засверкали каски русских конногвардейцев. Заиграли трубы. Этот звук близкой помощи, как искра запала, пробудил новый взрыв бодрости в отряде Ермолова.

Кавалерийский авангард союзной армии бросился в гущу битвы. С одной стороны рысью пошли кавалергарды, лейб-драгуны и лейб-улань. А с другой стороны преображенцы и семеновцы наступали с барабанным боем и восторженными криками «ура». Сразу же три крупные колон-

ны французов были истреблены этим совместным ударом. Вандамм отступил, уже не помышляя более о нападении и ограничиваясь только частой перестрелкой.

Понемногу подтягивались и остальные части главных сил армий. Показались еще кавалеристы, за ними гренадеры и, наконец, вся 2-я гвардейская пехотная дивизия. Вандамм сам очутился в том положении, какое готовил другим. На следующий день гвардия атаковала его корпус, прижала к горам и заставила сложить оружие. Вандамм и еще четверо французских генерала сдались в плен. Много знамен, вся артиллерия и большие обозы с боеприпасами стали трофеями русских войск.

Под Кульмом русская гвардия вписала одну из бессмертных страниц в свою летопись. Слава о русских подвигах в Богемских горах разнеслась по всем углам Европы. Жители Богемии прислали русской гвардии кубок, украшенный дорогими камнями. Многие гвардейские части получили в награду георгиевские знамена и серебряные трубы. А на месте битвы был поставлен бронзовый памятник, на котором начертаны имена павших здесь героев.

Слава гвардейцев заблестала и в дождливый день 4 октября, когда на обширных равнинах вокруг города Лейпцига разыгралась грандиозная «битва народов». Полмиллиона человек участвовало в этом сражении, решавшем судьбу Европы. Но среди всей массы разноплеменных войск на целую голову выдавались русские гвардейцы — делами высокого мужества и доблести.

Наполеон решил могучим таранным ударом прорвать армию союзников в самом ее центре, у деревни Госса. Сюда он направляет огонь почти ста орудий, а потом бросает в главную атаку всю свою лучшую кавалерию. Двенадцать тысяч всадников, построенных в две линии, трогаются рысью и, постепенно ускоряя аллюр, набегают длинными валами на деревню Госса и ее окрестности. Впереди, окруженный кирасирами, скачет Мюрат в своем живописном бархатном, расшитом зо-

лотом, костюме и в фантастической шляпе с развевающимися страусовыми перьями. Огромная конная волна смывает войска союзников в центре и мчится дальше, затопляя всю местность.

Недалеко от деревни Госса возвышается пологий холм. Отсюда следит за ходом битвы главное командование союзной армии. Пышная свита окружает трех монархов — русского, австрийского и прусского. Они видят в подзорные трубы, как прямо на них движется конный поток, поглощая расстроенные войска центра. И только, подобно скале среди разъяренного моря, стояла бригада русских гренадер — полки С.-Петербургский и Таврический, — как писалось потом в реляции. Часть французской кавалерии останавливается перед гренадерскими каре, а основная масса ее обтекает это препятствие и мчится дальше, все ближе к холму.

Еще одна преграда оказывается на ее пути, — это русская рота гвардейской артиллерии. Неприятель решает разлавить ее под копытами лошадей. Первыми налетают саксонские гвардейские кирасиры. Русские артиллеристы отстреливаются ядрами и картечью. Фейерверкеры заступают места убитых офицеров и командуют орудиями. Барabanчик Завьялов бросает свой разбитый барабан, подбегает к пушке, где была убита вся прислуга, и посылает в упор саксонским кирасирам последний выстрел картечью. Потом подбирает ружье и кидается в рукопашную. Неприятельские латники уже врубались в роту, стрелять больше нельзя. Но гвардейские артиллеристы не покидают орудий. Бомбардиры Емельянов, Куликов и Никифоров, схватив банники, обороняются от кавалеристов, вышибая их страшными ударами из седел.

Во время этой схватки один из гвардейских артиллеристов, поручик Ярошевицкий, заметил цепочку кавалерии, тянувшуюся в тылу вдоль фронта. Ловким броском он скидывает с лошади саксонского латника, вскакивает на нее сам и, отмахиваясь тесаком, несетса во весь опор к движущейся цепочке.

— Выручайте! — кричит он, подскакав к головному эскадрону.

Это были русские лейб-драгуны. Командир лейб-драгун не стал спрашивать ни об опасности, ни о числе неприятеля, а только скондодовал: «Строй фронт! К атаке!» Полк развернулся и тронулся к деревне Госса. За лейб-драгунами шел полк гвардейских улан. Он также кинулся в атаку. А за уланами последовали и лейб-гусары. «Если есть в бою минуты радости, — писал в своих воспоминаниях Ярошевицкий, — то это была кавалерийская атака, в которой я впервые в жизни участвовал».

Русская гвардейская конница на всем скаку врубилась в неприятельскую кавалерию. Несмотря на свое численное превосходство, саксонцы и французы не выдержали этого удара, бросили орудия и в беспорядке отступили за линию своей артиллерии и пехоты. Там они вновь начали строиться, и через несколько минут новая лавина всадников покатила на русских гвардейцев, занятых вывозом орудий из боя. Русская кавалерия должна была уступить этому гигантскому напору вражеской конницы и стала перебираться за болота и канавы, соединяющие ряд прудов около деревни Госса.

Теперь до самого холма перед конницей Мюрата открылось свободное пространство. Больше никаких войск союзников поблизости не было. Французские латники рвались изо всех сил к этому холму. В деревню Госса входила молодая гвардия Наполеона. А сам он уже предвкушал всю сладость приема «веченосных пленников» и неизбежное после этого поражение союзной армии. Наполеон уже послал в Лейпциг королю саксонскому поздравление с большой победой.

Но в этот момент произошло то неуловимо малое, что часто на войне опрокидывает все радужные расчеты полководцев и оказывается на весах боевого успеха вдруг самым тяжелым грузом. Этим «малым» в Лейпцигской битве оказались три эскадрона донских лейб-казаков и одна черноморская сотня, составлявшие конвой русского главного командования. Они стояли у подножья холма верхами и ждали приказания. Офицеры и вахмистры воору-

жились пиками. Казалось, даже кони чуяли приближение решающей минуты, нетерпеливо перебирая ногами. Французской кавалерии оставалось до холма уже всего несколько сот шагов, когда полковник Ефремов, надвинув шапку с белым султаном на правое ухо, крикнул казакам:

— Братцы! Умрем, но дальше не пропустим!

Затем скомандовал: «Эскадроны за мной!» и, не оборачиваясь, повел своего коня размахистым наметом навстречу неприятелю. Гвардейские казаки ринулись за своим командиром. Враг превосходил их силой более чем в десять раз. Но разве останавливает арифметика в такие минуты! Вихрем налетели казаки на передовые группы французских кирасир, уже скакавших к самому холму. словно ветром сдуло латников с косогора, казаки мгновенно спрокинули их к пруду, а затем загнали и в самую воду, где французские кавалеристы стали быстро тонуть в своих тяжелых кирасах.

А гвардейские казаки мчались дальше. Они переправляются через глубокий ручей, — кто вскачь по узкой гати, а кто прямо вплавать, и передовой эскадрон уже взлетает на высокий берег. Тут они видят колонны отборных французских латников, идущих плотным строем мимо прудов.

— Эскадрон! — крикнул Ефремов. — Благословляю! — и сделал обнаженной саблей в воздухе крестное знамение.

Казаки взяли пики наперевес и с оглушительным гиком пустились во фланг вражеской кавалерии. Сильные лошади стелились над землей в бешеной скачке. Они пересекают небольшую равнину, обстреливаемую французскими батареями. Свинцовая завеса не может задержать их. Шальным ядром одному казаку отрывает голову, но тело его, оставаясь в седле, продолжает мчаться на врага, — так стремителен этот порыв вперед. Со всего размаха налетают гвардейские казаки на медную стену французских латников. И стена эта трещит под ударами казачьих лик, раздается и рассыпается.

Неожиданная атака горстки лейб-казаков остановила неприятельскую

кавалерию, когда, казалось, ей достаточно было дать лишь последние шпоры, чтобы достичь холма. В то же время две батареи русской гвардейской артиллерии выскочили перед самым фронтом кавалерии и стали поливать ее перекрестным огнем. Конница Мюрата откатилась назад. Это дало возможность расстроенным полкам гвардейских драгун, улан и гусар привести себя в порядок и примкнуть к лейб-казакам. Новая атака обрушилась на противника. Завязалась жестокая рубка, в которой был слышен только звон клинков да хрип лошадей.

Последняя возможность прорваться в центр союзной армии была упущена французами. Из глубокого резерва к этому узлу Лейпцигской битвы успела уже подойти вся русская гвардейская артиллерия. Батареи быстро построились на окружающих возвышенностях и открыли по врагу такую пальбу, что она была, по отзыву Милорадовича, «громче бородинской». Казаки возвращались к холму с песнями и удалым присвистом:

Как с востока показалась туча
пыльная,
А в той туче светят копьями
казаченьки!

Спустя полтора часа русские артиллеристы заставили французские орудия замолчать и сняться с позиций. К тому времени подошли к центру и русские гвардейские полки — Гренадерский, Павловский, Егерский и Финляндский. Теперь уже они перешли в общее наступление на французов. Начался штурм деревни Госса, которую занимала молодая гвардия Наполеона. В этой нелепой встрече двух гвардий русская опять доказала свое превосходство. Три раза штурмовали русские гвардейцы деревню. Упорный бой шел на улицах и в садах. Многие дома по несколько раз переходили из рук в руки. И все же русские гвардейцы выбили врага из деревни.

В этой борьбе и совершил свой подвиг гренадер Финляндского полка Леонтий Коренной. Его батальон зашел в тыл французам, защищавшим деревню. Гвардейцы перелезли через каменную ограду и бросились в штыки. Но огромные толпы непри-

ятеля, скопившиеся тут, окружили финляндцев. Многие русские офицеры были ранены, получил тяжелую рану и командир батальона. Коренной поднял его и перенес обратно через ограду. Пока часть батальона выносила раненых с места сражения. Коренной собрал вокруг себя наиболее отчаянных стрелков и стал перед оградой. Иногда он подбадривал своих товарищей возгласами: «Не сдаваться, ребята! Бей их!» Сначала финляндцы отстреливались, но потом французы стеснили их так, что пришлось отбиваться штыками. Все пали — одни были убиты, другие тяжело ранены. Коренной остался один. У него сломался штык. Французы кричали ему, чтобы он сдался. Гранадер в ответ начал крошить их прикладом. В тот момент он походил на былинного богатыря, поражающего палицей тучи врагов. Но вот несколько ударов штыками заставили его рухнуть на землю. Он упал на трупы, устилавшие место отчаянной схватки. Однако Коренной не был убит, несмотря на то, что получил восемнадцать ран. Когда он очнулся, французы подобрали его и, покидая деревню, унесли с собой. Весть о выдающемся русском гвардейце дошла до Наполеона. Пожволенец пожелал видеть его. Долго смотрел он на могучую фигуру Коренного, в его смелые светлые глаза, а потом приказал отпустить гранадера из плена. На следующий день по французской армии был отдан приказ, в котором Наполеон ставил русского гвардейца в пример всем своим солдатам.

...Провал главной атаки французов у деревни Госса повернул весь ход сражения в пользу союзников. Они соединились всеми силами и обложили полукругом наполеоновские войска. 6 октября Наполеон окончательно проиграл битву под Лейпцигом. Судьба Европы была решена.

* * *

1 января 1814 года русская гвардия переходила Рейн у швейцарского города Базель, лежащего на стыке трех границ. Впереди была Франция, позади оставалась Германия, а там, за ней далекая Россия. Гвардейцы вспоминали, как ровно

год тому назад, покидая родину, они переправлялись через Неман. Теперь другая река служила для них рубежом новых дел. Грозно бушевал и кипел синий Рейн меж берегов, покрытых снежной пеленой. Гул орудийных выстрелов огласил французские земли, где никогда еще не премело русское оружие.

И здесь, во вражеской стране, русская гвардия не изменила своим традициям. Как только войска вступили на территорию Франции, был издан приказ, который требовал от начальников строгой дисциплины в вверенных им частях. Солдатам напоминался благородный долг каждого русского воина — человечное и дружеское отношение к мирным жителям.

Французские крестьяне и горожане встречали гвардейские полки настороженно, с затаенной неприязнью, а провожали большей частью приветливыми улыбками и, вздыхая, спрашивали: «Но почему они враги?»

Когда войска союзников покинули город Труа, жители, вооружившись чем попало, ворвались в госпитали, и перебили всех раненых пруссаков, баварцев и австрийцев. Они мстили им за разоренные дома, разграбленное имущество и надругательство над женщинами. Но русских никто не тронул. Французы подходили к раненым гвардейцам и говорили «Не бойтесь! Мы избиваем этих собак, а вы настоящие солдаты».

Следуя к реке Сене, гвардейская дивизия под начальством Ермолова вступила в небольшую живописную долину, посреди которой возвышался гранитный обелиск. Это был памятник известному французскому полководцу Тюренню, одержавшему крупные победы над германцами и испанцами в середине XVII столетия. На этом месте он был убит, сраженный ядром. Русская гвардия почтила память храброго полководца, который был так же грозен для врагов, как и заботлив для своих солдат. Гвардейские полки прошли мимо обелиска церемониальным маршем, преклонив знамена. После этого Ермолов вошел в домик инвалидов, построенный около памятни-

ка, и старый французский гренадер, ветеран многих войн, подал ему большую книгу почетных посетителей. В нее Ермолов вписал свое имя.

Но, побеждая мирных жителей своим великодушием, русские гвардейцы не упускали случая наносить сокрушительные удары по вооруженному врагу. Так было, например, в решающем сражении у Фер-Шампенуаз 13 марта 1814 года. Здесь, в шестидесяти верстах от Парижа, русская гвардия прославилась себя на земле Франции, подобно тому как Кульмским делом она прогремела на всю Германию. Но если под Кульмом главные лавры стяжала гвардейская пехота, то под городком Фер-Шампенуаз ими украсилась гвардейская кавалерия.

Это сражение примечательно тем, что велось оно русской конницей на марше. Не получая никаких предварительных распоряжений, гвардейские кавалерийские полки прямо с хода бросались в бой, когда не было даже времени выяснить его общую картину. Каждому командиру приходилось принимать решения мгновенно, одно острое положение сменялось другим, всякая минута могла принести новую неожиданность. А враг был сильный и опытный — два лучших корпуса Наполеона, его молодая гвардия, гвардейская кавалерия, в том числе и отборные конники в красных шапках, носившие пышное название «хранителей чести». Но русская гвардия с блеском выдержала труднейшее испытание.

Дело завязал небольшой авангардный отряд. К нему на выстрелы поспешили лейб-уланы и конная полубатарея. Почти одновременно с другой стороны ринулись кавалергарды, за ними кирасиры, конногвардейцы, драгуны... И так почти вся русская гвардейская кавалерия постепенно, отдельными частями, вступала в сражение. Ей приходилось врубаться в пехотную каре, идти прямо против картечи французских пушек и вступать в бесконечные сшибки с вражеской конницей. Страшная буря разыгралась в тот день. Всадники носились не только в клубах порохового дыма, но и в облаках взметанной вихрем

пыли, под потоками дождя и града. Грохот пушек сливался с ударами грома. В этой адской кузнице русская гвардия ковала славу своего оружия.

Сражение представляло собой последовательный ряд ожесточенных схваток. Французы становились сначала на одной позиции, русские гвардейцы налетали на них и сбивали. Французы отступали на другую позицию и, продержавшись там некоторое время, отходили дальше на запад. Здесь они опять пытались закрепиться, но русская кавалерия вновь атаковывала их, и опять французы отступали. Одних только крупных атак было более пяти — в девять часов утра первая, через час вторая, в полдень третья, спустя два часа еще одна атака, а еще через час пятая... Потом к французам подошли в подкрепление две дивизии, и снова нужно было атаковать их. А более мелким атакам не было конца. Никогда еще кавалерии не приходилось выносить такого напряжения, как русской гвардейской коннице при Фер-Шампенуазе. И она показала при этом непревзойденные образцы выносливости, решительности, быстроты действий.

Кирасирский полк четыре раза бросался на каре французской молодой гвардии, пока не рассеял их, а одно каре целиком взял в плен.

Гвардейская конная батарея подскочила чуть ли не вплотную к огромной неприятельской колонне в две тысячи человек и частыми картечными выстрелами обратила ее в бегство, а потом неотступно преследовала до самого вечера и почти всю уничтожила.

Лейб-драгуны восемь раз подряд ходили в атаку и отняли при этом у противника двадцать четыре орудия.

Уланы и кавалергарды втроем разбили наполеоновских «хранителей чести», так что только одна треть их могла спастись бегством.

Другая гвардейская батарея так быстро переносилась с одной позиции на другую, беспрерывно заскакивая неприятелю то во фланг, то в тыл, что австрийская кавалерийская бригада, назначенная в прикрытия батареи, не могла всюду поспевать

за ней и, наконец, совсем остановилась в ложнине, совершенно измучив своих лошадей. Так русские гвардейские артиллеристы «загоняли» кавалерийскую часть — случай редчайший, если не единственный, в военной практике. Недаром русская гвардейская артиллерия по скорости была признана первой в Европе.

Все сражение при Фер-Шампенуазе было проведено с русской стороны только одной кавалерией. Она так стремительно гнала перед собой врага и разгромила его, что русская пехота не успела сделать ни одного выстрела. Гвардейская кавалерия истребила и взяла в плен половину всех французских войск, в том числе шесть генералов. Ей досталось более восьмидесяти орудий, двести зарядных ящиков и все снаряжение противника. Все гвардейские кавалерийские полки, участвовавшие в этом сражении, стали выступать с тех пор в поход под звуки георгиевских серебряных труб, обвитых орденскими лентами с надписью: «Фер-Шампенуаз».

Фер-Шампенуаз был последней ступенью к столице Франции. 17 марта гвардейцы переправились по pontонным мостам через Марну. День уже клонился к вечеру, прохладный ветерок дул в лицо, когда они вдруг увидели с правой стороны сквозь дым пальбы большую гору, ветряные мельницы на ней и сзади верхушки каких-то башен. Это был Монмартр. «Париж! Париж!» — разнеслось по рядам гвардейцев. Самый город еще не был виден. Его закрывали холмы, на которых расположились французские войска.

На следующий день начался штурм Парижа. Союзная армия двинулась к нему с двух сторон — с севера и востока. Русская гвардия была введена в огневую линию. Гренадерские полки атаковали важнейший пункт в этом сражении — Вельвильские высоты. Гвардейцы Павловского и С.-Петербургского полков первыми вошли туда по трупам неприятельских тел. Величе-

ственная картина представилась взорам удивленных победителей. На необозримом пространстве раскинулся перед ними Париж — город, прозванный «столицей мира», овеянный пышной романтической историей и хранящий в своих недрах таинственное и притягательное слово «революция». Над морем домов и деревьев выступала готическая верхушка собора Нотр-Дам, кругловерхий Пантеон и позолоченный купол Дома инвалидов. Так вот он каков Париж!

Между тем на Шомонскую высоту поднялась первая рота гвардейской артиллерии. Это была старейшая артиллерийская часть русской армии, ведущая свое начало еще от бомбардирской роты Петра I. Быстро развернули свои двенадцать орудий гвардейцы и открыли стрельбу по окраинам столицы. Не прошло и получаса, как от заставы показался французский парламентар с белым флагом, в сопровождении трубача. Он появился вскоре у батареи и объявил, что Париж сдается и просит прекратить обстрел. Так с последним выстрелом гвардейской артиллерии окончилась долголетняя война и ратные подвиги русской гвардии. Москва была отомщена!

В эту ночь никто не спал в обоих лагерях. Парижане ждали приговора своей судьбы. Пруссаки и баварцы занимались грабежом предместий и опустошением винных подвалов. А в это время русские гвардейцы усилленно приводили себя в порядок и чистили амуницию, оружие, лошадей, чтобы вступить на другой день в Париж в полном параде.

Утро 19 марта выдалось прекрасное. Весеннее солнце ярко светило с чистого бирюзового неба над шпалерами войск, построившихся по дороге к Пантенской заставе. Около девяти часов началось торжественное шествие.

Войска миновали предместье и повернули направо, вдоль линии бульваров. Тысячи парижан высыпали на улицы. Тротуары были залужены народом, люди стояли на балконах, на крышах, высовывались в окна. Многие махали шляпами и платками, кричали приветствия, хлопали в ладоши. Особенное любопытство воз-

буждали русские войска. Все стремились посмотреть на воинов, пришедших с дальнего севера, о которых наполеоновская печать рассказывала, как о варварах, людоедах. Парижане воображали их себе полудикими существами, в странной одежде, обросшими волосами и говорящими на языке, непонятном для образованных наций. А вместо этого они увидели русскую гвардию, стройные шеренги рослых здоровых солдат, красоту мундиров, блеск оружия и услышали остроумные ответы офицеров на чистейшем французском языке. Маркиз Лондондерри так передавал свое впечатление о русской гвардии: «Все, что можно сказать об этих войсках, останется ниже действительности. Вид и вооружение их удивительны. Когда подумаешь о трудах, перенесенных этими людьми, из коих многие, прибыв от границ Китая, в короткое время прошли пространство от Москвы до Парижа, исполняешься чувством ужаса к необъятной Российской империи».

Колонну русской гвардии открывала кавалерия. В каждом эскадроне лошади одной масти — один гнедой, другой серый, третий вороной, потом опять гнедой. Все лошади — высокие, шлоные в груди и крестце, подстриженные, подщипанные и вычищенные до последнего совершенства, с длинными хвостами ровно до щиколотки ног... Впереди выступали кавалергарды в белоснежных колетах, с рядом блестящих пуговиц, в полированных кирасах, сияющих, как зеркала, в медных касках с гребнями конских волос. В одной руке, обтянутой перчаткой, они держали у плеча обнаженные палаши, а другой незаметными движениями управляли шагом лошади. Потом следовали полки конной гвардии и кирасирские — в такой же форме и на таких же первоклассных скакунах. За ними — лейб-казаки в красных полукафтаныях, синих штанах и с пышными султанами сбоку мохнатых шапок, в седлах с красными чепраками. Потом уланы, держащие по-парадному пикн с разноцветными флюгерами, в шапках с четырехугольным верхом. Гусары в расшитых доломанах, в небрежно накинутых ментиках с меховыми опушками, вооруженные кри-

выми саблями с золочеными эфесами.

После кавалерии шел гренадерский корпус и вся гвардейская пехота. И здесь зрителям представлялась та же картина первоклассных войск, поражающих своей мужественной красотой и сдержанной силой. Гренадеры, все высоченного роста, с одинаковыми черными усами, несли на своих киверах и сумках медные эмблемы бывшего оружия — пылающие ручные гранаты. Все гвардейцы были в белых панталонах, над которыми еще сильнее выделялись яркие цвета мундиров различных полков. У егерей — зеленое с оранжевым, у москвитцев — зеленое с красным, у финляндцев — зеленое, желтое и красное, у артиллеристов — все сплошь зеленое с черным бархатом, у моряков гвардейского экипажа — черное с золотым...

Барабанички, с расшитыми пестрым галуном рукавами, отбивали железный ритм, доступный только русской гвардии. Трубачи и музыканты играли в трубы, увитые почетными лентами, — каждая в память одержанной победы. Портупей-прапорщики несли на золотых перевязях тихо шестестящие знамена, пробитые, опаленные и омытые кровью в исторических сражениях. А сзади их сомкнутыми рядами шли прославленные воины, украшенные за свои подвиги орденами, георгиевскими крестами, медалями.

Пройдя мимо лужсорского обелиска на площади Согласия, войска вступили в роскошную аллею Елисейских полей. Здесь состоялся общий парад, и русская гвардия продефилировала таким церемониальным маршем, что восхищенные парижане наградили ее бурей аплодисментов и дождем живых цветов. После парада состоялся торжественный молебен. Русская кавалерия опустила разом сверкающие клинки, гвардейцы спяли лакированные кивера и с обнаженными головами слушали торжественное пение. Каждый вспоминал понесенные им труды в течение долгих лет, отшумевшие сражения, павших товарищей, далекую родину...

Пребыванию русской гвардии в Париже длилось несколько месяцев. Тут гвардейцы имели возможность познакомиться со всеми достопримечательностями Парижа.

чательностями французской столицы, а парижане — со всеми достоинствами гвардейцев. И если пруссаков просто не замечали, то русских гвардейцев всюду встречали радушно и дружески. Все театры, музеи, дворцы были широко раскрыты для них. Достаточно было сказать: я офицер русской гвардии, чтоб получить доступ куда угодно.

Как раз в те дни во Францию приехал известный английский фельдмаршал Веллингтон, прославившийся крупными победами над наполеоновскими войсками в Испании. Когда Веллингтона спросили, что ему больше всего понравилось в Париже, он ответил:

— Гренадеры русской гвардии!

Первые зарницы

В рядах гвардейских полков, проходивших весной 1814 года по улицам Парижа, было немало лиц, которым предстояло сыграть впоследствии выдающуюся роль в общественно-политической и культурной жизни России. Во главе первой роты преобразенцев ехал на рыжей лошади капитан Катенин, будущий поэт и драматург, приятель Пушкина и Грибоедова, участник декабристского общества. Среди офицеров лейб-гвардии Московского полка выделялся энергическим лицом и широкоплечей фигурой прапорщик Пестель, ставший одним из виднейших декабристов, главой «Южного общества», человек огромных дарований и блестящего образования, «умный во всем смысле этого слова», как отзывался о нем Пушкин. Недалеко от него ехал офицер квартирмейстерской части Сергей Муравьев-Апостол — будущий сподвижник Пестеля, автор революционной прокламации для солдат и руководитель вооруженного восстания Черниговского полка. Тут же находился офицер гвардейского генерального штаба Никита Муравьев — будущий крупный идеолог и деятель декабристского движения, сочинивший проект русской конституции. В рядах семеновцев шел поручик Трубецкой — один из основателей «Северного общества» декабристов, выдвиг-

нутый ими накануне восстания в диктаторы.

Лихо заломив кивер и поглядывая веселыми глазами по сторонам, горничат коня генерал-майор гусарской бригады Денис Давыдов — известный партизан отечественной войны, яркий и оригинальный поэт, которого Белинский поставил впоследствии в число «замечательнейших людей» начала XIX столетия. Рядом с упряжкой конной батареи скакал юный прапорщик Рылеев — поэт-революционер, страстный певец свободы и будущий руководитель петербургских декабристов.

Среди лейб-егерей шел Батюшков, среди семеновцев Чаадаев, среди измайловцев — поэт и переводчик Козлов, шел недавно переведенный из ополченцев в лейб-гвардию Павловский полк Лажечников — будущий создатель русского исторического романа, автор нашумевших произведений: «Последний Новик», «Басурман», «Ледяной дом»...

Все это были люди, которые пристально изучали во время заграничных походов общественный уклад, нравы и обычаи других народов. В Европе они соприкасались с новыми порядками, неслыханными для крепостнической России.

«В Саксонии теперь нет ни короля, ни министров: они все уехали, а все без них идет так хорошо! Во всем удивительный порядок! Отчего бы это?» — спрашивает Федор Глинка в своих «Записках русского офицера».

А в Париже русские гвардейцы не только наслаждались колоратурами Большой оперы, драгоценными коллекциями Лувра или журчанием золота в игорных домах, но и окунулись в горячий поток идей французской буржуазной революции. Они услышали страстные дебаты на такие волнующие темы и такие слова, которые им страшно было произносить даже шепотом у себя в Петербурге. В Париже они увидели щедро рассыпанное в массе народа наследие великих французских просветителей — беспощадный анализ Дидро, едкую иронию Вольтера, страстную социальную проповедь Руссо. В кабачках Монмартра им пришлось услышать первые политические песенки и памфлеты. Бе-

ранже. Пьянящее слово «свобода» раздавалось повсюду, его не могли приглушить уже ни годы военного диктаторства Наполеона, ни угарные дни реакционной вакханалии при реставрации Бурбонов. «Свободомыслием заразился я во время походов во Францию в 1814 и 1815 годах», — отвечал Рылов следственной комиссии на допросе декабристов.

Не менее глубокий след оставили заграничные походы и в сознании солдат. Русский солдат увидел страну, где не было уже крепостного права, увидел у крестьян собственную землю, дом, хозяйство, увидел отношения, свободные от личной рабской зависимости. Он убедился здесь, что и крестьянин может быть человеком, а не только одушевленным орудием труда, предметом купли и продажи.

Отечественная война 1812 года разбудила в русской армии огромные силы любви к родине. Солдаты и командиры прониклись гордым сознанием, что они являются спасителями своей страны, ее основной опорой, защитниками ее международного престижа. Громкие победы на полях Кульма, Лейпцига и Фер-Шампенуазы возвысили русскую армию, и особенно гвардию, перед лицом всего мира, укрепили среди гвардейцев чувство собственного достоинства.

Но вот армия вернулась в Россию. Полки гвардейского корпуса торжественно вступили в Петербург, пройдя через Триумфальные ворота, воздвигнутые в честь отличной службы гвардии во время долголетней боевой страды. Восторженные крики народа, всеобщее восхождение встретило победителей. Стройными рядами шли воины, выдержавшие суровые испытания исторических битв, покрытые почетными рубцами едва заживших ран, сплоченные во время боевых походов в дружную семью, где перед угрозой смерти развивалось товарищество даже между офицерами и солдатами. Но что ожидало их теперь? Все тот же произвол во всех областях государственной жизни, в деревне — барская палка, а в казармах — шпицрутены и рукоприкладство. Над страной витала

зловещая тень Аракчеева, стремившегося с помощью военных поселений превратить крестьянскую Россию в грандиозную гауптвахту. Все надежды на светлые перемены после войны, на какие-то улучшения и преобразования оказались тщетными. Наоборот, петля затягивалась все туже. Правительство Александра I понимало всю силу влияния на армию заграничных походов и совершившийся перелом в настроении солдатской массы и боевых командиров. Вернувшиеся войска сразу же попали в железные тиски жестокой плацпарадной муштры и каторжного казарменного режима. Автоматическая шагистика должна была притупить мысль солдата, а грубый окрик — погасить всякое проявление босого свободного духа и молодечества. И где же было найти лучшее средство для этого, как не в прусской системе. Опять в главных ролях начинают выступать специально подобранные офицеры и инструкторы немецкой школы, любители плацпарадного балета, вытягивания носков и ремешковой службы. Они получают высокие чины, награды и «высочайшие» милости. А заслуженные боевые командиры отступают на задний план, как ненужные и даже опасные. Герой отечественной войны и любимец гвардии Ермолов, вокруг которого группировалась так называемая «русская партия» из наиболее передовых и честных молодых офицеров, отсылается на Кавказ и в Персию, подальше от столицы.

Все это рождало глубокое недовольство в армии и особенно в гвардии. Она находилась постоянно в Петербурге, всегда на виду высшего начальства, и потому все крайности прусского режима проявлялись здесь в первую очередь и в наиболее резкой форме. Обилие всякого рода караулов, смотров, парадов давало службистам-фрунтовикам неограниченные возможности для мелких придирок, издевательств и жестоких наказаний. С другой стороны, гвардейцы особенно болезненно относились к унижению их достоинства и оскорблению воинской чести, так как они по праву привыкли считать себя лучшими и отборными представителями армии.

наследниками славных боевых традиций русского народа.

Среди гвардейцев той эпохи мы встречаем чуть ли не всю голову тогдашней интеллигенции, ее наиболее культурную и мыслящую часть. В гвардии служил в свое время выдающийся представитель русского классицизма Херасков, совадвший величественную эпопею русского воинства — «Россиаду»; величайший русский поэт XVIII столетия Державин прошел десятилетнюю солдатскую школу в Преображенском полку; преображенцем был и Карамзин — глава русской литературы на рубеже двух столетий и один из первых русских историков; известный стихотворец и баснописец семеновед Дмитриев пробыв свыше двадцати лет в гвардии; первый русский журналист, книгоиздатель и общественный деятель Новиков пять лет служил в лейб-гвардии Измайловском полку.

Более молодое поколение прошло суровое воспитание в войнах с Наполеоном. А внутри самой России пробивалась к свету еще более юная поросль тогдашней интеллигенции. В дортуарах Царскосельского лица завязывалась прочная дружба между молодым Пушкиным и известным впоследствии поэтом и издателем литературных альманахов Дельвигом, их тесное товарищество с будущим поэтом-декабристом Кюхельбекером и будущим гвардейским военно-артиллеристом Пушным, принадлежавшим к числу наиболее известных деятелей декабристского движения. В первый год их учения в лицее Грибоедов, ставший тогда кандидатом прав, поступает в гусарский полк. А в те дни, когда они говорились к выпускным экзаменам, будущий их общий друг Александр Бестужев (Марлинский), виднейший декабрист и один из создателей русской военной беллетристики, переходит из горного корпуса юнкером в лейб-гвардин драгунский полк. Тогда же примерно зачисляется с университетской скамьи в лейб-гвардин егерский полк Каховский — один из главных участников восстания 14 декабря 1825 года, смертельно раненный генерал-губернатора Милорадовича, который пытался уговорить восставших, чтобы они сложили

оружие. Тогда же определился прапорщиком в лейб-гвардии Павловский полк Оболенский, выступавший на Сенатской площади рука об руку с Каховским и распоряжавшийся действиями восставших. Тогда же поступает на службу в кавалергардский полк Бестужев-Рюмин — человек блестящего образования, будущий видный член «Южного общества» декабристов, друг Пестеля в Муравьева-Апостола. Несколько позже в ряды лейб-гвардии Московского полка переходят офицеры гвардейского экипажа Михаил Бестужев и Щепин-Ростовский, которые первыми подняли этот полк 14 декабря против правительства. И почти одновременно с ними становится конногвардейцем юный Одоевский, будущий поэт и близкий приятель Грибоедова, Марлинского, Рылеева.

Вся эта талантливая молодежь, полная благородных стремлений и горячих порывов, представляла собой превосходную почву для новых идей и чувств, принесенных из zahraniчных походов их старшими товарищами. Почти все они служили в гвардии или же были связаны с ней тысячами нитей личной дружбы, родства, общностью интересов и культурного уровня. Именно они составляли тот слой гвардейского офицества, о котором Денис Давыдов писал в шуточной форме:

Жомни, да Жомини!

А об водке — ни полслова!

Но не только теория военного искусства Жомини волновала умы передовой гвардейской молодежи. Судьба родной страны, ее социальный строй, отношение к деспотической царской власти и крепостничеству, роль различных классов в управлении государством — все это служило предметом тяжелых раздумий и горячих споров. Многие гвардейские офицеры открыто выражали свое недовольство тем, что они нашли в России после zahraniчных походов. Даже в присутствии солдат осуждали они вслух произвол царизма, невежество военного руководства, засилье пруссачества. И семена этого возмущенного духа падали на благодатную почву солдатской массы.

Новые, неписанные уставы начали исподволь развиваться в гвардии. Наиболее культурные офицеры, проникнутые идеями гуманизма, стали подчеркивать свое человеческое отношение к солдату. Они старались вежливо обращаться с ним, не допускали грубых окриков и рукоприкладства, ратовали за отмену жестоких телесных наказаний. Аракчеев поспешил донести об этих опасных веяниях Александру I. Тот ответил с обычной двуликой усмешкой: «Мы подтянем этих молодчиков!» И высшие власти взялись за перетасовку и чистку офицерского состава в гвардии. Одни были переведены в чужие полки, другие отправлены в армейские части на глухих окраинах, а третьи и вовсе вышли в отставку. Все это были большей частью молодые «беспокойные» офицеры и заслуженные боевые командиры. А вместо них назначались никому неизвестные лица с плохим русским выговором, тупые и бездушные служисты, ревнители строевой муштры и поклонники немецкой школы. Так в 1820 году появился в старшем лейб-гвардии Семеновском полку новый командир Шварц.

Аракчеевский ставленник резко изменил все порядки в полку. Бесконечный поток мелочных придрок, тяжелых оскорблений, палочных расправ обрушился на семеновцев — героев Аустерлица, Бородина, Кульма. Это не было случайностью, это была новая система воспитания солдат. Она должна была «выбить дурь» из гвардейцев, принесших с собой из Западной Европы «революционную заразу». Принизить подчиненного, подвергнуть его неслыханному издевательствам было излюбленным приемом Шварца. И вот однажды случилось так, что ни в чем неповинный грендер первой роты попался под руку Шварцу, когда тот был в особенно раздраженном состоянии. Шварц плюнул грендеру в лицо. Но и этого ему показалось мало. Он велел всей роте плевать в глаза гвардейцу. Шварц сам вел грендера вдоль строя и следил, чтобы каждый выполнил его приказ. Вечером, при разводке ко сну, семеновцы стали просить у своего ротного командира

заступничества. Просьба эта была тотчас же истолкована Шварцем и высшим начальством как открытый бунт. Начали искать зачинщиков, но рота молчала. Тогда в ночь на 17 октября она была вызвана без срукья в учебный зал корпусного штаба, якобы для разбора жалобы. Здесь семеновцы были арестованы и отведены в Петропавловскую крепость.

Известие об аресте грендерской роты вызвало взрыв возмущения в полку. Солдаты поднялись с постелей и начали без приказания офицеров выстраиваться в коридорах. Стихийное стремление помочь своим товарищам, заступиться за них охватило все роты. На вопрос прибывавших офицеров: «Зачем собрались?» — семеновцы ответили: «Наши товарищи погибают, и все мы готовы погибнуть с ними». Затем, сохраняя полный порядок, солдаты вышли на двор казарм и стали здесь шеренгами поротно.

Между тем все гвардейское командование в Петербурге было поставлено на ноги. На дворе семеновских казарм появились треуголки и белые султаны высших начальников. Не было здесь только Шварца, который поспешил скрыться, предчувствуя нарастание грозных событий. Солдатам предложили разойтись и готовиться к караулу. Но гвардейцы отвечали, что без головной грендерской роты они не пойдут, без нее им «не к чему пристраиваться».

Наконец прибыл и сам командир гвардейского корпуса. Он строго объявил, что грендерская рота освобождена не будет и что остальные заслуживают такого же наказания. Тогда произошло то, что бывает лишь в минуты, когда большое коллективное чувство единым порывом охватывает массу людей. Весь полк вдруг повернулся налево и вышел из ворот на улицу. Солнечные проспекты Петербурга были разбужены мерным тяжелым шагом гвардейских батальонов. Семеновцы шли в гробовом молчании через весь город к Петропавловской крепости. Они шли без оружия, но никто не решился остановить их, так суров был вид этой демонстрации товарищеской солидарности. Вскоре мрачный зев

крепостных ворот поглотил ряды гвардейцев, пришедших сюда добровольно разделить участь гренадерской роты.

Тогда началась расправа. Несколько дней шло следствие и «допросы с пристрастием». Потом был вынесен приговор. Весь Семеновский полк получил название «штрафного» и подлежал полному расформированию. Четверо солдат подверглись страшному наказанию: их шесть раз прогнали шпидрутемами сквозь тысячу человек, затем заковали в кандалы и сослали на рудники для вечной работы под землей. Остальные были переведены в армейские полки, располоченные в самых глухих местах на Кавказе, в Сибири, южных губерниях. Офицеры были также распределены по другим частям.

Старейший гвардейский полк, детище великого Петра, перестал существовать. Осталось лишь одно его официальное название, присвоенное через некоторое время заново составленной войсковой единице. Сохранилась только прежняя внешняя форма, но душа была уже не та. Прервалась славная историческая традиция, выпестованная в огне героических сражений. И недаром имя семеновцев связывалось в памяти позднейших поколений уже не столько с боевыми подвигами, сколько с печальной ролью душителей народной революции, расстрелами защитников баррикад на Красной Пресне, жестокими карательными экспедициями в 1905 году.

Полковник Шварц был отрешен от командования. Но совсем не потому, что была признана правота солдат. Надо было хоть чем-нибудь успокоить гвардию и общественное мнение. Возмущение Семеновского полка произвело сильное впечатление во всех гвардейских частях. В тот час, когда семеновские солдаты собрались ночью на дворе казарм, по всему Петербургу скакали ординарцы, чтобы собрать войска для усмирения «бунтовщиков» Нелегко это было сделать. Егеря и конногвардейцы не хотели выступить против своих товарищей. Преображенцы, лейб-гренадеры, солдаты Московского полка громко выражали свое сочувствие семеновцам. Полковые командиры

доносили начальству, что они не рвутся за свои полки. Спустя несколько дней тайная полиция обнаружила в гвардейских частях две прокламации. Одно воззвание было обращено к преобразенцам, а другое — вообще к «воиннам». Неизвестные авторы этих прокламаций призывали солдат выступить на защиту семеновцев, поднять восстание не только против царской власти, но и дворян, а затем выбрать новых начальников «из своего же брата солдата».

Общего восстания не произошло. «Сплоченный протест семеновцев вспыхнул лишь короткой зарницей во тьме крепостнической России и погас. Но искры его остались тлеть в различных слоях русской армии. Старые кадры Семеновского полка были рассеяны по разным воинским частям под строжайший надзор. И здесь они заражали духом протеста солдатские и офицерские массы. А новый состав Семеновского полка подвергался в гвардии своеобразному бойкоту, — и не только потому, что новые люди были «чужими», но и потому, что в них как бы видели невольных предателей старых товарищей. Такой же живой отклик нашла «семеновская история» и в гражданских кругах. Многие не скрывали своих симпатий к осужденным.

Правительство настороженно следило за всеми признаками недовольства. Александр I понимал, что возмущение Семеновского полка было лишь прорвавшейся струей общего глухого брожения. Он писал в те дни своему любимцу Аракчееву: «Никто на свете меня не убедит, что сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно от жестокого обращения с оными полковника Шварца. По моему убеждению, тут кроются другие причины...»

Вся гвардия была взята под наблюдение. Учреждается специальная тайная полиция для наблюдения за гвардейскими чинами. Ланкастерские школы для солдат по методу взаимного обучения, которые старались насаждать некоторые гвардейские начальники, были закрыты. Наконец весной 1821 года всем полкам было

приказано выступить в поход в западные губернии. Присутствию гвардии в столице считалось уже опасным.

Но уже никакие крутые меры не могли приостановить буйных ростков движения. Россия шла быстрыми шагами к знаменательной дате 14 декабря 1825 года, к восстанию декабристов. И в этом выдающемся историческом событии русская гвардия сыграла главную роль. Гвардия была колыбелью декабристского движения. Еще в 1816 году в казармах Семеновского полка среди офицеров возникла первая ячейка тайного общества. Здесь сходились Сергей Трубецкой, братья Муравьевы-Апостолы, Якушкин и другие видные деятели декабризма.

И в дальнейшем гвардия поставляла основные кадры декабристов. Подавляющее большинство членов «Общества истинных и верных сынов отечества», «Союза благоденствия», «Северного общества» в Петербурге и «Союза друзей» в Варшаве составляли либо гвардейцы, либо офицеры, вышедшие из гвардии. Точно так же гвардейцами были и руководители «Южного общества» декабристов с центром в Тульчине. Главной опорой «Общества соединенных славян» на Украине были солдаты расформированного Семеновского полка. Почти все пехотные и конные полки гвардейского корпуса насчитывали в своих рядах приверженцев новых, революционных идей. Особенно много их было среди гвардейского экипажа и кавалергардов. Около пятидесяти гвардейских офицеров являлись крупными декабристами, представляя собой мозг и волю всего движения.

Гвардия была и той единственно реальной силой, которая в хмурый день 14 декабря 1825 года выступила против самодержавного деспотизма и крепостнической закостенелости в России. Николая I не любили в войсках. Он был известен своей жестокостью, мелочной придирчивостью и склонностью к бессмысленной плац-парадной муштре. Поэтому призыв руководителей декабристов не присягать Николаю и открытым выступлением требовать созыва народных представителей нашел широкий отклик в

гвардейской среде. Между тем Николай нуждался именно в присяге гвардии в первую очередь. Если гвардия не давала своего согласия, то никакой претендент на престол не мог считать себя императором, — так уже издавна повелось в России. В семь часов утра 14 декабря Николай созвал у себя всех высших начальников гвардейского корпуса. Он велел им ехать в главный штаб присягать, а оттуда немедленно отправиться по своим частям и также привести их к присяге. Но далеко не все начальники могли выполнить этот приказ. Волна брожения уже захватывала отдельные полки.

Первым выступил лейб-гвардии Московский полк. Рано утром в казармы москвитцев приехал Александр Бестужев, одетый в полную адъютантскую форму гвардии, в шинели и кивере с белым султаном. Здесь его ожидали брат Михаил и штабс-капитан того же полка Щепин-Ростовский. Втроем начали они обходить роты, убеждая еолдат не признавать Николая за государя. Штабс-капитан Щепин обратился к своей шестой фузилерной роте с речью. Он напомнил солдатам о своей строгости, которую должен был проявлять по требованию начальства. Он звал их идти за новым порядком, когда «положение солдата изменится, строгость не будет так велика и я буду жить с вами как товарищ». В другой роте Александр Бестужев говорил: «Вспомните прежний Семеновский полк, то-то были верные слуги!» Он советовал солдатам заряжать ружья и выходить на казарменный двор.

Барабанички ударили тревогу, и солдаты с криками «ура» стали собираться на дворе. Из квартиры полкового командира выбежали старшие офицеры и хотели было остановить солдат. Но те прогнали их, угрожая оружием, и не дали арестовать Бестужева с двумя товарищами. Пробовал преградить дорогу выходящим ротам и полковой командир, барон Фредерикс. Но этот немец, ненавистный солдатам, пошатнулся еще хуже. Получив удар саблей по голове и огнестрельную рану, он упал и лишился сознания. Та же участь постигла и бригад-

ного командира, пытавшегося задержать москочцев. Под предводительством Бестужева полк вышел с развернутым знаменем на набережную Фонтанки и, сопровождаемый толпой народа, направился к Сенатской площади.

Площадь была совсем пустой. Холодный ветер гулял по ее каменным плитам, взметал легкие снежные вихри вокруг подножья Медного всадника. Полк построился в каре, поставив посредине знамя. А спустя несколько часов на Сенатской площади стали рядом с москочцами еще два полка. Лейб-гренадеры сомкнулись с ними в одно каре. А Гвардейский экипаж, прошедший сюда в полном составе, построился в колонну «к атаке».

Так стояли эти славные гвардейцы — три тысячи человек — около памятника Петру I, который, казалось, осенял их простертой рукой. Против них со всех сторон располагались войска, стягиваемые к площади правительством. Расстояние не больше чем в несколько десятков шагов разделяло их. И часто смотрели друг другу в глаза боевые соратники, близкие товарищи и единомышленники. Немало было в рядах правительственных войск гвардейских офицеров и солдат, сочувствовавших восставшим. Непокойно было у преображенцев. В первой батареейной роте гвардейской артиллерии оказались перебранными построими на орудийных упряжках, поэтому пушки не могли быть вывезены тотчас же против восставших. Кавалергарды потребовали у полкового командира объяснений. А когда приехавший начальник дивизии генерал Бенкендорф допустил грубый окрик: «Присягать без рассуждений!» — в рядах кавалергардов поднялся сильный ропот, прозивший перейти в открытое возмущение. Волнения среди офицеров были и в конногвардейской артиллерии. В лейб-гвардии Конном полку агитировал против присяги Одоевский и прямо из дворцового внутреннего караула присоединился к восставшим. В Измайловском полку сопротивление правительственным распоряжениям оказала группа молодых офицеров. А две с половиной роты Финлянд-

ского полка наотрез отказались выступать против восставших, несмотря ни на какие уговоры и угрозы.

Так стояли почти целый день гвардейцы в каре у памятника Петру. Потомки будут всегда восхищаться величием и благородством этих людей, дерзнувших поднять знамя свободы в самом средоточии деспотической власти и пойти в открытую против страшной, мрачной силы царизма. Но в то же время люди эти, ходившие смею в огненный ад Бородини и Кульма, проявили роковую слабость именно в тот момент, когда требовались быстрые и решительные действия. Отсутствие ясной цели и единого энергичного руководства парализовало их. Активно действовала в тот день лишь толпа народа, бомбардировавшая поленьями и камнями императора и его свиту и просившая декабристов держаться до конца. Здесь складывался основной урок декабризма для всех последующих поколений революционеров: свержение самодержавия возможно лишь при общем восстании народа и армии.

Уже сумерки опускались на город, когда Николай сам подал команду первому орудью своей артиллерии выстрелить карточью по восставшим. Но когда он крикнул «пли!» — выстрела не последовало. «Свои, ваше благородие», — ответил гвардеец-фейерверкер подбежавшему офицеру. Пришлось офицеру вырвать у солдата запал и выстрелить самому. Начался расстрел почти безоружных людей. Кровь первых революционеров-гвардейцев оросила мостовую...

Эхо трагических событий 14 декабря на Сенатской площади, как удары набата, разнеслось по всей России. А спустя две недели на этот призыв своих товарищей ответили с юга гвардейцы-декабристы, поднявшие восстание Черниговского полка...

К следствию и суду по делу декабристов было привлечено около шестисот человек. Более трех четвертей из них были военные, преимущественно гвардейцы. Из пяти виднейших декабристов, повешенных на кронверке Петропавловской

крепости, четверо были гвардейцами.

Сила традиций

Отшумели грозы отечественной войны 1812 года, прошли первые десятилетия XIX века, когда русская гвардия была на вершине своего блеска, величия и славы. Но на этом не кончилась ее героическая история. Новые поколения русского народа приходили в ряды гвардии, впитывали в себя ее лучшие традиции

Полковые отличия являлись той неразрывной цепью, которая скрепляла славное прошлое с живым настоящим. Старые, седые от времени знамена с почетными лентами, серебряные трубы с памятными надписями хранились как величайшую ценность в полковых штабах и музеях. Босвым стягам и штандартам отдавались высшие воинские почести, и каждый гвардеец снимал перед ними свою шапку в знак уважения и преданности. В наиболее торжественные дни знамя — свидетель прежних битв и подвигов — выносилось перед строем. А при вручении нового знамени гвардейцы под пушечный салют приносили своему знамени присягу. Знамя было честью полка. За спасение его гвардейцы потучали высшую боевую награду — георгиевский крест. Полк мог быть разбит и истреблен, но если сохранялось его знамя, он не терял своего честного имени и продолжал существовать. Известен случай, когда во время Чесменского похода 1769—1774 годов двадцать семь мушкетеров Кексгольмского полка во главе с капитаном Барковым отбивались от внезапного нападения шеститысячного отряда турок. Стремительной атакой прорвали они вражеское тесное кольцо и пробились к узкому ущелью. Здесь шаг за шагом отступали мушкетеры под натиском всей массы неприятеля. Знаменщик был тяжело ранен, но не выпускал древка из рук. Тогда капитан Барков, сам тяжело раненный в плечо, приказал сорвать знамя с древка и опоясався драгоценным полотнищем, чтобы только вместе с жизнью отдать его врагам. Раненный вторично, Барков потерял

сознание. Но два мушкетера вынесли его из боя в проход между скалами, пока турки добивали последних защитников, ставших в проходе. Так принесли мушкетеры своего командира и спасенное знамя в Спарту, доказав всему миру, что классический пример трехсот греков в Фермопильском ущельи бледнеет перед этим подвигом русских гвардейцев.

Предания о подвигах лучших людей полка передавались из поколения в поколение гвардейцев. О них слагались в полку стихи и пелись песни у костров. Рассказы о них записывались в полковые хроники, памятки и истории, которые стали составлять впервые именно в гвардейских частях. На этих преданиях вырабатывался боевой дух русской гвардии и устанавливалась преемственность традиций.

В полковых музеях собирались тысячи предметов, составлявших вещественную историю гвардейской части, старые знамена, оружие и снаряжение. А в «заповедном отделе» музея хранились регалии и реликвии особого значения, считавшиеся священными для гвардейской части. У преобразенцев в «заповедном отделе» находились личные вещи великого русского гвардейца Петра I и драгоценный кубок, преподнесенный жителями Богемии за Кульм. У егерей хранился лоскут знамени, который носил у своего сердца поручик Сабанин, попавший в плен и скрывший знамя от врагов; спустя двадцать семь лет, вернувшись из плена, Сабанин отдал перед смертью этот священный лоскут полковым товарищам. Финляндцы берегли простреленную шинель своего героя-солдата Афанасия Чепыженко, который в бою вытащил из своей раны окровавленную пулю, вложил в дуло ружья и пустил ее во врага со словами: «Лети туда, откуда прилетела!»

Посетив полковой музей Финляндского полка, Гоголь заносит в свою записную книжку подвиги Леонтия Коренного и Афанасия Чепыженко, чтобы рассказать о них во второй части «Мертвых душ».

В память об исторических сраже-

ниях сохранялась та музыка, с которой полки шли когда-то в бой. Так, много лет раздавались бравурные звуки «Гвардейской чести» или «Гренадерского похода». Каждая гвардейская часть ходила на парадах только под свой особенный барабанный бой. Хоры музыки и полковые песенники славились в русской гвардии своим искусством. И не раз на международных состязаниях музыканты русской гвардии получали первые награды.

Воспитанию воинского духа, преданности своей части служили и полковые праздники. Во многих полках они приходились на день наиболее выдающегося боевого подвига. Егеря отмечали свой полковой праздник 17 августа — в память сражения под Кульмом, лейб-казаки праздновали 4 октября — в память битвы при Лейпциге, а лейб-драгуны 19 марта — в память взятия Парижа. Это был торжественный день для гвардейцев. Все чистилось и прихорашивалось к параду.

После общей молитвы и войскового смотра для всех чинов полка устраивался пышный обед. Собравшись в кружок, гвардейцы пели свои полковые песни. Егеря всегда затягивали первой застольную песню о Кульме, сочиненную унтер-офицером этого полка Александром Семченко:

Настал день Мирона святого,
Священный день для егерей!
Почтим же памятью былого
Своих отцов-богатырей!

Как в этот день они под Кульмом
Смертельно бились со врагом,
Как львы, боролись друг с другом
В смертельной схватке штыком.

Упорен был тот бой кровавый,
Но русский штык не оплошал:
Вонзё бессмертия и славы

Он нам под Кульмом завещал.

И мы теперь, как предки наши,
Все собрались здесь, друзья,
Нальемте же полнее чаши,
Как храбрых егерей семья!..

А многие солдаты-ветераны по жервням надевали в тот день свой

старый мундир, украшали грудь медалями и крестами и рассказывали сыновьям и внукам о походах и победах гвардии.

Так жили неуважающие традиции русской гвардии. Вот почему во всех сражениях и битвах XIX столетия, где участвовали русские гвардейцы, мы видим те же проявления могучей силы, мужества, воинского мастерства.

В зиму 1877—1878 года гвардейский корпус совершает беспрецедентный переход через Балканы. Гвардейцы шли через заснеженные перевалы, в трескучие морозы, в метели и бураны. Шли в тесных горных проходах, по узким тропинкам над бездонными пропастями, то по пояе в снегу, то по обледенелым крутым склонам. На каждом шагу нужно было выбивать турок из сильно укрепленных горных позиций. Орудия и снаряды приходилось втаскивать за собой на лямках. Гвардейцы вырубали в скалах ступеньки, чтобы взобраться на высокие кручи, и тогда облака плыли под их ногами. Немецкий генерал Мольтке, слышавший большим знатоком Турции, считал переход через Балканы в зимнее время невозможным. Но русские гвардейцы победили все препятствия суровой природы и, вопреки немецкому авторитету, показали по ту сторону хребта. Старейший лейб-гвардии Преображенский полк первым спустился по южным склонам в долину Софии. После этого знаменитого перехода генерал Гурко отдал специальный приказ, в котором он обращался к солдатам и офицерам: «Не знаешь, чему более удивляться: храбрости ли и мужеству вашему в боях с неприятелем, или же стойкости и терпению в перенесении тяжелых трудов в борьбе с горами, морозами и глубокими снегами. Пройдут года, и потомки наши, посетив эти дикие горы, с гордостью и торжеством скажут: здесь прошли русские войска и воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей».

Еще одна страница истории была перевернута, и наступил XX век — век грандиозных войн и революций. Гвардия не участвовала в сухопутных операциях русско-японской вой-

ны. Но в Цусимском бою гвардейские моряки составляли экипаж броненосца «Император Александр III». В самом разгаре сражения он прикрыл собой поврежденный флагманский корабль от сосредоточенного огня противника, а потом повел эскадру вперед. Броненосец все время удачно маневрировал и вел бой до последней возможности. Он погиб, но не сдался, и пошел ко дну, не спуская флага. Из его экипажа не спаслось ни одного человека.

В первую мировую войну русская гвардия отличилась рядом доблестных дел. Конная гвардия участвовала в наступлении русских войск в Восточную Пруссию. Это было наступление, которое спасло в то дни Париж. В грандиозной Галицийской битве русская гвардейская пехота наголову разбила лучшие австро-венгерские полки. Героически сражались гвардейцы с отборными немецкими дивизиями и в Августовских лесах и на Стоходе.

В июле 1915 года произошла историческая встреча на поле битвы русской гвардии с прусской, — единственная встреча за все время войны. Два дня и две ночи длилось без перерыва ожесточенное сражение, решавшее не только судьбу крупной операции, но и вопрос воинской чести, вопрос первенства русского или германского оружия. И в этом своеобразном соревновании русские гвардейцы еще раз продемонстрировали свое боевое искусство, богатую силу и безграничное мужество. Всего лишь один 3-й гвардейский стрелковый полк растрепал и прогнал целую германскую дивизию. В штыковые контратаки ходили даже штабная полурота и музыкантская команда, преграждая путь наступающим пруссакам. Затем жестокий ночной бой пришлось выдержать русской гвардейской бригаде против всей прусской гвардии. В течение многих часов эта бригада искусно вела активную оборону в ожидании подхода своих главных сил. И в самый ответственный момент на поле боя показались два русских гвардейских полка, одно только имя которых вселяло boldость в сердца русских и чувство

страха в ряды врагов. Это были Преображенский и Семеновский лейб-гвардии полки. Следуя старинному гвардейскому правилу — спешить на выстрелы, — они шли на шум боя в глубочайшей темноте, по лесным тропам и балкам, и отблески орудийной стрельбы служили для них путеводными маяками. А на следующий день, 19 июля, произошло столкновение главных сил двух гвардий. В яростной битве мелькали знамена полков, боевая слава которых гремела на протяжении всей истории русской гвардии. Тут ходили в сокрушительные атаки измайловцы и егеря; блистательно дрались гвардейцы Московского, Гренадерского, Павловского и Финляндского полков; гвардейская артиллерия громила боевые порядки немцев. Наконец пруссаки не выдержали этого стремительного натиска и начали поспешно отступать. Лучшие, отборные части германской армии, носившие пышные и гордые названия — «Короля Фридриха Великого», «Королевы Августы» — бежали, оставляя на своем пути оружие, боеприпасы и снаряжение. Тогда на сцену выступили лейб-казачки — потомки героев Лейпцига. На протяжении многих верст преследовали они врага, пронзали немцев копытами, рубили их в «капусту» сверкающими клинками.

Так закончилась эта знаменательная встреча двух гвардий — русской и прусской.

Не малая роль выпала на долю русской гвардии и в дни, когда над страной прогремели мощные громовые раскаты революционной бури. Многим представилась возможность смыть черное пятно, лежавшее на отдельных гвардейских частях, которых гибнувшее самодержавие заставляло нередко идти против собственного народа.

В Февральскую революцию 1917 года почти вся гвардия отвернулась от трона и держалась нейтрально. Это облегчило свержение царизма. Так гвардейцы запасного батальона Павловского полка, вызванные в помощь полиции, заявили: «Мы не

принем кровь народа на белые павловские петлицы». А некоторые гвардейские полки оказали решительную помощь восставшему народу. В решающий день 27 февраля солдаты лейб-гвардии Вольнского полка отказались стрелять в демонстрации петроградских рабочих, а затем вышли на улицу под командой унтер-офицера Кирпичникова и двинулись к соседним Преображенскому и Литовскому лейб-гвардии полкам. Они быстро и дружно присоединились к волынцам и направились на Выборгскую сторону, где находился тогда главный очаг петроградского революционного пожара — Выборгский комитет большевиков. Гвардейцы помогли рабочим взять приступом арсенал и получить оружие. В тот же день были взяты Главное артиллерийское управление, склады патронного завода, из всех гнезд были выбиты жандармы, городовые и охранники. Уже к вечеру столица была полностью в руках восставших рабочих, солдат и матросов. То, что только еще намечалось в робких чертах на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, теперь, почти столетие спустя, осуществилось в полной мере. И царизм пал.

Накануне октябрьского переворота военный отдел Петроградского совета созвал закрытое совещание представителей полков столичного гарнизона. Стоял важнейший вопрос: на какие воинские части можно было положиться в решительной схватке с буржуазией. На этом собрании делегаты от имени полков Измайловского, Егорского, Московского, Гренадерского, Вольнского, Павловского, Кексгольмского, Симеиновского и других заявили, что солдаты готовы по первому зову Петроградского совета выступить с оружием в руках против временного правительства.

В ночь на 25 октября солдаты Литовского полка охраняли от контрреволюционных покушений юнкерских отрядов типографию, где печаталась большевистская газета

«Рабочий путь» с призывом свергнуть временное правительство. Газета вышла вовремя, к 11 часам утра, и как бы явилась сигналом к открытию вооруженного восстания.

А в самый день 25 октября несколько рот матросов Гвардейского экипажа и солдат лейб-гвардии Кексгольмского полка, имея всего лишь один броневик, окружили штаб контрреволюционного Петроградского военного округа и предъявили ультиматум о сдаче. Штаб сдался. Это была первая вооруженная победа Великой социалистической революции. Восемь часов спустя прогремели орудийные выстрелы крейсера «Аврора», и начался штурм Зимнего дворца...

После Октябрьской революции гвардейские части были постепенно расформированы. Гвардейцы вливались в ряды Красной Армии, передавали опыт и лучшие воинские традиции своим собратьям по оружию — рабочим и крестьянам, а сами учились у них безграничной преданности делу революции и строительству новой жизни. Еще некоторое время форма и головные уборы прежних гвардейских полков мелькали среди частей Красной Армии. Так одна небольшая группа старых конногвардейцев сохранила свое название и свою организацию, сражаясь на фронтах гражданской войны. Конногвардейцы берегли форму своего старого полка — белые бескозырки, но вместо прежней кокарды они гордо носили красную звезду. Они дрались с врагами советской власти так же искусно и мужественно, как дрались их предки-гвардейцы со всеми врагами своей родины. Эта группа конногвардейцев и была одной из последних частей старой русской гвардии. Но потом и они стали настоящими красноармейцами...

Кончилась летопись старой русской гвардии. Началась история новой гвардии — гвардии советского народа, гвардии сталинской эпохи.

Л. Тимофеев

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ¹

Преемственность в развитии общечеловеческой культуры является одним из основных положений ленинского учения о новой советской культуре.

В трудные и суровые дни великой отечественной войны именно на долю Советского Союза выпала задача спасения мировой культуры от гибели на костре каннибала.

С необычайной болью воспринималась нами каждая весть о надругательствах, которые совершались над нашими культурными памятниками, — о разгроме Яснополянского музея Л. Толстого, о гибели новгородских образцов старинной русской архитектуры и живописи и других драгоценных реликвий нашей культуры. Красноармейцы пробирались, рискуя жизнью, через фронт, чтобы выяснить то, что делается в Пушкинском заповеднике. Народным праздником явилось сообщение о восстановлении Яснополянского музея Л. Толстого. Торжественный митинг на открытии этого восстановленного музея, проходивший почти во фронтовой полосе — всего в ста с лишним километрах от линии фронта, — под гудение истребителей, охранявших собрание от воздушного нападения, явился ярчайшим той органической, действенной связи со всей культурной

традицией прошлого, которая определяет все стороны работы советского человека.

В силу особенностей русского исторического процесса до революции русское самосознание пробивалось прежде всего через русло литературы. Именно в литературу устремлялась передовая общественная мысль.

«Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, — писал Чернышевский, — и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальные заведывания других направлений умственной деятельности» (Чернышевский. «Очерки годового периода русской литературы». Избр. соч., т. IV, 1931 г., стр. 345). Поэтому-то на долю русской литературы выпала почетная роль выразительницы передовых общественных идей. Не случайно такое значение придавали литературе лучшие русские люди. «Литературе российской — моя жизнь и моя кровь, — говорил Белинский. — Умру и под глотву мне велю положить том «Отечественных записок». В предсмертном письме к сыну Салтыков-Щедрин завещал ему: «Паче всего любви родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому».

И в самом деле, звание литератора в России принадлежало пере-

¹ Статья сокращена. Полностью печатается в сборнике «25 лет советского литературного», подготовленном Институтом мировой литературы им. Горького Академии наук СССР.

довым мыслителем, лучшим сыновьям русского народа. Поэтому-то с такой ясностью определилась и с такой глубиной выразилась основная черта русской классической литературы — ее истинная глубина, ее умение «в просвещении быть с веком наравне» (Пушкин), быть глашатаям передовых идей своего времени. Это основная традиция русской классической литературы. Роль ее в истории нашей страны замечательно определена Максимом Горьким:

«Наша литература — наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией. В ней — вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа... Литература свободно отражала настроения, чувства, думы всей русской демократии; всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле... Сердце русского писателя было колоколом любви и вещей и могучий звон его слышали все живые сердца страны». (М. Горький. «Разрушение личности»).

Решающей проблемой русской литературы уже со времен Радищева стала проблема человека, во имя освобождения которого она вступала в борьбу с тем общественным строем, который обрекал этого человека на страдания и эксплуатацию. Так складывалась еще одна великая традиция великой русской литературы: ее гуманизм, ее страстная любовь к человеку, боль за него, вера в него.

В неразрывной связи с гуманистической традицией зрела традиция народности. Она складывалась медленно и осознавалась еще медленнее. Ломоносов был первым русским писателем, который сумел найти идеи и образы, с огромной силой выразившие пробужденное национальное самосознание России. Но он дал его, так сказать, суммарно, не уловив двойственности нашей национальной культуры. Ленин писал: «Есть две национальной культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуршкевичей, Гучковых,

Струве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова» (Собрание соч., т. XVII, стр. 143).

Осознание идеи народности как руководящей идеи развития русской литературы тогда, когда литература вступила на путь сочувственного изображения народных масс, когда она еще в первоначальной и робкой форме стала откликаться на их страдания.

Элементы народности вошли в русскую литературу первоначально внешней стороной народной жизни, воспроизведением народного говора и т. п.

Но уже к началу XIX века подготовительную деятельность Фонвизина, Крылова, Радищев представлений о народности необычайно углубляется. Воспроизведение народного быта теперь становится уже недостаточным. Белинский подвергает резкой критике упрощенное представление о народности и, вслед за Пушкиным, дает ему глубокое философское обоснование. Он обрушивается на поверхностное воспроизведение народного быта, показывая, что его недостаточно для подлинной народности в литературе.

Для Белинского народность — это прежде всего глубоко правдивое отражение жизни, отвечающее интересам народа. Литература для него и есть «сознание народа», то есть «отражение его духа и жизни», показывающее «назначение народа. Место его в великом семействе человеческого рода» (Соч., т. V, стр. 471).

Высокая идейная устремленность, глубокий гуманизм, народность — таковы были те творческие принципы, развитию которых обусловило расцвет русской классической литературы XIX века и которые нашли свое творческое выражение прежде всего в огромной жизненной правде творчества русских писателей и в исключительной высоте их эстетических идеалов.

Принцип жизненной правды, честное изучение жизни, колоссальный жизненный опыт — все это было закреплено в основном художествен-

ном методе, который был выкован русскими писателями в жесточайшей борьбе с суровой жизнью — в методе реализма.

Русская литература сумела достигнуть самых высоких вершин реалистического искусства, войдя как равноправный член в семью великих мировых литератур. Ленину принадлежат слова о том, что творчество Льва Толстого «шаг вперед в художественном развитии человечества» (В. И. Ленин, т. XIV, стр. 400). Недаром работы Ленина и Сталина так насыщены литературными образами из произведений лучших русских писателей.

Борьба со всем, что мешало человеку свободно развиваться, и со всеми, кто мешал этому развитию, — основная магистраль развития русской литературы.

Начиная с сатирических журналов конца 60-х — начала 70-х годов XVIII века и во всем последующем ее развитии русская литература вела свою обличительную борьбу и с крепостническим строем, и с капитализмом.

Понятно, что реализм прошлого имел главным образом критический характер. Рисую идеал подлинного человека, литература вынуждена была осуществлять его, так сказать, «от обратного», негативно, изображая, гл. обр. падение человека, тот предел «нечеловечности», до которого доводили его общественные условия.

Мистер Домби Диккенса, Гобсек Бальзака, Плюшкин и Собакевич Гоголя, Свидригайлов и Федор Павлович Карамазов Достоевского, Иудушка Головлев Щедрина — эти образы с достаточной яркостью говорят о том, какое содержание диктовала жизнь великим художникам мира и в частности — да, пожалуй, и в особенности — художникам России.

Понятно, однако, что к этому кругу образов никак не сводится литература прошлого, — она умела находить и в человеке своего времени подлинные человеческие черты, создавая образы немеркнущей красоты, как Татьяна Пушкина, как Наташа Ростова Л. Толстого, как «Мцыри» Лермонтова, хотя на этих

образах чаще всего лежала печать или исключительности (купец Калашников Лермонтова), или трагизма неосуществленности (как на Татьяне, да и на Наташе), или вообще отхода от реальности к мечте, противопоставленной жизни, — к романтизму.

Но при всей своей критичности по отношению ко всему тому тяжело-му, что отравляло жизнь старой России, классическая русская литература с необычайной силой и глубиной выдвигает патриотическую тему, славит служение родине и призывает к нему.

Патриотизм — это память народа. Это чувство нашей глубочайшей связи с трудом безвестного пахаря, превращающего степи Поволжья в плодородные поля, с воинским подвигом ратника, павшего на поле Куликовом, с творчеством зодчего, возводившего собор в Новгороде, с русской речью, звучащей в былинах и песнях. Любовь к родине — это прежде всего дань высокого уважения к тем, кто своим трудовым подвигом и ратным трудом создавал в течение столетий русскую культуру. Вот почему народность творчества немыслима без патриотической его устремленности. Народность и любовь к родине — понятия, не отдельные одно от другого.

Патриотическая традиция, пламенная любовь к родине, позволяющая верить в ее светлое будущее, несмотря на все испытания, которым подвергала ее история, — основная идея русской литературы с самого ее возникновения. Именно она позволяла русским писателям не впадать в отчаяние в труднейшие годы торжества реакции, помогала создавать образы, полные оптимизма, зовущие на борьбу за счастье родины и сейчас.

Надо признать односторонность критики последних лет, увлеченной главным образом поисками критических мотивов в классической литературе. Эти поиски были безусловно оправданы в той мере, в какой русская литература была направлена на борьбу со всем отрицательным в русской жизни, а было это, как мы знаем, достаточно. Но эти поиски, и это надо сказать

прямо, в известной мере заслонили от нас то положительное начало, которое именно в русской литературе нашло исключительное сильное выражение: любовь к родине, к ее героическому прошлому, к замечательным чертам национального характера русского человека.

Мы как-то невольно предпочитали цитировать стихи Лермонтова о «немытой России» и забывали, что он же писал:

Москва, Москва, люблю тебя, как
сын,
Как русский,— сильно, пламенно и
нежно.

Мы чаще раскрывали перед читателем стихи Рылеева там, где говорилось об островах, на которых растет трин-трава, а не на его прекрасных патриотических «Думах» об Иване Сусанине и о Дмитрии Донском.

Русская классика великолепно поняла и уловила основные черты русского национального характера и сумела воплотить их в ряде образов, которые мы вправе называть героическими. Мы находим их и у Пушкина, и у Л. Толстого, и у Тургенева, и у Чернышевского, и у Некрасова и у других. Но характернейшей чертой этой героики русской классической литературы было то, что она развивалась в общественных условиях, ей противостоявших, ставивших на ее пути непреодолимые препятствия. Поэтому-то к этой героике так обильно примешана трагичность, поэтому в основе ее лежит конфликт человека и общества. Именно в этом идейный смысл образа Татьяны у Пушкина, Катерины у Островского и других. В обстановке царской самодержавной России патриотическое чувство писателя находило себе выход чаще всего в гневном протесте против несовершенства русской жизни, мешавшей развитию человека, обрекавшей его в массе на лишения и страдания.

Кто не знает печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей,—
писал Некрасов, и в этих словах звучала любовь к родине, не менее глубокая, чем у тех, кто выражал

свои патриотические чувства в положительной, так сказать, форме. В этом смысле содержание критического реализма отнюдь не исключало, а, наоборот, предполагало утверждение национальной темы.

Не случайно именно Щедрин, с предельной остротой обмаловавший языки старой России, писал, что сатириком может быть лишь тот, в душе у кого особенно полно живет представление об идеале: только тогда он находит в себе пафос обличения всего, что в жизни противостоит этому идеалу.

Так пафос обличения в русской литературе неразрывно был связан с пафосом утверждения русской культуры, с верой в будущее развитие России.

II

В свое время М. Горький чрезвычайно глубоко указал на то, что «в крупных художниках реализм и романтизм всегда как будто соединены... Это слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая все более заметно и глубоко влияет на литературу всего мира» (М. Горький. «О том, как я учился писать». Сборник статей «О литературе», изд. 3-е, М., 1937 г., стр. 203).

Эта романтическая струя нашей литературы в основе представляла собой то, что А. М. Горький назвал «активным романтизмом». «Активный романтизм,— писал он,— стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против вялого гнета ее» (там же, стр. 203). Таков был романтизм Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Чернышевского и самого Горького.

Великие заветы русской литературы — ее гуманизм, народность, патриотизм — находили свое творческое выражение прежде всего в традиции критического реализма, и в то же время они создавали основу для того активного романтизма, без которого критический реализм был бы неполон, не имел бы достаточной перспективы.

Творческие традиции русской литературы — это традиции величайшей жизненной правды, последовательного сурового критического реализма и вместе с тем — это и традиции страстной устремленности вперед, активной романтической мечты, озаряющей будущее, зовущей его приближение, как бы окрыляющей реализм.

Но понятно, что эта романтическая мечта о будущем, об идеале, о новом человеке была в XIX веке обречена на известную утопичность, ибо в самой жизни еще не было такой социальной силы, опираясь на которую можно было бы эту мечту осуществить. В этом заключалась беда, а не вина русских писателей.

Создать образы новых людей, выработать положительную программу перестройки жизни русская литература еще не могла, ибо не было еще той силы, которая действительно могла бы перестроить жизнь. Блестящей попыткой решить эту задачу явился роман Чернышевского «Что делать?», на котором воспитывались поколения русских революционеров. Но и в романе Чернышевского оказалась та же историческая ограниченность, которая вытекала из условий общественного развития. В этом — и только в этом — смысле можно говорить об ограниченности художественного метода русской литературы XIX века, ибо эта ограниченность была, так сказать, не художественной, а исторической. Нужен был новый этап общественного освободительного движения для того, чтобы литература смогла преодолеть эту ограниченность. И он уже назревал. Поэтому, чем ближе литература приближалась к концу века, тем острее она ощущала назревающую необходимость творческой перестройки. В основе этого лежало ощущение необходимости шагнуть вперед, вступить на какой-то новый творческий путь.

Русских писателей все больше и больше переставало удовлетворять только критическое изображение жизни.

И Гаршин, и Короленко, и Чехов, и Толстой, так же как и другие

русские писатели конца XIX века, продолжали с достаточной силой, глубиной и талантом основные традиции классической русской литературы. Создаваемые ими образы так же возбуждали гнев и протест против общества, обрекавшего человека на страдание.

Но этого казалось уже мало. Эпоха давала уже право на большее, а художественный метод литературы, сложившийся в предшествующий исторический период, этого нового еще не улавливал. На смену демократическому периоду освободительного движения шел уже третий период, когда в России появилась сила, способная разрешить терзавшие ее противоречия, сломать старый строй и создать новый. В жизнь входило новое содержание, которое давало право писателю изображать то, что уже не только критически. В мир вошли ценности, которые давали писателю право на утверждение: идея социализма и начавшаяся в 90-е годы XIX века борьба рабочего класса за создание социалистического строя.

М. Горький уже в самом начале своей творческой деятельности, исключительно высоко ценя традицию критического реализма, в то же время ясно осознает его недостаточность для нового времени и выдвигает требования его творческой перестройки. «Как вы здорово ударили по душе и как метко! — пишет он Чехову по поводу «Дяди Ванни». — Огромный талант у вас. Но, слушайте, чего вы думаете добиться такими ударами? Воскреснет ли человек от этого?» («М. Горький и А. Чехов», 1937 г., изд. Ак. наук ССР, стр. 11). И в другом письме: «Знаете, что вы делаете? Убиваете реализм. И убьете вы его скоро — насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время — факт!.. Реализм вы укокопите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к черту! Право же настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее» (там же, стр. 47).

В этих словах М. Горького было

чрезвычайно тонко схвачено основное содержание литературной жизни 90-х годов.

На историческую сцену выступила новая социальная сила, которая ставила себе задачей и — более того — была в состоянии действительно перестроить общественный строй и создать совершенно новый мир — мир освобожденного человека. Отсюда перед литературой возникали в свою очередь новые эстетические задачи.

Она должна была не только отражать противоречия общественной жизни, но и суметь показать путь разрешения этих противоречий. В центре ее творческого внимания, следовательно, должен был оказаться новый герой. Речь шла уже не только о человеке, угнетенном капитализмом, но и человеке, вступавшем в борьбу с ним, человеке революционере, и, следовательно, о той среде, которая создавала таких людей, то есть прежде всего — о рабочем классе. Это влекло за собой и новизну сюжетов и введение в литературу новых пластов русской языковой культуры: короче — нового решения всех основных творческих проблем.

Для решения новых задач, встававших перед литературой, огромное значение имел весь опыт русских классиков, накопленный в их напряженном патриотическом творческом труде, их реалистическая зоркость, их романтическая патетика, их высокий гуманизм, их стремление к народности как к высшей цели творчества.

Гуманизм прошлого должен был стать гуманизмом пролетарским, гуманизмом борьбы и непримиримой вражды ко всему, что стоит на пути освобождения народа, гуманизмом, который уничтожает врага, если тот не сдается.

Народность должна была получить новое и более глубокое содержание.

Трудности, мешавшие полному развитию и романтического и реалистического начала в литературе, устранились в социалистическом обществе. Поэтому и романтизм и ре-

ализм становились иными сравнительно с XIX веком.

Возникла возможность разрешения того противоречия между реализмом и романтизмом, которое в прошлом принимало иногда острую форму. Огромная задача — создание нового художественного метода и вместе с тем претворение великих традиций русской классической литературы — выпала на долю М. Горького. Глубоко справедливы были слова В. М. Молотова о том, что «по силе своего влияния на русскую литературу Горький стоит за такими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как лучший продолжатель их великих традиций в наше время».

Осуществление этой задачи было исключительно трудным делом. Как и всегда в эпохи больших общественных сдвигов, в литературе 90-х годов шла напряженная борьба самых различных идейных течений.

В жизни появился новый герой, и в литературе надо было, следовательно, искать новые эстетические возможности. Иначе творчество писателя не вбирало в себя основных вопросов своего времени, шло уже по проселку, а не по главной дороге эпохи.

Писатель, остававшийся только в пределах традиции, не видел, а если и видел, то очень смутно, пролетариат, выступивший на историческую авансцену («Молох» Куприна), не видел революционизирования деревни, а если и видел, то опять-таки в высшей степени смутно («Деревня» Бунина), не замечал главного — появления нового человека, выдвинутого в жизнь рабочим классом.

Примечательно прежде всего то, что М. Горький сразу же вступил на путь одновременной разработки обеих творческих тенденций классической литературы: реалистической и романтической. Он в одни и те же годы создает и такие образцы реалистического письма, как «Дед Архип и Ленка», «Скуки-ради», и такие ярко-романтические образы, как Зобар Лойко, Радда, Данко, хан и его сын, фея и чабан, девушка, победившая смерть.

Реалистичны у Горького те произведения, в которых он продолжает критическую традицию литературы XIX века, в которых он показывает облик человека, гибнущего под гнетом капитализма, человека-жертвы. Здесь Горький являлся продолжателем тех же высоких принципов гуманистического протеста против действительности, которые с такой силой были обоснованы нашими классиками.

Осознание неприемлемости капиталистического строя с предельной остротой ставило вопрос о преодолении его, о противопоставлении ему новых человеческих отношений. И Горький в полной мере использовал, опять-таки творчески углубляя и перерабатывая ее, ту традицию классической литературы, которую у нас иногда недооценивают: традицию активно романтической. Миру, в котором гибли люди-жертвы, он противопоставлял мечту о мире, в котором боролись и шли к победе люди-борцы.

Нам понятнее станут романтические герои М. Горького, если мы вспомним романтические образы классической литературы от кавказских поэм Пушкина до героя «Красного цветка» Гаршина.

Именно устремленность вперед позволила М. Горькому уловить те ведущие тенденции жизни, которые еще не оформились в жизни настолько, чтобы быть реалистически показанными. Поэтому-то его требование романтичности, высказанное в письмах к Чехову, было столь жизненным, что оно вытекало из ощущения уже назвавшихся в самой жизни перспектив развития.

Но перспективы эти вносили в жизнь совершенно новое начало. Это были перспективы грядущей революции. В предчувствии ее и заключалось огромное обобщающее значение романтических образов Горького. И новизна их была в том, что они несли в себе не только романтизм желаемого, как это было раньше, но и романтизм возможного, осуществляющегося, реально угаданного в будущем.

В эпоху начавшейся борьбы за

создание социалистического общества ожидание нового приобретало и новый смысл и новые формы; возникал романтизм, который Горький называет «романтизмом социальным или романтизмом коллективизма».

Новизна горьковского романтизма позволяла устранить те пречтения, которые в прошлом приводили к одностороннему преобладанию романтизма или реализма в творчестве того или иного писателя.

В основе этой новизны лежала, понятно, сама историческая обстановка, которая позволяла мечте быть в единстве с действительностью.

Мечта и действительность у Горького как бы сходятся, скрещиваются в одном образе, обогащая друг друга. Трезвый анализ жизни освещается мечтой о дальнейшей развитии жизни, а мечта вырастает из трезвого анализа существующего порядка вещей. Очень глубоки слова Луначарского о том, что для Горького характерно «желание представить прекрасное как безусловно могущее существовать или когда-то существовавшее,— словом, как часть реальности и даже как ее внутреннюю сущность» (предисловие к Собр. соч. Горького, Гиз, 1929 г., т. I, стр. 9). Это был путь, намеченный еще Чернышевским в «Что делать?» Но теперь жизнь создавала уже все необходимые условия для того, чтобы по нему можно было пойти.

Сам Горький отчетливо определил новый характер своего реализма:

«Надо противопоставить старый буржуазный реализм «самокритики»... патетическому, пафосному, революционному реализму, необходимому для нас» (цитировано по книге Б. Валика «Эстетические взгляды Горького», Л., 1939 г., стр. 226).

Поэтому-то, сформулировав свое представление о человеке-герое в романтическом образе Данко, Горький начинает кропотливо отыскивать его черты в самой жизни, с одной стороны, жизненно подкрепляя свою мечту, а с другой, именно благодаря революционной мечте, находя в

жизни то, что в ней еще только брезжит. От Арины из «Скуки-ради», у которой силы протеста хватают лишь для самоубийства (но с жизнью все же она уже не в состоянии примириться), к «Озорнику», от него к Коновалову, от Коновалова к Нилу («Мещане»), от Нила к рабочим во «Врагах» и от них к Павлу Власову и его матери — таков путь Горького к слиянью мечты и действительности. к взаимообогащающему единству реализма и романтизма в методе социалистического реализма.

III

Метод социалистического реализма является, таким образом, наиболее полным и глубоким воплощением тех основных творческих традиций, которые были созданы литературой прошлого. И в то же время он является результатом глубокой новаторской деятельности социалистического искусства, во главе с А. М. Горьким, ибо все традиции литературы прошлого в нем социалистически переосмыслены и выступают в новом своем содержании и в новых формах. Это новаторство социалистической литературы является необходимым следствием той новой действительности, которую создала Великая Октябрьская революция, и прежде всего того, что она покончила с «человеческим» человеком и создала все условия для развития «человеческого» человека (Маркс). Если поработанность человека в прошлом крайне болезненно отражалась на искусстве, разбивала его на два потока — односторонне-реалистического и односторонне-романтического изображения жизни, то освобождение человека освобождает и искусство, давая ему невиданный ранее материал для создания новых во всей истории человечества художественных образов.

«Рабочие и крестьяне, — говорил товарищ Сталин на I-м всесоюзном съезде колхозников, — без шума и треска строящие заводы, фабрики, шахты и железные дороги, колхозы

и совхозы, создающие все блага жизни, кормящие и одевающие весь мир, — вот кто настоящие герои и творцы новой жизни».

Исключительный размах социалистического строительства, невиданные ранее героические формы социалистического труда, ставшего «делом чести, делом славы, делом доблести и геройства», самоотверженная защита границ советской родины от нападения врагов — вот неисчерпаемый источник новых тем и образов, новых качеств человека для литературы в стране, в которой звание героя является высшей наградой.

Отсюда вытекает героичность советского искусства как характернейшая черта метода социалистического реализма. «Наша литература насыщена энтузиазмом и героикой» (Жданов). В центре внимания советских художников — высшие, героические черты человека, проявляющего себя в защите своей родины, в служении своему народу. Образы Ленина и Сталина, образы героев гражданской войны Чапаева, Щорса и других — это излюбленные образы советского искусства, ибо в них воплощены идеалы всего советского народа. И в изображении рядовых людей советский художник стремится подчеркнуть именно героические черты их характеров, ибо борьба за создание счастливой жизни, за свою родину способствует развитию именно этих черт, позволяя человеку обнаружить лучшее, что в нем есть. Образы Павла Корчагина у Островского («Как закалялась сталь»), Давылова у Шолохова («Поднятая целина») героичны, хотя они являются рядовыми бойцами за социализм.

Если русская классика находила свою героиню в образе человека, которого историческая обстановка вынуждала вступать в конфликт с обществом, что необходимо определяло трагизм многих его черт, то героинка советской литературы основана на единстве человека и общества и, следовательно, получает исторически новое содержание. В этом и есть единство ее с русской класси-

кой, ее традиции и ее отличие, ее новаторство.

Изображая человека, советское искусство стремится прежде всего показать в нем ту высокую человечность, которая проявляется и в самых простых и будничных и в самых напряженных обстоятельствах.

Товарищ Сталин в своем приветствии всадникам Туркменистана, совершившим «беспримечный в истории кавалерии пробег», писал: «Только ясность цели, настойчивость в деле достижения цели и твердость характера, ломающая все и всякие препятствия, — могли обеспечить такую славную победу».

Партия коммунистов может поздравить себя, так как именно эти качества культивирует она среди трудящихся всех национальностей нашей необъятной родины. (Цитировано по «Красной звезде», 26 августа 1935 г.).

В этих словах определенно основное содержание того образа, который является стержнем советской литературы и который должна показывать советская поэзия во всей многомерности его духовного мира. Этот характер и есть, прежде всего, то новое, что вносит советское искусство в сокровищницу мирового искусства, выбирая все то лучшее в человеке, что было найдено и показано в нем искусством прошлого. Решающее слово в этом отношении было сказано в области прозы Максимом Горьким, и в области поэзии — Владимиром Маяковским.

Проверкой художественной глубины изображения нового человека советской литературой явилась война. Советские бойцы, груду закрывавшие амбразуры вражеских ДОТов, бросавшиеся с минами на пояс под танки, водившие на таран свои самолеты, вырастали в дни мирного строительства, в неуловимой на первый взгляд героике будничного труда, и основные качества характера советского человека были уловлены в лучших произведениях советских писателей — Фадеева, Шолохова, Островского и других.

Героичность советской литературы, ее устремленность вперед и находит свое выражение в том единстве реалистического и романтиче-

ского начала, о котором выше уже говорилось. Советский писатель рисует человека, говоря словами Горького, «не только таким, каким он есть сегодня, но и таким, каков он должен быть — и будет завтра». В этом «и будет» и заключена самая суть отличия романтизма как неотъемлемой черты социалистического реализма от романтизма прошлого, у которого «должен быть» несло в себе элемент утопизма. Невозможность раздельного существования для романтизма и реализма в советской литературе является характернейшей ее чертой: «Революционный романтизм, — говорил т. Жданов в речи на I съезде советских писателей, — должен входить в литературное творчество как составная часть, ибо вся жизнь нашей партии, вся жизнь рабочего класса и его борьбы заключаются в сочетании самой суровой, самой трезвой практической работы с величайшей героикой и грандиозными перспективами» (Жданов). «Наше искусство, — писал М. Горький, — должно стать выше действительности и возвысить человека над ней, не отрывая его от нее» («О литературе»). Ярчайшим примером органического слияния реализма и романтизма, позволяющего художнику показать жизнь в ее развитии и становлении, не отрываясь в то же время от действительности, является роман «Мать» М. Горького. В то время как не только критика 1907--1909 годов и позднее, но и сам М. Горький настойчиво подчеркивали яркий романтизм в обрисовке образа Ниловны, его единичность, — современный читатель уже не чувствует романтической исключительности этого образа, так как в этом образе была показана перспектива развития русской женщины, которая за прошедшие со времени романа десятилетия полностью воплотилась в жизнь. В годы строительства мы думали о ней, следя за героической деятельностью сотен и тысяч советских женщин — Марины Расковой, Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко, Марии Демченко, Паши Ангелиной, сестер Виноградовых и множества других замеча-

тельных деятельниц советской культуры. В дни войны с фашизмом мы вспоминали о ней, когда в борьбе за свободу родины не колеблясь шли на гибель Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина и другие советские женщины, покрывшие себя немеркнувшей славой.

По-новому решается советской литературой и центральная творческая проблема классической литературы — проблема народности.

В литературе прошлого мы встречаемся с тем, что подлинно народное содержание того или иного произведения может приходиться в противоречие со взглядами писателя.

Морально-политическое единство всего советского народа устраняет какие-либо расхождения между взглядами писателя и интересами народа. Поэтому народность советского искусства неотделима от его партийности, ибо она выражает интересы всего советского народа. Свидетелем этого явился в наши дни весь мир, потрясенный величественной картиной беспримерной по мужеству борьбы советского народа с врагом.

IV

Но в процессе развития советской литературы в ней возникают и такие явления, которым вообще уже трудно найти аналогию в прошлом. Поупутательная ошибка известного историка русской литературы С. А. Венгерова. Русская классическая литература, говорит он, сосредоточила в себе, благодаря своеобразию исторической обстановки, лучшее, что было в русском уме и в русском сердце, и поэтому он высказывал предположение, что с «вторжением свободы на Русь... свободная Россия окажется более бедной талантами, чем Россия рабская... предостаточные русской талантливости не только литературных, но и иных путей ослабит талантливость специально литературную» («Героический характер русской литературы», изд. 2-е, 1919 г., стр. 18). Ошибка Венгерова была в том, что он не учитывал освобождения талантов трудящихся масс, которые ранее были отрезаны от культурной жизни.

А это создает совершенно иные предпосылки для расцвета литературы. Колоссальный родник новых творческих сил в течение всего лишь одного 25-летия превратил советскую литературу в передовую литературу мира, выдвинув ряд первоклассных талантов.

Советская литература устранила тот разрыв между устным народным творчеством и творчеством литературным, который был так характерен для литературы прошлого. Она уничтожила рамки национальной замкнутости и ограниченности и стала литературой многонациональной.

«Пролетарская культура, социалистическая по своему содержанию, принимает различные формы и способы выражения у различных народов, втянутых в социалистическое строительство, в зависимости от различия языка, быта и т. д. Пролетарская по своему содержанию, национальная по форме — такова та общечеловеческая культура, к которой идет социализм». Эти слова товарища Сталина («Марксизм и национально-колониальный вопрос», 1934 г., стр. 158), бросающие свет на все развитие советской культуры и литературы, являются отправной точкой и при изучении советской литературы, литературы многих десятков народов, населяющих Советский Союз. После Октября в литературный процесс входят литературы народностей, впервые лишь формирующиеся. «Социалистическая революция, — говорит товарищ Сталин, — не уменьшала, а увеличивала количество языков, ибо она, встряхивая глубочайшие низы человечества и выталкивая их на политическую сцену, превратила к новой жизни целый ряд новых национальностей, ранее неизвестных или малоизвестных» (там же, стр. 158). Казахи, например, до революции вообще не имели письменной литературы. Известный казахский прозаик Сабит Муханов лишь в 1917 году овладел грамотой, а сейчас в Казахстане насчитывается более двухсот народных акынов во главе с девяносточетырехлетним поэтом Джамбулом. В 1939 году в Союзе уже выходили книги на девяност

языках, газеты — на шестидесяти
пяти, журналы — на тридцати ше-
сти языках.

Таджикские гафизы, якутские
олонгохуты, узбекские бакши, казах-
ские жирши и акыны, кавказские
ашуги, русские певцы и сказители —
каждый на своем языке — неустанно
находят все новые и новые образы
и слова для того, чтобы говорить о
своей социалистической родине, об
освобожденном человеке, о дружбе
народов Союза.

Вовлечение в процесс литератур-
ного творчества самого народа в
широком смысле этого слова и раз-
витию народа в условиях, обеспечи-
вающих расцвет личности, опреде-
ляют новый характер и самого твор-
ческого процесса, и тех жанров, в
которых он оформляется.

Здесь на первый план выступает
новый характер отношений личности
и общества, их неразрывное един-
ство.

«Я» и «мы» в сознании советского
писателя неотделимы.

Отсюда вытекает характернейшая
черта советской литературы — ее
эпичность: то, что судьба чело-
века в ней есть вместе с тем и
судьба общества, как бы растворяет-
ся в ней, не теряя в то же время
своих очертаний.

На первый план выступает героиче-
ское начало в человеке, и образы
великих людей современности вхо-
дят в эпос, приобретая героико-эпи-
ческие черты и выражая собой луч-
шую чаяния всего народа. Образы
Ленина и Сталина — это централь-
ные образы всех литератур Союза.

Богатство и многообразие форм
созидательной человеческой дея-
тельности в нашем Союзе опреде-
ляют тяготение литературы к мону-
ментально-эпическим формам повес-
тования — к роману и эпосе,
вбирающим в себя основное содер-
жание эпохи.

Гоголь писал в свое время, что
эпосе «избирает в герои всегда
лицо значительное, которое было в
связях, в отношениях и в соприкос-
новениях со множеством людей, со-
бытий и явлений, вокруг которого
должен созидаться весь век его и
время, в которое он жил. Эпосея

объемлет не некоторые черты, но
всю эпоху времени, среди которого
действовал герой, с образом мыслей,
верований и даже познаний, какие
сделало в то время человечество.
Весь мир на великое пространство
освещается вокруг самого героя»
(Гоголь, «Учебная книга словесно-
сти»). Своеобразие и плодотворней-
шее по своим творческим послед-
ствиям пережитие опыта классиче-
ской литературы и опыта народного
творчества, выдвинувшего таких за-
мечательных поэтов, как Джамбул,
Дурды Клыч и «Гомер XX века» —
Сулейман Стальский, открывает пе-
ред советской литературой неисчер-
паемые возможности.

Но если в области эпоса, тяготе-
ние к эпосе свидетельствует о
всё большем и большем расширении
творческого кругозора советской ли-
тературы, то в области лирики эта
же эпическая ее сущность раскры-
вается ярче всего во все более ши-
роком распространении песни: и
здесь налицо тот же процесс
взаимодействия народного и ли-
тературного творческих потоков сое-
динения этих мощных традиций —
фольклорной песни и лирической
лирики, и в то же время здесь об-
наруживается опять-таки новое
взаимоотношение личности и обще-
ства.

«Широка страна моя родная» — это
чувство любви к родине выражено и
индивидуально, и в то же время
так, что оно растворяется в общена-
родном чувстве этой любви.

Поэтому-то песня и является од-
ним из характернейших жанров на-
шей новой поэзии, выдвинувшей ряд
замечательных мастеров.

Вся эта новизна проблем и богат-
ство форм, возникающих в советской
литературе, есть непосредственный
результат новизны человеческих от-
ношений в социалистическом обще-
стве.

В этом ключ к разрешению вопро-
са — где граница между традицией
классики и новаторством советской
литературы. Все дело в том, что
классика создала свои лучшие про-
изведения в обществе, где человек
находился под величайшим гнетом

социального неравенства и классовой эксплуатации, и где идеал человека был лишь мечтой, прозреваемой в будущем и лишь смутно брезжившей в действительности. А советская литература в самой жизни находит и не успевает еще полностью охватить тот облик героя-строителя и борца, который вырос в Советской стране за двадцать пять лет ее существования. Поэтому-то романтизм у нас не романтизм желаемого, а романтизм возможного и уже становящегося; герой советской литературы проявляет себя не в острейшем конфликте с обществом, а в единстве с ним. Оно выражается и в неуловимой простоте будничных дел, тающей в себе небывалую силу и страсть патриота, и в героических подвигах, в величайшей самоотверженности во имя социалистической родины. Эстетика социалистического искусства строится в неразрывной связи с самой жизнью, а жизнь эта подымает

человека на такие вершины, на которые он никогда не восходил раньше. В этом сущность того нового слова, которое несет мировому искусству искусство Страны Советов.

В этом сущность нового дела, которое творят советские люди на полях борьбы с гитлеризмом, спасая мир от нашествия фашистской орды, еще более страшной, чем монгольская орда, уничтоженная войнами Дмитрия Донского на поле Куликовом. Новая жизнь рождает и новые, обогащающие искусство творческие принципы. Они открывают перед художником широкую и светлую дорогу к высокому художественному творчеству.

Высоко подняты писателями-классиками принципы гуманизма, народности, патриотизма, полностью воспринятые советскими писателями, творчески переработанные ими, служат единому делу борьбы советских людей со смертельно раненым, но еще опасным врагом.

Р. Миллер-Будницкая

О КНИГЕ И. ЭРЕНБУРГА «ВОЙНА»

Когда-то люди подобрали горсть земли или щепотку пепла из-под эшафота, чтобы всю жизнь носить ее в ладонке у себя на груди. И, как говорится в легенде об Уленшпигеле, пепел Клааса стучал в их сердце. Мы можем взять горсть земли Украины, Белоруссии, Крыма, Кавказа, с берегов Дона или Волги, из-под стен Ленинграда или Москвы. И земля эта, пропитанная кровью, застучит в наше сердце, взывая о мщении: остановить вторжение, изгнать навеки врага. Нас зовут города-герои: Киев и Одесса, Керчь и Севастополь и осажденный Ленинград. Нас зовут миллионы братьев — жертвы фашистских извергов, пленные, томящиеся в рабстве в лагерях Германии. И голосом их говорит книга Ильи Эренбурга «Война».

Эпиграфом к этой книге могли бы послужить слова Робеспьера об интервентах:

«Те, кто организует войну против народа, чтобы затормозить прогресс, чтобы унижить человеческие права, должны преследоваться всеми не как обычные противники, а как убийцы и как презренные негодяи».

Этот гневный язык якобинца, обращенный к врагам родины, к врагам революционного народа и объявляющий их вне закона как врагов всего человечества, слышится нам в книге Эренбурга, особенно в главах «Враги» и «Наемники».

Со словами яростного презрения, со словами, что падают на голову преступника, как камень и как про-

клятие, — Эренбург обращается к немцам. Он пригвождает их к позорному столбу и с силой приковывает их взгляд к картинам падения и позора.

Как живой, встает перед нами этот солдат армии роботов, автомат убийства, созданный на фабрике эрзац-людей, с маркой фирмы «Made in Germany». Вместо мозга у него — система валиков и пластинок фонографа с записью речей фюрера и его банды; вместо сердца — сигнальный диск; вместо лица — противогаз. За стеклами противогаса остановавшийся взгляд его — взгляд маниака; в этих невидящих глазах — пустота, избыток, безумие. Он живет по стрелке хронометра. Он размножается на случайных пунктах, как племенная бык. Бойтесь, люди: это зверь, прикидывающийся человеком, «зверь в очках, с автоматическим оружием и вечным пером» и в то же время с инстинктами гориллы. В плоть и кровь его вошло человеконенавистничество и истребление людей, он ненавидит и презирает все народы мира. Он видит город — и знает: надо разрушить; видит поле — и знает: надо полжечь; видит ребенка — и знает: надо убить. Ему недоступен сложный и богатый мир человеческих мыслей и чувств. Словарь его нищ и убог, как у дикаря-каинибала. Ему чужда, человеческая походка; он привык ползти, как гад, привык жить под землей, во мраке траншей и убежищ. Он не знает ни дома, ни очага, ни семьи. Вот уж который год он ски-

гаются, словно кочевник дикой орды, живя разбоем и убийствами. У головы до ног он пропах кровью, покрылся грязью и вшами. Он сам удичил и несет миру великое одичание. Понад бытлиць, долгие годы пруссачества, автоматизирующего и калечащего людей, и десятилетие нацистского режима, открыто глумящегося над всеми ценностями духа, чтобы создать подобного выродка. И самое имя его, самое слово «немец» во всем мире стало проклятием, стало синонимом прокляженного, отверженного, стоящего вне закона, выброшенного за пределы человеческого общества и человеческой морали.

Каждым словом, каждой строкой Эренбург как бы говорит нам:

«Смотрите, вот она, эта германская армия, которая с триумфом прошла по Европе, на весь мир хвастливо объявив себя «непобедимой», и принесла народам голод, мор, гибель, варварство и одичание времен Тридцатилетней войны. Запомните эту армию ландскнехтов, наемников и холоуев, по деш вке скупающих пушечное мясо в порабощенных странах, «грабьармию» мародеров и мешочников, обжирал и опивал, полчища саранчи, опустошившей житницы Европы и превративший цветущий край в пустыню. Никогда не забывайте мерзкое лицо этой армии наркоманов, алкоголиков и морфинистов с искаженными страхом пьяными мордами лезущих в последний атаку изверженцев в солдатиков, маниаков, «рабов смерти», сладострастно мечтающих о поголовном истреблении целых народов. Отомстит! этой армии поджигателей и насильников, убийц женщин и детей, армии палачей и заплечных дел мастеров, рыцарей ножа, яда и отмычки, опричников с черепом и костями на рукаве, полдюжков больших городов, алашей и шкивов, выползших из всех щелей и клозк. Вот кто стал господином над жизнью и смертью миллионов, хозяином всех материальных и духовных сокровищ Европы, тюремщиком Бастилии XX века, зловоющей, страшной темницы, где томятся народы. Вы смотрите и не верите

своим глазам? Что же, вот снимки, сделанные немецкими солдатами и офицерами. Вот их дневники и записные книжки, письма их жён и любовниц, секретные приказы командования, показания пленных. Материалы для следствия собраны и ждут суда. И этот час придет. И тогда всюду, где ступала эта армия, каждая пядь земли, каждый камень городов станет свидетельствовать об её преступлениях. Но надо, чтобы преступник сам свидетельствовал против себя».

И Эренбург с настойчивостью следователя, с холодным гневом прокурора развертывает длинный список преступлений германской армии на нашей земле. Он напоминает о виселицах Волоколамска, братских могилах Украины и Белоруссии, кровавых боях Кисова и Одессы, рвах под Бердичевом, где сутки земля шевелилась над живыми зарытыми детьми евреев, татар, русских. В этом списке подоженные заводы и фабрики, взорванные варфи и разрушенные шахты; Днепрострой и Донбасс, нефть Майкопа и руда Кривого Руга, хлеб Украины. Здесь образы прошлого, памятники искусства и старины, разрушенные немецкими бомбами, разграбленные и оскверненные немецкими бандитами: храмы Новгорода, Истры, Смоленска, Павловский парк и петергофские фонтаны, Ясная Поляна и Детокосельский лицей, Эрмитаж и Мариинский театр. Ничто не забыто, все поставлено в счет, который Германии придется оплатить после войны потом и кровью.

Быть может, никто из нас, как Эренбург, не дышал воздухом Европы, не умел читать язык её священных камней. Европа была открытой книгой для Эренбурга. И в главах «Друзья» и «Наша война» он говорит с порабощенными народами европейского континента лицом к лицу, через головы их палачей, через колючую проволоку концлагерей, через поганничные столбы с лаучими лапами свастики.

Он воскращает в лишние тени прошлого. По ночам в городах

истерзанной Польши бродит тень Шопена. На затемненных улицах Парижа проявляется тень Руссо, заходит в печальные дома и повторяет старые слова о свободе и бессмертии народов, о правах человека и гражданина. Призрак Вольтера стучится в ставни, зовет к тираноубийству, ободряет и утешает павших духом, уверяет в неизбежной победе разума и прогресса. Из братских могил Вердена встают солдаты, они тревожат сон предателя отечества, маршала Петэна.

За неприступными стенами тюрем и концлагерей в глухую полночь просыпаются тени жертв фашизма — писателей, художников, ученых, замученных палачами или умерших в изгнании. Как в Дантовом аду, здесь бродят лучшие умы Запада, воплощающие его гений. Камни Европы вопиют против гитлеровцев. В Праге, погруженной в траур, плачут о расстрелянных заложниках каменные статуи на мосту. В призрачном свете луны встают миражи зданий, разрушенных немецкими бомбами: Вестминстерское аббатство и романский собор Ковентри, замок Амбуаз и библиотека Лувэна, музей Лондона и храмы Грции. Великие тени Европы с ними против фашистских варваров; пала война — их война.

Эренбург показывает нам Европу, охваченную возмущением и гневом народов. На оружейных заводах Ситроэна и Рено рабочие ломают станки. Радиостанция де Голля семь раз в день говорит с французским

народом. От берегов Британии плывут лодки с добровольцами в дедоллевскую армию. Стены Франции покрываются знаками «V» — символом грядущей победы. На Лофотенских островах норвежские рыбаки истребляют немцев, и море выбрасывает нечистые тела. В горах Албании и Югославии засели партизанские отряды. Евреи всего мира выжидают в сердце ненависть: по ночам им снятся погромы Гомеля и Милоска, им чудится плач по растерзанным детям виленской Лии, мисской Рахили, белостокской Сарры. Крепостью становится каждый дубрабачья хижина у норвежского фюрера и мужицкая хата в Карпатских горах. Каждое дерево таит засаду — латвийская ель и окривлевшая олива Греции. И Эренбург приветствует великое братство народов Европы, рождающееся в муках гитлеровского плена, связанное крепчайшим цементом — кровью.

Перелистывая страницы этой книги, мы вспоминаем, как почти полвека тому назад Герберт Уэллс создал мрачную утопию о вторжении марсиан на землю и о гибели культуры Запада. Нам, современникам Уэллса, пришлось своими глазами увидеть эту жуткую пародию в марсианина — немецкого фашиста. Книга И. Эренбурга — обвинительный акт, с громадной силой раскрывающий извращенную, бесчеловечную сущность немецкого фашизма, разоблачающий страшные преступления немецкой армии палачей и насильников.

П о р а к к а

В № 9 на стр. 169 допущена опечатка: 9—8 строку снизу, в правой колонке, следует читать так:
«не менее 4 тысяч самолетов».

Редакция: *Вс. Вишневский, А. Л. Исбах, З. Лебедев Кумач, В. Луговской, Е. Михайлова* (отв. секретарь), *А. Новиков-Прибой, М. Соколовский, Л. Тимофеев*

Подписано к печати 22/X 1942 г. А 61944. 11 печ. л. 15½ уч.-изд. л.
В печ. л. 59 600 зн. Тираж 30 000 экз. Цена 5 руб. Зах 646

18-я типография треста «Полиграфхинга», Москва, Шубинский пер., 10.